В. Кораблинов

ЖИЗНЬ КОЛЬЦОВА



ЖИЗНЬ КОЛЬЦОВА
В. Кораблинов



В. КОРАБЛИНОВ

ЖИЗНЬ КОЛЬЦОВА

РОМАН



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1 9 5 6

Оформление и иллюстрации
художника О. Д. Коровина

Обложка и титул
художника П. П. Зубченкова



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Напрасно, девы милые,
Цветете красотой,
Напрасно добрых юношей
Пленяете собой, —
Когда обычьи строгие
Любить вас не велят.

А. Кольцов

1

Луна поднялась высоко, когда Алексей Кольцов подъехал к дому. Он соскочил с седла и через калитку ввел коня во двор.

Посреди двора стоял колодец с кривым журавлем и водопойной колодой. Возле колоды, в огромной луже, сверкала луна и отражались деревья сада, отгороженного от двора полуразвалившимся ветхим плетнем и густыми кустами акаций.

Кольцов бросил нерасседланного коня и быстро пошел к саду. Недалеко от калитки, за чащей цветущей акации, в зарослях разноцветных мальв чернела баня. Он раза два стукнул в маленькое оконце и тихонько позвал:

— Дуня!

В оконце показалась девушка.

— Выйди, Дунюшка, — сказал Кольцов.

— Ох, Алешенька! — радостно вскрикнула девушка. — Да откуда ты? Погоди... Сейчас... — оглядываясь, зашептала она. — Как бы маменьку не разбудить... Да отойди ж ты в сторонку. Не дай бог, Михейка-сторож увидит!

Кольцов засмеялся:

— Не то Михейка, — да по мне хоть весь мир нехай смотрит!

Сад был большой. Он тянулся через весь квартал до Мало-Дворянской улицы. Плетень был очень плох, — старик Кольцов каждое лето собирался поставить дощатый забор с гвоздями, да все не доходили руки. Мальчишки лазали в кольцовский сад воровать яблоки, и если кого-нибудь из них ловил сторож, то драл вора за уши, а то и стегал крапивой.

Кольцов и Дуняша шли по саду молча.

Кольцов сорвал веточку вишневого цвета, — с деревца брызнула роса.

— Ой, роса! — вскрикнула Дуня, прижимаясь к Кольцову.

Он вплел цветы в Дуняшины волосы.

— Озябла? — спросил Кольцов и укрыл ее полой своего кафтана.

Они перелезли через плетень и медленно пошли по пустынной Мало-Дворянской. Дома стояли здесь с одной стороны. Вдоль другой тянулись плетни и заборы бесконечных садов.

Под белым лунным светом смуглое лицо девушки казалось бледным и тонким. Кольцов крепче обнял ее и заглянул в глаза. Огромные, черные, глубокие, они мерцали лунными блестками. В темных, расчесанных на прямой пробор волосах белели цветы вишни.

— Ох, Дунюшка! — восхищенно прошептал Кольцов. — Какая ты!..

— Небось соскучился? — спросила Дуня.

— Да уж и тосковал же я, Дунюшка!.. Ну, веришь ли, лежу ночью, гляжу в небо на звезды. А их там, как пшеницы насыпано! И такой мир необхватный!.. И уж разум смутился... Ан нет! Одна-то звездочка ярче других и ласково так глядит: не робей, мол, парень, я тут! И слышу я песню, ах, всякий раз я эту песню слышу! И уже не звездочка, а ты на меня, Дунюшка, сверху глядишь.

— А я тебя во сне видела, — вздохнув, сказала Дуня. — И нехорошо-то как! Один раз все бегала, бегала, искала тебя. Кругом ночь, поле, темно, а я все бегаю, кличу: «Алеша! Алеша!» А ты не откликаешься...

Кольцов засмеялся:

— Ну, вот видишь, это мы с тобой друг по дружке тосковали.

— А что ж песня? — спросила Дуня.

— А песню никак запомнить не могу. Ну, вот что хошь — не запомню, да и шабаш!

2

Ночь подходила к концу, звезды заметно бледнели. За рекой, на лугах перекликались коростели. Гулко ударил большой колокол на высокой монастырской колокольне. В заречную даль поплыли могучие звуки.

— Господи, — воскликнула Дуня, — маменька небось встала, меня хватилась! Пора домой, Алеша...

— Успеем, — сказал Кольцов. — Милая ты моя!.. Звездочка!

Они стояли на крутой горе. Под ними, сбегая вниз, одни на другие, как грибы, лепились домишки, сараи, голубятни. Возле самой воды белела, чуть поблескивая золотыми куполами, старинная Успенская церковь.

Вздохнул предрассветный ветерок, и над розовой рекой понеслись хлопья тумана.

— Домой, домой... — обнимая Дуняшу, прошептал Кольцов. — Да что в нем, в доме-то? Опять не нынче-завтра ушлют в степь с быками — чтоб они провалились! — а тут мы с тобой нынче сам-друг. Хорошо-то как, правда?

— Да, а стыдно-то? — жалобно протянула Дуня.

— Воровать да обманывать стыдно, — нахмурился Кольцов. — А любить друг дружку не стыдно.

— А батенька заругается... — сказала Дуня.

— Батенька! — с досадой воскликнул Кольцов. — Мне самому двадцатый год пошел... Я знаю, меня женить хотят, только это напрасно: мне никого, кроме тебя, не нужно. Я как сказал, что на тебе женюсь, так и будет!

3

Лет десять назад Василий Петрович Кольцов пошел в гору. Торговые, до этих пор не ладившиеся дела вдруг поправились, и удача стала в доме Кольцовых уже не редкой и случайной гостьей, а постоянной и прочной жилицей.

Когда все так хорошо устроилось, Василий Петрович продал свой небольшой, доставшийся ему от отца, захолустный домишко и купил исправный дом с усадьбой на Большой Дворянской улице, где жили дворяне и кое-кто из купцов побогаче. К тому времени у него уже было пятеро детей: четыре дочери, из которых младшая, Анисья, только родилась, и сын Алексей, здоровый и смышленый мальчик, второй год ходивший в уездное училище.

Двадцать тысяч, потраченные на покупку дома, скоро оправдались выгодной продажей скота, и Василий Петрович задумал расширить свои дела.

Он стал брать у помещиков в аренду землю и сеять хлеб, покупал лес и рубил его на дрова. Все это приносило ему большой доход, и вскоре, кроме бойни, он построил на одной из пустынных улиц Воронежа дровяной двор с домом, где жили его приказчики.

Однажды в трактире он встретился с одним промотавшимся барином, который предложил купить у него стряпуху.

Василию Петровичу стряпуха была действительно нужна: чем больше он богател, тем больше в доме жило народу, и жена его, Прасковья Ивановна, не управлялась сама со всеми домашними делами. Да, кроме того, барин отдавал бабу очень дешево, и Василий Петрович купил стряпуху Пелагею вместе с ее восьмилетней дочерью Дуняшей.

Девочка росла вместе с кольцовскими дочерьми, как равная, как подруга, носила такие же, как и они, сарафаны, так же, как и они, училась грамоте, «закону божьему» и вышиванию на пяльцах. Но в то же время, конечно, и прислуживала им — словом, была чем-то средним между барышней и горничной.

Пелагея же показала себя искусной и работящей стряпухой. Она отлично угодила Кольцовым, хорошо прижилась в доме и очень радовалась, глядя на житье своей красивой и грамотной дочери.

4

Дуня была всего тремя годами младше Алексея, и детьми они играли вместе. Смешливая и проворная, она не могла спокойно посидеть и часу, и целый день ее тоненькая фигурка в синем сарафане мелькала то по двору, то в большом заросшем саду. Она любила петь и часто распевала недавно завезенную в Воронеж песню «Среди долины ровные, на гладкой высоте»...

Алексей же разговаривал и смеялся мало, а все убегал куда-нибудь и прятался в бурьяне или, зарывшись в сено на сеновале, лежал там с широко открытыми глазами. Потом вдруг вскакивал и дикими прыжками носился по двору, воображая себя отчаянным наездником вроде отцовского гуртоправа Зензинова, который объезжал самых буйных лошадей из табунов графини Орловой.

Однажды он упросил Зензинова посадить его на дончака.

— Ну, только не трогай Кобчика, — сказал Зензинов, — а то взбрыкнет, он горячий...

Алексей не послушался и хлестнул Кобчика хворостиной. Жеребец поддал задом. Алексей турманом вылетел из седла и крепко ударился о землю.

В другой раз он стал уговаривать девочек лезть в соседний сад воровать белый налив.

— Так ведь у нас у самих в саду яблок много, зачем воровать? — сказали сестры.

— Эх вы, анчутки! — засмеялся Алексей, полез один, был пойман соседским сторожем и приведен к отцу.

Василий Петрович обругал сторожа и прогнал его, а Алексею надрал уши.

5

Когда Алексей научился читать и писать, отец взял его из училища и стал приучать к прасольскому делу. Он посылал сына с гуртовщиками в степь, и Алексею это было по душе.

К пятнадцати годам Алексей стал настоящим, обожженным солнцем и обхлестанным дождями, гуртоправом, скакал, как джигит, и месяцами не бывал дома.

Василий Петрович был доволен сыном и даже хвастался им перед знакомыми купцами. Его смущало только, что Алексей пристрастился к чтению и не расставался с книгою даже в седле.

Сын того соседа, к какому Алексей лазил воровать яблоки, был слабым и болезненным мальчиком. Он все больше лежал да кашлял. Отец жалел его за хворость, а поэтому баловал и, видя, что мальчик больше всего любит чтение, накупал ему множество книжек.

Алексей крепко привязался к этому мальчику и все бывало бегал к нему и сидел возле его постели.

Однако дружба их скоро оборвалась: мальчик помер.

Перед смертью он подарил Алексею все свои книжки. Алексей читал их и перечитывал и всякий раз, когда отправлялся в поездку, вместе с чистой рубахой и полотенцем клал в холщовый мешок какую-нибудь из своих книжек и читал ее на привалах, а часто и в седле. Отец прозвал его «книгочеем», и это прозвище среди домашних пристало к нему на всю жизнь.

6

В кольцовском доме всегда было душно. Зимой топили так, что в печках лопались кирпичи, а летом рамы не выставляли.

Василию Петровичу не спалось, в голову лезла всякая дрянь: дохлые свиньи, битая посуда, векселя... А тут еще Алешка пропал с гуртом, давно бы надо быть, а вчера приказчик ездил в Приваловку, сказывал — ни быков, ни Алексея.

В окне забрезжил рассвет, ударили к заутрене.

Василий Петрович встал, перекрестился и в одном исподнем пошел на крыльцо умываться.

Было свежо. По серому небу раскинулись розовые облачка. Где-то играл пастуший рожок, скрипели ворота, выгоняли коров.

Двор был велик. По яркозеленой мураве возле акации ходила нерасседланная лошадь.

«Господи, твоя воля! — подумал Василий Петрович. — Да ведь это Алешкина Лыска».

— Лыс! Лыс! Лыс! — позвал он.

Лошадь подняла голову и заржала.

— Михейка! — закричал Василий Петрович. — Михейка! Ах, сторожа, паралич вас расшиби!

Старик плюнул, поплескал себе на руки из глиняного рукомойника, подвешенного на крыльце, умылся кое-как и, ворча, вошел в дом.

7

Передний угол столовой комнаты был весь завешан образами, перед которыми горели разноцветные лампадки. Одна из них, зеленая, считалась неугасимой: в нее по два раза в день подливали масла. Прасковья Ивановна внесла самовар, и старики сели пить чай.

— Так... — сказал Василий Петрович, выпив первый стакан. — Приехал, шалава! Бросил коня нерасседланного, а самого и следа нет. Покинул, видать, гурт-ат, шерамыжник!

— Должно, купаться побег, — робко сказала Прасковья Ивановна.

— Много ты понимаешь! — насмешливо поглядел из-под косматых бровей старик. — Поди-ка, слышь, кликни Михея.

Пока Прасковья Ивановна ходила звать Михея, Василий Петрович все бормотал:

— Дармоеды!..

Пришел Михей, ночной сторож, рыжеватый, весь какой-то обдерганный, остановился в дверях и стал креститься не то на образа, не то на старика Кольцова.

— Алексея видал? — спросил Василий Петрович, глядя в упор на Михея.

— Видал, батюшка Василий Петрович. Брехать не стану, видал.

— И как Алешка коня бросил, видал?

— Так ведь я, батюшка ты мой, я то-исть думал...

— А ты знаешь? — стукнул Василий Петрович кулаком. — Ты знаешь, болван, кто думает? Петух думает. Да! Где Алексей?

— К Дуняшке ночью побег, — оглянувшись по сторонам, просипел Михей.

— Поняла? — повернулся к жене старик. — Купаться!.. — насмешливо передразнил он.

8

Выходя из дому, Михей в дверях столкнулся с Кольцовым.

— Ну, Лексей Васильич, — ощерился он, — будет тебе сейчас на орехи за коня!.. Дюже грозен... Беда!..

«Экая рожа мерзкая! — подумал Кольцов, глядя вслед Михею. — Итти сейчас? Или обождать? Пойду!» — решил Кольцов и вошел в комнату.

— Здравствуйте, батенька! — сказал он, кланяясь в пояс. — Маменька, здравствуйте!

— Так, сударь, — медленно, с расстановкой сказал отец. — Бросил, слышь, быков-то?

— Быки в Приваловке, — смиренно ответил Кольцов. — В ночь поставил на выпас. А сам, дня не дожидаясь, домой. Дюже овода кобылу замучили...

— Овода! — проворчал старик. — Я, брат, эти твои овода понимаю... Сядь!



Прасковья Ивановна налила чашку, подвинула ее Алексею, и все молча стали пить чай.

Кольцов оглядел комнату. Все то же, ничего не изменилось: низкие потолки с толстыми балками, щегол в клетке, стеклянная горка с разноцветной посудой, самовар с огромными, похожими на крендели, ручками, в простенке между окон — темная картина, на которой изображена святая гора Афон и бог в облаках.

— Ну, вот чего, — ставя стакан кверху дном, сказал Василий Петрович. — Погуляли, побаламутили — ладно! Теперича, сокол ясный, пора и насчет дела подумать. Ты как об этом соображаешь?

— Да что, батенька, — сказал Кольцов. — Сами знаете, я от дела никогда не отказывался.

— Так, знаю, — кивнул головой отец. — Дай-кось, мать, рушничок...

Он вытер вспотевшее лицо, встал, помолился на образа и снова сел, положив обе руки на стол и играя большими пальцами.

— Вот чего, сударь, — сказал он, помолчав. — Надумали мы тебя женить.

Алексей поставил блюдце и глянул на отца.

— Ну, чего уставился, — с досадой сказал старик, — чисто баран на новые ворота, прости господи! Говори, што ли! Говори, статуй надгробная! — вдруг крикнул он.

— О господи, царица небесная! — перекрестилась Прасковья Ивановна. — Да скажи ж ты, Алешенька, скажи, милушка...

— Батенька, — медленно вставая, сказал Кольцов, белый, как рубаха. — Я очень вас понимаю, батенька, что вы хотите меня женить... да только... я не могу-с! У меня невеста есть. Я обещал ей... И я, вот как перед богом, говорю вам, от своего обещания не отступлюсь!

— Обещал? — захохотал Василий Петрович. — Обещал! Ох, мать... насмешил! Это кому же, позвольте полюбопытствовать?.. — ехидно спросил он. — Кому же это, Алексей Васильевич, вы обещаньице-то дали?

— Дуняше! — твердо ответил Кольцов.

— Очумел! — заорал старик. — Зарезал, сукин сын! На ком жениться надумал? А? Слышь, мать? А? На купленной девке, на холопке!

— Да что ж, батенька, — смело глядя в глаза отцу, сказал Кольцов. — Да ведь мы, батенька, и сами мужики...

— Мы?! Мужики?! — Василий Петрович смахнул со стола чашку и затопал ногами. — Вон! Вон, собака!..

Прасковья Ивановна заплакала.

Кольцов хотел что-то сказать, да махнул рукой и медленно вышел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую...
А. Кольцов

1

На углу Острогожской улицы и Сенной площади стоял небольшой, старой постройки двухэтажный каменный дом. На черной вывеске над низкой створчатой дверью золотыми буквами было написано: «Книжная торговля Д. А. Кашкина».

В небольшом помещении книжной лавки было тихо и пусто. Приказчик поливал из чайника пол, чтобы не пылились расставленные по полкам до самого потолка книги.

Одна стена была увешана картинами. Здесь были и «Битва русских с кабардинцами», где конские шеи изгибались, как змеи, и где всем кабардинцам художник нарисовал огромнейшие горбатые носы, и «Французы в Москве» с пожаром и красными, похожими на связку баранок, клубами дыма, и многое другое в том же роде.

Среди этой пестроты выделялись несколько превосходных эстампов с рафаэлевских мадонн и очень темный портрет какого-то старичка с надменным лицом и со звездой на мундире.

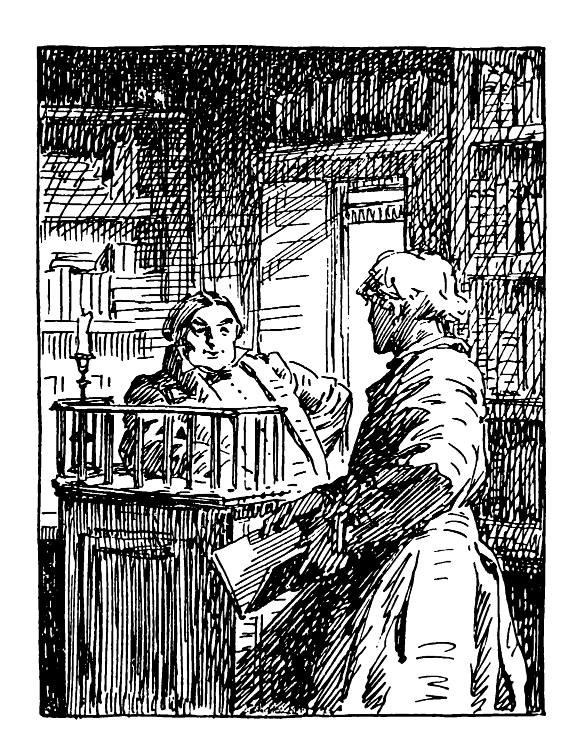
В особой маленькой комнатке, называвшейся кабинетом, за высокой конторкой стоял сам Кашкин и писал. Судя по тому, как морщилось его тонкое, бритое лицо, как он грыз перо или зачеркивал, писание ему не давалось. Наконец он бросил перо, прочитал, близко поднеся к глазам написанный и перемаранный листок, и разорвал его на мелкие клочки.

— Нет, брат, — пробормотал он, смахивая в корзину клочки, — видно, не дал бог священного огня!

2

В двадцатых годах девятнадцатого века в Воронеже, исстари торговавшем хлебом, кожей, мясом и лошадьми, открылись две книжные лавки — Семенова и Кашкина.

Такому книгопродавцу, как Семенов, было все равно чем торговать, лишь бы торговля шла бойко. Вместе с книгами он продавал иконы и вся-



кую галантерейную мелочь, сам едва ли что читывал, кроме «миней», был малограмотен и умел писать только свою фамилию.

Лавка же Дмитрия Антоныча Кашкина была не той обыкновенной купеческой лавкой, где зазывали покупателей, торговались, стараясь непременно обмануть, а вечерами, запершись, жадно считали выручку.

Сам Кашкин был начитан и грамотен, любил рассуждать о философии и искусстве, умел рисовать, а в доме у него стояло фортепиано, на котором он не только играл сам, но и обучал других. К нему заходили поговорить, узнать литературные новости, почитать последнее стихотворение Пушкина или Жуковского.

Отличным почерком он переписал «Горе от ума» и охотно давал свой список для чтения и переписки. Он носил сюртук и светлые панталоны, бороду брил и был больше похож на актера, чем на купца.

В его «кабинете» лет пять тому назад Кольцов прочел свои первые поэтические опыты, те, которые Белинский потом назвал «чудовищными пиесами», и после читал все, что бы ни сочинил, и Кашкин видел, как быстро растет этот сероглазый мальчик, и с радостью после каждого удачного кольцовского стиха говорил, потирая руки:

— Эх, и силища зреет!..

3

В лавке звякнул дверной колокольчик.

— В кабинете-с, — сказал за стеной приказчик.

— Можно к вам, Дмитрий Антоныч? — спросил Кольцов, заглядывая в комнату.

— Алеша! Милый! — воскликнул Кашкин, идя навстречу Кольцову. — Батюшки, обгорел-то как! Черен-то стал! Ну, арап и арап! — говорил он, обнимая гостя и поворачивая его к свету.

— Прасол — поясом подпоясан, — засмеялся Кольцов. — Грудь ка-

менная, душа пламенная! Почитай, сорок пять дён на степи с солнышком братался... И не хочешь, да обгоришь!

— Чем порадуешь новеньким? — усаживая Кольцова на диван, спрашивал Кашкин. — Что там степь тебе нашептала?

— Да степь-то шептала, — вздохнул Кольцов, — а пел я дурно, и похвалиться нечем... Прискакал домой — отец чисто бык ревет!

— Опять баталия? — улыбнулся Кашкин.

— Побоище Мамаево, — печально сказал Кольцов.

— Диву даюсь, — покачал головой Кашкин. — И что ему твои песни бельмом в глазу стали? И ведь не глупый мужик, а вот поди ж ты!..

— Да нет, Дмитрий Антоныч, — сказал Кольцов, — о песнях нынче, слава богу, разговору не было. Тут другая статья... Женить меня хочет. Нашел, конечно, куклу крашеную с деньжищами... А я не могу эдак-то! Да и нечестно, подло даже так жениться!

— А тут небось своя краля на примете, — подмигнул Кашкин улыбаясь. — Да ты не красней. Что ж, дело молодое...

4

Приказчик позвал Кашкина в лавку. Кашкин вышел и через минуту вернулся, пропустив впереди себя высокого, плечистого молодого офицера.

— Вот-с, Александр Николаевич, — сказал ему Кашкин, указывая на Кольцова. — Сколько раз просили вы показать Кольцова, да все не случалось. Так вот он, певец наш, прошу любить!

— Александр Кареев, — звякнул шпорами поручик, протягивая руку Кольцову. — Давно мечтал о знакомстве с вами.

Кольцов смутился:

— Ну, что вы! Какой уж певец!

— Нет, правда, — просто сказал Кареев. — Дмитрий Антоныч как-то дал мне тетрадку вашу. Так ведь это чудо, что за стихи!

Если встречусь с тобой,
Иль увижу тебя, —
Что за трепет, за огнь
Разольется в груди! —

с жаром продекламировал Кареев.

Кольцов исподлобья поглядел на офицера. Его открытое лицо с мальчишескими румяными щеками, слегка припухшая верхняя губа и чуть пробивающиеся черные усики, смелый взгляд серых глаз, его жесты, фигура — все располагало к нему.

Кольцову стало радостно от этой встречи. Он быстро оправился от смущения и, простодушно улыбнувшись, сказал:

— Спасибо за доброе слово! Оно мне сейчас нужней хлеба.

5

От Кашкина Кольцов с Кареевым пошли вместе. Кареев жил на Поповом рынке. Им было по дороге.

Они шли по Острогожской улице. Справа и слева стояли лабазы. Возле одной из лавок на земле сидел старик бандурист с мальчиком. Перебирая струны, он пел низким могучим басом, а мальчик тоненько и нежно вторил ему.

Псальма была длинная. В ней рассказывалось о том, как богородица повела сына с божьего неба на нижнее облачко и показала ему на землю. На земле богатые обижали бедных, били и заковывали их в железа́. Бедные плакали, и по земле бежала река человеческих слез.

В Смоленском соборе ударили ко всенощной. Из лавки вышел толсторожий купец, перекрестился на смоленскую колокольню, почесал подмышками, зевнул и опять ушел в лавку.

— Не то страшно, — сказал Кареев, когда они, послушав бандуриста, пошли дальше, — не то страшно, что нища наша Русь. Страшно и противоестественно то, что вот этот мироед ее, нищую, раздевает... Река слез человеческих!

Кольцов шел молча. Песня бандуриста все еще звучала в его ушах.

— Река слез! — повторил Кареев задумчиво. — А знаете, — обратился он к Кольцову, — знаете, что ужаснее всего? Это то, что мы с вами всякий день видим грабеж, насилие, надругательство — и что же? — бездействуем!

— Так, а что ж делать-то? — простодушно спросил Кольцов.

— Ах, да если б я сам знал — что́! — воскликнул Кареев, прижимая руки к груди. Его мальчишеское лицо искривилось болезненной гримасой. — Если б знать!.. — повторил он.

Какое-то время они шли молча. Чем ближе Кольцов подходил к дому, тем тяжелее становилось у него на душе. Он вспомнил, как безобразно кричал на него отец, и подумал, что, наверное, и вечером старик будет его ругать, или, как говорили у них дома, «пилатить», а потом опять ушлет в степь, и придется снова надолго разлучиться с Дуней.

— Знаете что, — сказал он вдруг, — все плохо, правда. А хуже нет, когда людьми, как скотом, торгуют. Вот кабы это отменить!

— Это, конечно, первый шаг, — серьезно сказал Кареев.

6

У ворот кольцовского дома Кареев стал прощаться.

— Хочу просить, да не смею, — сказал Кольцов, — ко мне на часок посидеть... Соскучился я по людям, — верите, и поговорить не с кем... Всё дрязги, всё расчеты.

Во дворе работник поил лошадей. Кольцов и Кареев прошли мимо водопойной колоды и, обходя лужи, направились к сараям.



— Я ведь не в доме обитаю, — застенчиво улыбнулся Кольцов. — Не могу в доме. Там духота, летом за двумя рамами живут и печь топят. Маменька сама хлебы печет. Ну, вот и пришли. Пожалуйте! — сказал он, останавливаясь возле низенькой двери маленького бревенчатого амбара, зажатого между сараями.

В крошечной каморке стояла тишина и прохлада и оттого, что рядом был сеновал, хорошо пахло сеном. Единственное оконце выходило в сад. Цветущие ветки вишен застили свет. В углу, накрытый пестрой домотканной подстилкой, стоял деревянный топчан. Возле дощатого столика — березовый чурбан, а на столе несколько книжек и стопка бумаги, придавленная человеческим черепом.

— Это зачем же? — улыбнулся Кареев, взяв череп.

Кольцов смутился.

— Работники откопали, когда у нас во дворе колодец рыли... А я его берегу — мы с ним друзья! — засмеялся Кольцов, распахивая окошко. — Когда говорю — слушает, а когда молчу — не докучает.

— Кем был он? — задумчиво сказал Кареев. — Может быть, повелевал, приказывал казнить, и головы несчастных ложились на плаху. А может, любил... Ждал в вечерний час свою подругу... Алексей Васильевич, — обернулся он к Кольцову, — милый, прочитайте мне что-нибудь.

— Да что же? Ведь у меня всё пустяки... Не стоит-с... А впрочем, вы ведь не станете смеяться? Извольте, вот намедни я сложил...

Он достал из нагрудного кармана тетрадку и стал читать. Его чтение было необычно. Он растягивал окончания строк, умолкая после каждой строки, и даже какая-то неуловимая мелодия звенела, как лесной ручеек, в звуках его голоса.

«Да ведь он поет! — подумал Кареев. — Как хорошо!..»

Он закрыл глаза. Его охватила вечерняя прохлада. Он слышал негромкий разговор перепелов, видел золотое облачко и далекий степной огонек.

И кто так пристально, средь ночи, —

пел Кольцов, —

Вперял на деву страстны очи,

Кто, не смыкая зорких глаз,
Кто так стерег условный час,
Как я, с походною торбою,
Трясясь на кляче чуть живой,
Встречал огонь во тьме ночной?

Кольцов кончил читать и, весь как-то сжавшись, отошел в темный угол каморки и отвернулся.

— Боже мой! — восторженно воскликнул Кареев. — Бесподобно! И, главное, тут жизнь сама. Я так и вижу эту степь и закат, а потом все темнее — и огонек вдалеке одинокий... Позвольте мне обнять вас, милый Алексей Васильевич!

— Алеша! — раздался звонкий девичий голос. — Иди, в горелки играть будем!

В окне показались две девушки. Они увидели Кареева, воскликнули «ах!» и исчезли.

Кареев вскочил и звякнул шпорами.

— Сестры, — сказал Кольцов. — Пойдемте в сад, вечер-то какой!

7

Вечер в самом деле был хорош. Легкие перышки облачков раскинулись по небу. В саду легла густая тень, только кое-где сквозь ветки пробивался луч вечернего солнца, и белые цветы вишен и яблонь становились яркорозовыми. За деревьями мелькали пестрые платья девушек и слышался скрип качелей и звонкий смех.

— Еще! Еще! — кричали на качелях.

Доска так высоко взлетала, что веревки ослабевали, и девушкам казалось, что они падают.

— Еще! Еще! — кричала снизу девочка лет десяти. Она раскраснелась и все перебегала с одной стороны качелей на другую, визжала и всплескивала руками.

— Ой, Анисочка! — воскликнула Дуняша, бегая за ней и пытаясь удержать. — Да ведь убьешься же, Анисочка!

Девочка припустилась бежать.

— Не догонишь! Не догонишь! — приговаривала она, ловко увертываясь от Дуняши.

— А вот я вас!.. — крикнул Кольцов, бросаясь вслед за ними.

Дуняша засмеялась и побежала к деревьям. В густых зарослях цветущих вишен Кольцов догнал ее. Она остановилась и, тяжело дыша, лукаво глянула на Кольцова.

— После ужина приходи к бабкиной груше, — сказал он. — Придешь?

Дуняша покраснела и потупилась.

— Приду, — прошептала она. — Скорей бежим назад, догоняйте!

Кареев стоял возле качелей и дожидался Кольцова.

— Вот мило, — засмеялся он, когда Кольцов подошел к нему. — Это называется: заманил и бросил!

Кольцов смутился и стал представлять Кареева двум девушкам, сидевшим, обнявшись, на качелях.

— Да ничего, — добродушно сказал Кареев. — Я уже сам представился вашим сестрицам. Вот разве только... — добавил он, поглядев на Дуняшу.

— Это Дуня, — краснея, сказал Кольцов.

— Ну, вот и отлично! — воскликнул Кареев. — Вы давеча, — обратился он к девушкам, — звали поиграть в горелки. Извольте, но кто же будет гореть?

8

Играть в горелки было весело. Кареев или от неловкости, или потому, что хотел уступить девушкам, «горел» чаще всех. Анисочке нравилось, что такой большой и красивый офицер никак не мог ее догнать, и она хлопала в ладоши и визжала от восторга.

Кольцов всякий раз старался поймать Дуняшу. Они широко разбегались, делали большой полукруг и, задыхаясь от бега, веселые и счастливые, рука об руку возвращались к играющим.

Кольцову было хорошо. Он радовался тому, что сжимал Дуняшину руку, и тому, что вечер был тих и прекрасен, и тому, что у него такие красивые и славные сестры и такой умный и чудесный товарищ.

Радуясь всему этому, он совсем забыл об утреннем разговоре и ссоре с отцом.

Неожиданный стук подъехавших к дому дрожек и отцовский голос, звавший Михея, вывели Кольцова из его необыкновенно счастливого состояния. Сквозь кусты и реденькую изгородь он увидел, что с отцом приехал какой-то незнакомый высокий человек в черной поддевке и дворянской фуражке.

Отец отдал подбежавшему Михею вожжи, а сам вместе с приезжим дворянином пошел в дом.

— Батенька приехал, — сказала Анисочка.

Веселье оборвалось, и девушки притихли. Кареев, сказав, что ему пора, стал прощаться, и Кольцов пошел проводить его до ворот.

На крыльце показалась няня Мироновна и, поглядев из-под руки во все стороны, закричала:

— Дуняша!

9

Обычно у Кольцовых за обедом подавала и принимала блюда Пелагея, Дуняшина мать. Иногда, когда бывали особенно важные гости, — сама Прасковья Ивановна. Поэтому Дуняша была удивлена, что ее позвали для того, чтобы прислуживать за столом. Она вошла в комнату и поклонилась гостю.

— Вот что, Дуняша, — сказал Василий Петрович, — мать-то, слышь-ка, у всенощной, так ты уж схлопочи-ка нам с его сиятельством чего-нибудь закусить.



Она побежала на кухню.

— Ничего, Дуняша, послужи, родная, — сказала ей мать. — Угости, почему не угостить? Видать, важнеющий барин-то...

Дуня принесла закуску, поставила графинчик с водкой и хотела уйти, но старик послал ее в погреб за огурцами, а когда она принесла и огурцы, Василий Петрович велел ей не уходить, и она, став возле двери, принялась рассматривать «важнеющего барина».

Барин был лыс, курнос, его отвислые щеки вздрагивали при каждом движении, а маленькие черные глазки зорко поглядывали из-под припухших век. Он напомнил Дуняше соседскую собаку Мордашку, и ей стало смешно.

Видно было, что старик хотел угодить барину: он то и дело кланялся ему и называл сиятельством. Барин дымил трубкой и был слегка пьян.

— Вот-с, ваше сиятельство, — говорил старик, наливая рюмку, — чем бог послал. У нас, извините, по-простому... Прошу покорнейше!

— А... напротив! Очень мило... Очень! И такая красотка-с... Очень мило! Мерси! А все-таки, — обратился он к старику, — воля ваша, дорогонько-с... Вот как я вам давеча давал, извольте-с.

Они стали торговаться. Старик все называл свою цену и не уступал, а гость понемногу прибавлял. Видно, ему хотелось купить то, что Василий Петрович продавал, и он торговался для виду. Наконец он сказал:

— Ну, уж так и быть, извольте! — и стал откланиваться.

Проходя мимо Дуни, барин ущипнул ее за щеку. Дуня вскрикнула и отскочила, больно ударившись о дверной косяк.

— Ну, эка! — недовольно сказал Василий Петрович. — Испугалась, дура! Что он, тебя съест, что ли, барин-то?

10

Проводив гостя, Василий Петрович велел позвать сына.

«Наверное, опять куда ни-то пошлет, — тоскливо подумал Кольцов. — Эх, жизнь собачья!»

Отец сидел за столом и, надев круглые железные очки, рассматривал

какие-то бумаги. Когда вошел Кольцов, старик не спеша сложил бумаги, спрятал их в карман и сказал:

— Садись!

В комнате горела свеча. На стене, упираясь в потолок, вздрагивала тень отца: огромная косматая голова и острые плечи.

— Так вот, — помолчав, сказал старик, глядя в упор на сына. — Про давешнее забудь. Отец, мол, не кто-нибудь, тебе не обида...

Кольцов промолчал.

— Тут дела другого рода нажимают, будь они неладны!.. Ты ничего не слыхал?

— А что? — удивился Кольцов. — Ничего-с!

— То-то вот и есть, что «ничего-с»! — передразнил сына Василий Петрович. — Молодо — ветренно, всё песенки на уме да всякая блажь, прости господи!.. А как дела, тут нас нету, тут батенька...

— Да скажите же, что случилось?

— А то, сокол мой ясный, что в Задонщину ехать надо! Там в Пантюшкином гурте скотина, слышь, падает... Приказчик Башкирцева намедни там был наездом, сказывает, неладно. Значит, — поглядел отец из-под очков, — съезди, Алеша, наблюди, хозяин ведь, помру — все твое будет... Порадей, сокол, постарайся!

— Батенька... — тихо сказал Кольцов.

— Помолчи, говорю! Тебе про дело, а ты... О господи, спаси и помилуй!

Отец зевнул и перекрестил рот.

— Ежели что увидишь, — продолжал он, — гони на бойню. А то убытков не оберемся. А насчет утрешнего потерпи. Раздумал я насчет женитьбы. Молод еще... Да и она, скажем, Дунька-то, девчонка... Поживем — увидим. Отец тебе не враг. Ступай! — резко закончил старик вставая.

— Батенька! — радостно воскликнул Кольцов. — Батенька, так я могу надеяться? Боже мой!.. Вы жизнь мне возвращаете, батенька!

— Ну, иди, иди, ладно, — отмахнулся отец.

11

В дальнем конце сада росла старая лесная груша, которая почему-то называлась «бабкиной грушей».

Возле этой бабкиной груши Кольцов, как и уговаривались, встретился с Дуней.

Он любил глядеть на заречную сторону и, где бы ни гулял, всегда выходил на городскую кручу, откуда далеко были видны луга, река, леса, синеющие на горизонте, и необъятное небесное море.

Сейчас, после разговора с отцом, ему было радостно и особенно хотелось поглядеть на заречный простор.

По Старо-Московской улице Кольцов и Дуняша вышли к Каменному мосту. Стояла тишина, где-то далеко лаял щенок, да в садах, сбегавших по круче к берегу, заливались бессонные соловьи.



Кольцов и Дуня, обнявшись, остановились на круче.

— Тут, Дунюшка, — говорил Кольцов, — великий Петр корабли строил. Вон там, сказывают, возле речки, дворец его стоял, — во-он, где Башкирцевых дом нынче стоит.

Дуняша печально посмотрела в ту сторону, отвернулась и заплакала.

— Да что ты, Дунюшка, что ты?—погладил ее Кольцов по голове. — Ну что, глупенькая? Ведь я ж тебе сказывал: отец, погоди, говорит, маленько, еще молоды. Ведь он, Дунюшка, намек дал. Он мне надежду в сердце посеял, а ты... Ну!

— Ох, не верю я, не верю, Алеша! — всхлипнула Дуня, упав головой ему на грудь.

— Ну, полно, что ты... — растерянно пробормотал Кольцов. — Да не терзайся так... Эх!..

— Сердце, Алешенька, чует, — не поднимая головы, сказала Дуня, — не быть нам с тобой. Ведь никуда не денешься — холопка я... Все равно что скотина!

— Не плачь! — твердо сказал Кольцов. — Я уже обдумал и решил. Ведь все, что у батеньки, — все мое! Отделюсь от отца, он мне деньги даст, я выкуплю тебя!

— А как не отделишься? — переставая плакать, спросила Дуня.

— Да отчего ж не отделюсь?

— А батенька не пустит.

Кольцов осторожно приподнял Дунину голову, поглядел в ее заплаканные глаза.

— А я по закону, тут меня не подденешь! Раз такое дело, я и погладиться не дамся: совершенные лета есть? Есть! Ну и отделяй!

Дуня повеселела, утерла слезы, вздохнула и прижалась к Кольцову.

— А ты плакала! Ну всё! Ты погляди-ка лучше, — махнул он рукой. — Красота-то какая! Это счастье, Дунюшка, что мы с тобой сам-друг... Радостно мне! А степи-то, глянь, конца нет, а вон леса, как далеко видать!

— Верст на двадцать, я думаю... — тихо сказала Дуня.

— Какое двадцать! Тысячу! И надо всем божьим миром, над всей красотой неописанной кто стоит выше всех? Как думаешь?

— Да кто ж, Алеша? — нерешительно сказала Дуня. — Бог...

Кольцов засмеялся:

— Мы с тобой, Дунюшка! Ты, моя родная!

12

Утром Кольцова провожали в Задонье. Ехать надо было ненадолго — дня на два, на три. Черной работы в поездке не предвиделось, Кольцов ехал как хозяин — поглядеть гурт.

Он и принарядился поэтому: надел черную черкеску, хорошие сапоги, новую шапку и подпоясался кавказским ремешком с серебряным набором.

Его любимица Лыска горячилась, пританцовывала на месте, но Кольцов умелой рукой сдерживал ее.

На крыльцо вышли отец и мать. Прасковья Ивановна была заплакана и кончиком платка все утирала глаза. «Чего это она?» — подумал Кольцов, оправляя седло и все поглядывая в сторону сада. Было еще очень рано, солнце только взошло, и тень от дома ложилась почти через весь двор.

— Ну, с богом! — махнул рукой отец.

Кольцов пустил лошадь. Лыска сразу пошла рысью.

— На бойню! — закричал ему вслед старик. — Ежели чего — на бойню немедля!

Кольцов в воротах снял шапку, махнул ею и вскачь помчался по улице.

«Проспала, видно, Дунюшка, — ласково усмехнулся он. — Ну, да день-два — и дома...»

Едва Кольцов скрылся за воротами, Прасковья Ивановна, уже не сдерживаясь, заплакала навзрыд.

— Эка дура! — сердито сказал Василий Петрович. — Ну, чего орешь? Знаю я, что делаю! Алешка опосля сам спасибо скажет... Прекрати! — крикнул он. — Ну, кому говорю, прекрати!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Звезда горела средь небес,
Но закатилась — свет исчез.
«В небе других миллионы сияют,
Блеском отрадным взоры пленяют».
— Сколько не будут пленять и светить —
Той, что погибла, — не воротить.

Н. Станкевич

1

Верстах в семи от города Задонска, ниже по Дону, раскинулось большое село Каменка. Оно лежало на левом, луговом, берегу Дона и так заросло садами, что изб почти не было видно, только высокая белая колокольня выглядывала из зеленых зарослей.

Правый берег, поросший густым дубняком, был обрывистый, каменистый. Дальше тянулась бесконечная степь. Белые, величиной с избу, камни гигантскими ступенями спускались к реке и уходили в воду почти до самой середины. Чуть повыше воды стоял крытый дубовыми ветками и травой шалаш.

В Каменке жили государственные крестьяне, у которых для выпаса своих гуртов старик Кольцов арендовал пятьсот десятин земли.

Вот на этом-то выпасе и ходил Пантюшкин гурт, в котором, как доносил приказчик Башкирцева, было неладно.

Солнце стояло высоко, когда из шалаша вылез на карачках огромный, саженного роста, с желтовато-белой древней бородою старик. Это и был Пантюшка.

— Ми-ша-ка! — закричал он, повернувшись к обрыву. — Ми-шака-а!..

Ему никто не отозвался.

Старик собрал щепки, наломал хворосту, приладил на рогатках котелок и, опустившись на колени, стал высекать огонь.

— А-е-е-е-й!.. — послышалось из-за Дона.

Старик поднялся на ноги и, приложив руку к глазам, стал глядеть на каменский берег. Какой-то конный пустил лошадь в воду, вскочил ногами на седло и поплыл к Пантюшкиному шалашу.

2

— Здорово, Пантелей Егорыч! — сказал Кольцов, спрыгивая с седла. — Не признал, что ли?

— Да никак это ты, Лексей Васильич? Ну, быть тебе с барышами — не признал!

— Ай на глаза ослаб? — засмеялся Кольцов.

— Да и как не ослабнуть? Мои глаза, парень, они чего-чего не перевидали! Батюшку Емельяна Ивановича — царство ему небесное, — зрил, как тебя зрю. Катьку-царицу зрил, но из-под дальки, шут с ней! С Александром Васильичем, с Суворовым, рядом на задницах с Альпейских гор скатывались. Эх, дед Пантюшка, — он все зрил, а только доли своей счастливой все никак узрить не могу!.. Ну, садись, садись, — засуетился он, придвигая Кольцову чурбан. — Садись, сказывай, зачем пожаловал?

Подъехал другой гуртовщик — чубастый, красивый малый, узнал Кольцова, снял шапку и поздоровался.

— У вас, слышно, быки падают, — сказал Кольцов, усаживаясь возле шалаша. — Намеднись башкирцевский приказчик был тут, так он сказывал... Батенька велел поглядеть и, ежели что, — так на бойню.

— Какой-такой приказчик? — нахмурился дед Пантюшка. — Мишака, — обратился он к малому, — нешто у нас кто был?

— Никого, Пантелей Егорыч, — сказал малый. — Как, значит, мы тута стали, так с Воронежа никто не наезжал.

— Да как же так? — удивился Кольцов. — Мне вчерась только батенька велел: «Съезди, — говорит, — погляди...»

— Приказчик те спьяну, должно, набрехал, — сказал дед. — Они ведь пьянчужки, эти приказчики. Ну, да ничего! Ты, Васильич, поживи у нас тут день, погостюй — сам увидишь! Все, слава богу, хорошо. Вот рыбки половимся, ушицы покушаем... Тут, брат, у нас бирючки — ну, чисто поросята. Страсть!

3

Кольцов ездил с Мишакой, смотрел гурт. Быки ходили гладкие, и в самом деле, как говорил Пантюшка, все было хорошо.

К вечеру старик снял с перемета полсотню жирных, пятнистых, как форель, донских бирючков, наварил ухи и угостил Кольцова.

После ужина Кольцов с Мишакой пошли поить лошадей. Лошади забрели по колена в воду и долго пили.

Было тихо. Над Доном, из-за каменских садов, поднималась большая красноватая луна. Откуда-то, с того берега, доносилась протяжная и печальная песня. Кольцов заслушался.

— Славно поют, — вздохнул он.

— Тут, Лексей Васильич, — сказал Мишака, — каменские бабенки — мастерицы хороводы водить.

— Айда съездим! — предложил Кольцов.

— Гуляем! — захохотал Мишака. — Айда!

4

На зеленом выгоне в Каменке собрались ребята и девушки. Они уселись на бревнах, сваленных возле общественного хлебного амбара — «магазея», и пели песни.

Вдруг песня оборвалась. Все засмеялись.

— Тимоша идет! Глянь, глянь, Тимоша идет! — послышались веселые голоса.

Пьяненький мужичок Тимоша, сухонький и маленький, как подросток, с реденькой мочальной бородкой, в рваном полушубке, пошатываясь и наигрывая на жалейке, подошел к бревнам.

— Их, кралюшки!.. — вскрикнул он и, растопырив руки, кинулся к девушкам, да споткнулся и упал.

— Чижол, Тимоша, — засмеялись ребята. — Глянь-кось, земля не держит!

— Не! — сказал Тимоша подымаясь. — Ничаво, я легкой!

Тимоша приложил к губам жалейку и только собрался заиграть, как из-за церковной ограды наметом вылетели Кольцов и Мишака.

— Э-эх! Раздавлю!.. — диким голосом крикнул Мишака.

— Честнòй компании... — соскочив с седла, поклонился Кольцов. — Позвольте, господа, погулять с вами.

Парни сняли шапки и поздоровались.

— Садись, господин прасол, гостем будешь. Ну-ка, ребята, возьмите лошадей!

Кольцов дал Мишаке денег и шепнул что-то.

— Сей минут! — подмигнул Мишака и побежал в село.

Скоро он вернулся с двумя большими кульками.

— Не погребуйте, — поклонился Кольцов парням и девушкам и стал обходить с угощением.

— Ну, девки, — воскликнул Тимоша, — бери, не робей! Нынче мы с господином купцом угощаем!

5

Хоровод стал в круг. В середину хоровода вошел парень в черной поддевке, снял шапку и надел венок из вишневого цвета.

Пьяненький Тимоша заиграл на жалейке, а парень в венке пошел в круге, подбоченясь и приплясывая. Вот он остановился и запел высоким, чистым тенором:

Ты стой, моя роща,
Стой, не расцветай!
Стой, мил хороводец,
Стой, не расходись!
Я в том хороводе,
Молодчик, плясал;
Плясал я, молодчик,
Сронил я веночек

Против батюшки,
Против роднова...

Он снял венок и бросил его наземь. Хоровод, до тех пор молчавший, стал ходить, и все запели:

«Ой ты, батюшка, пойди,
Венок подыми!»

Батюшка не захотел итти поднимать венок, и парень стал опять ходить в круге, петь и упрашивать поднять венок матушку. Однако и матушка не подняла венка. Тогда парень в черной поддевке жалобно запел:

То — горе мое,
Гореваньица!
Головка моя
Победненькая!
Сердечко мое
Занывчатое;
Занывчатое,
Надрывчатое!

В избах услышали песни, и вскоре вокруг хоровода собрался народ. Старики стояли, важно опершись на длинные палки.

Кольцов тихонько отошел к изгороди, прислонился к слеге и задумался.

В лугах перекликались коростели, майские жуки гудели в прозрачном воздухе; ребятишки бегали за ними по выгону и сбивали их ветками. Бесшумно, точно привидение, мелькнула летучая мышь, на колокольне раза два жалобно крикнул сыч.

Какая-то сладкая тоска охватила Кольцова, сжала сердце и заглушила все шумы. Вдруг медленно-медленно поплыли длинные звуки. Кольцову стало не по себе, он вздрогнул. «Часы!» — подумал он и поглядел на колокольню. Возле нее росли сосны. Их верхушки вырисовывались на лунном небе, как узорные резные крыши теремов. С необычайной ясностью прозвенели строчки стиха. Кольцов легко вздохнул и улыбнулся. Он вынул из кармана потрепанную тетрадку и карандаш. От луны было светло, и, опершись на слегу, Кольцов стал писать.

6

Мишака увидел, что Кольцов стоит один.

«Что же это, — с обидой подумал он, — хотел хоровод глядеть, а ушел!»

Кольцов стоял неподвижно, облокотясь на изгородь. Мишаке послышалась песня.

«Поет!» — удивился Мишака и стал прислушиваться к звукам незнакомой песни.

Там, где терем тот стоит, —

пел Кольцов, —

Я люблю всегда ходить

Ночью тихой, ночью ясной,
В благовонный май прекрасный!

Чем же терем этот мил?
Чем меня он так пленил?
Он не пышный, он не новый,
Он бревенчатый — дубовый!..

— Славную песню поешь, — сказал Мишака, подходя к Кольцову. — Я такой и не слыхивал.

Кольцов засмеялся:

— Я, брат, и сам ее только вот услыхал. Подтягивай, а то я петь-то не шибок.

— Давай сызнова, — сказал Мишака. — Запев-то я помню, а дальше подскажешь.

Несколько парней подошли к ним и, послушав немного, стали подпевать.

— А что, — воскликнул Мишака, — нешто девок кликнуть?

— Верно, верно, — раздались голоса. — Домашку, Любушку... Эти мастерицы!..

— Любушка, Домаша! — закричал Мишака.

Вместе с девушками подошел и Тимоша. Мишака запел, парни подхватили. Сначала робко, затем смелее вступили девичьи голоса, и уже слова:

Ах, в том тереме простом
Есть с раскрашенным окном
Разубранная светлица!
В ней живет душа-девица, —

пропели ладно, с подголоском, и Тимоша затейливо вывел жалобную мелодию на простецкой своей, но такой говорливой жалейке.

— Стой, стой! — крикнул вдруг Мишака. — Ты, Любушка, знаешь, пожалостней тут... Ну-ка, Любушка, ну-ка!..

Разрывайся, грудь моя! —

залились Любушка с Мишакой, —

Буду суженым не я...

— Эх, ты! — бросил жалейку и, тряхнув от восторга головой, крикнул Тимоша. — Спасибо и спасибо! — низко поклонился он Кольцову. — Отогрел душку, милый же ты человек!

7

Когда Кольцов собрался ехать к гурту, оказалось, что Мишака пропал. Возле изгороди стояла одна кольцовская Лыска, Мишакиного мерина не было.

«Наверно, вперед уехал», — подумал Кольцов и, попрощавшись с каменскими ребятами, шагом поехал по улице к реке.

Село кончилось. Как богатырская кривая сабля, сверкнул Дон.

«Вот и сложили песенку», — усмехнулся Кольцов. Над его головой мелькнула ночная птица, и он подумал, что вот и песня, как птица: не схватил — пролетела навсегда, а надобно, не растерявшись, схватить ее.

— Поймать ее надо! — громко сказал он.

Кобыла отфыркнулась, чуя воду.

— Мишака-а-а! — закричал Кольцов, привстав на стременах.

Никто не отозвался. Кольцов переплыл Дон, расседлал лошадь и позвал старика.

— Аиньки! — откликнулся из шалаша Пантелей.

— Приехал Мишака? — спросил его Кольцов.

Старик вылез из шалаша, почесываясь, поглядел на луну.

— Ишь, ты! — сказал он. — Долго гулял... А Мишаки нету, не приезжал. Да он что! — прибавил старик, помолчав. — Он у солдатки ночует. Он ерник, Мишака-то! — с восторгом воскликнул Пантелей и захохотал

8

Проводив сына в Задонье, Василий Петрович надел новый, демикотоновый, табачного цвета кафтан, пуховую поповскую шляпу, подпоясался красным кушаком и пошел к Сократу Митрофановичу Девочкину.

Знакомством и дружбой с Сократом Митрофановичем старик Кольцов очень гордился, потому что Девочкин был дворянином и служил столоначальником в гражданской палате.

Было еще рано. Сократ Митрофанович сидел в халате на крыльце своего дома и пил чай. Возле крыльца громадный индюк и несколько кур подбирали крошки.

— Чай да сахар! — сказал Василий Петрович, поднимаясь на крыльцо.

— А! — прохрипел Девочкин. — Милости просим! Какова погодка?!

— Слава богу! — сказал Василий Петрович. — Отсеялись ко времени, и яровые взялись лучше некуда...

— Чайку не угодно ли?

— Покорнейше благодарю, — поклонился Василий Петрович. — Только от чаю. А я к вам, Сократ Митрофанович, по делу-с...

Девочкин допил стакан и закурил трубку.

— Так-с, — сказал он, выпуская дымовое кольцо. — Готов служить. Что у тебя за дело?

— Да дело-то, Сократ Митрофанович, немножко для вас беспокойное: купчую надо выправить, хочу Пелагею с Авдотьей продать, а как они записаны на ваше имя, то осмелюсь вас потревожить, не откажите совершить документацию.

Девочкин бывал у Кольцовых. Он знал, что Василий Петрович дорожил своей стряпухой, знал, что и Дуня у них росла, как своя, поэтому он удивленно вытаращил рачьи глаза:

— Денег, что ли, нету? С векселями прижали? Так что ж ты мне ни слова? Я бы ссудил...

— Нет-с, — поджимая губы, вздохнул старик. — Дело не об деньгах, а более политичное... Скажу по совести, как на духу-с, — Алексей задурил, вбил себе в голову: «На Дуняшке женюсь!» Конечно, — покачал головой Василий Петрович, — молодость, дурак малый, кровь играет... Только при нашем деле это баловство ни к чему-с!

Девочкин сидел и курил.

— М-да... — сказал он, помолчавши. — История!.. Только это вроде... как бы сказать... того... ну, не по-христиански, что ли.

— В нашем деле это ни к чему, то-есть баловство это, — повторил Василий Петрович. — Эх-ма! — хлопнул он себя по лбу. — Из памяти вон! Я ведь, Сократ Митрофанович, вам должок принес.

Он вынул четвертной билет и положил на стол.

Девочкин промычал что-то неопределенное и сунул бумажку в карман.

— Только дельце-то наше, — сказал Василий Петрович, — очень спешное. Как ни поверни, все нынче кончить надо. И купец торопится, да и мне, сказать по совести, не терпится. Так уж я, Сократ Митрофанович, покорнейше прошу...

— А кто ж купец-то? — спросил Девочкин.

— Да купец-то дальний — Царицынской губернии помещик, отставной майор, господин Бехтеев. Может, слыхали?

— Вон как! — присвистнул Девочкин. — Очень даже слыхал... Эх, жалко Дуняшку, пропала девка!.. Ну, да ладно, дело твое, — заключил он вставая. — Часов, слышь, этак в десять, пожалуй, приходи с купцом своим в присутствие.

9

Мещанин Кольцов не имел права владеть крепостными людьми. Покупая Пелагею и Дуню, он совершил купчую на имя дворянина Девочкина. Поэтому и продать их он не мог без участия Сократа Митрофановича. Дело же надо было, как выражался старик, «обтяпать» в одночасье — пока Алексей ездил к Пантюшке в Задонье.

Покупатель подвернулся во-время, и хотя Василий Петрович и знал, что́ за птица отставной майор Бехтеев и что Дуня у него действительно, как сказал Девочкин, пропадет, — все-таки дело надо было закончить немедля.

Дуня понравилась Бехтееву, и они со стариком ударили по рукам.

Старик сказал об этом жене, и та проплакала всю ночь.

— Молчи! — приказал ей Василий Петрович. — Молчи и не дыши!

От Девочкина старик Кольцов пошел в номера, где остановился Бехтеев. У отставного майора с похмелья трещала голова, свет был не мил. Он пил содовую воду и охал.

— Антре, — сказал он, когда старик постучал в дверь номера. — А, это вы, милейший! — протянул он, хватаясь за голову. — Ох, мочи нет!

— Захворали-с? — спросил Василий Петрович.

— Не говорите! — охнул Бехтеев. — Но что ж прикажете, — дела есть дела. Идемте-с!

Через час они, совершив купчую, вышли из дверей гражданской палаты.

— Я, милейший, еще денька два поживу в Воронеже, — сказал, прощаясь, майор, — а люди мои сегодня поедут. Прошу приготовить девицу.

— Будьте благонадежны-с, — поклонился Василий Петрович.

10

Ни Дуня, ни Пелагея ничего не знали о совершенной стариком сделке. Василий Петрович понимал, что скажи он об этом Дуне хоть за час, — все обернулось бы по-другому. Он понимал, что, узнав о продаже, Дуня могла бы утопиться, повеситься, сбежать, и чорт знает чего бы она ни наделала со своим пылким характером. Да тут еще вмешалась бы полиция, а полиции Василий Петрович боялся больше всего на свете.

День выдался жаркий, душный. К ночи ждали грозу. В кольцовском доме пообедали, и наступила тишина: кто лег вздремнуть, кто, одурев от сытного обеда и нестерпимого зноя, сидел в холодке, не шевелясь, и обалдело таращил сонные глаза. Работники ушли в сад и, растянувшись под яблоней, заснули.

Дуня с матерью были в своей хатенке. Пелагея, блаженно закрыв глаза и положив голову на Дунины колени, лежала на полу. Дверь была открыта настежь, над кустами акаций дрожало сонное марево. Перебирая рукой красненькое коралловое ожерелье, Дуня глядела на это марево и думала, что вот пройдет нынче, потом будет завтра, а потом приедет Алеша, и все станет хорошо.

«Ох, не станет!» — вздохнула она.

Слышно было, как во двор въехала телега, раздались какие-то незнакомые голоса, хлопнула дверь, и Василий Петрович сказал:

— А, знаю, знаю, сейчас покажу.

«Это, наверное, за коровой приехали, — подумала Дуня, — покупщики».

Ей стало скучно, и она закрыла глаза.

Вдруг на пороге показался Василий Петрович и с ним какие-то незнакомые люди. Один был здоровый, черный, похожий на цыгана, бородатый мужик с серебряной серьгой в ухе, а другой — щуплый красноносый старик в поношенном длинном сюртуке.

— Пелагея! — позвал Василий Петрович.

— Что, батюшка? — испуганно вскочила Пелагея.

— Собирайся с Авдотьей, — сказал Василий Петрович. — Сейчас поедете, путь не ближний, собирайся!

— Как, значит, теперича, — весело сказал красноносый старик в сюртуке, — вы как бы в собственности господина майора Бехтеева... мы вас, бабочки милые, акурат доставим до месту жительства!

Пелагея стала метаться по избе, снимая с гвоздей одежду, собирая постель.

— Да ты, бабочка, не торопись, — сказал все тот же веселый старичок. — Не на пожар, мать моя, поспеем! Ты вон скатерку со стола сними, да в скатерку-то все и складывай, — оно в акурате будет, хозяйственно, значится... А ты что ж, дочка? — обратился он к Дуне. — Аль оглохла?

Дуня стояла, вся подавшись вперед, точно тянула в лямках тяжелую кладь. Глаза ее были широко открыты, но она ничего не видела, — только марево да Василий Петрович были перед ней.

— Не поеду! — вдруг крикнула она. — Не поеду! Убивайте! Режьте! Не поеду!

— Поедешь, девушка, — сказал старичок. — Куды ж денешься-то? Экое горе! — покрутил он головой. — Пра, горе!..

— Дунюшка! — заплакала Пелагея. — Дунюшка, детка!..

— Не поеду! — снова крикнула Дуня и кинулась к двери.

— Но, но, — загородил ей дорогу мужик с серьгой. — Распрыгалась!

— Не дури, Авдотья, — нахмурился Василий Петрович. — Собирайся, люди ждут...

— Иуда! — крикнула Дуня, бросаясь к нему. — Христопродавец, кат!

— Вяжите ее, — вынимая из-за пазухи моток веревки, сказал Василий Петрович.

Чернобородый схватил ее за руки. Она молча пыталась вырваться. Нитка с коралловым ожерельем лопнула, и красные горошинки рассыпались по полу.

— Вот горе! — бормотал старичок в сюртуке. — Наказанье, право слово... Постой, Кирюха, — обратился он к чернобородому. — Ты полегше... Эка, медведь! Сомлела ведь девка! — сокрушенно добавил он, видя, что Дуня бессильно обвисла на руках у чернобородого.

— Все, что ли? — спросил у Пелагеи Василий Петрович.

— Все, батюшка, — всхлипнула Пелагея.

— Ну, час добрый! — сказал он. — С богом! Неси, что ли, ее, — обернулся он к мужику с серьгой. — Не видишь, сомлела...

11

Телега с грязным холщовым верхом скрипела, покачивалась, — ехали не спеша. Ночью ждали грозу. Грозы не было, солнце встало в багровом тумане, и опять над обожженной бесконечной степью жидким маревом задрожал зной.

К обеду стали в балочке отдохнуть и покормить лошадей. На дне балки среди белых камней звенел небольшой ручеек. В безоблачном раскаленном небе кружил одинокий коршун.

Пошли вторые сутки, а Дуня не приходила в сознание. Пелагея стала голосить, как над покойницей.

— Брось, тетка, грудь рвать! — отпрягая лошадей, с сердцем сказал Кирюха. — Ну-кась, пусти, дай-ко я ее к водице снесу.

Он положил Дуню возле ручья, нарвал пучок травы и, окунув его в во-



К стр. 28

ду, побрызгал ей в лицо. Дуня не пошевелилась. Пришла Пелагея и молча села возле дочери.

Старичок в сюртуке, оказавшийся дворовым человеком господина Бехтеева, порылся в телеге и достал полуштоф. Он сел в тени под телегой, снял плисовый картуз, перекрестился и, закрыв глаза, отхлебнул из бутылки. Кирюха вернулся и стал разводить костер.

— Очкнулась? — спросил старичок.

— Где там! — махнул рукой Кирюха. — Плоха...

— Дела, господи, твоя воля! — вздохнул старичок и снова потянул из полуштофа. — Ты ничего не знаешь?

— А что? — спросил Кирюха.

— Как бы не померла в дороге-то...

Кирюха помешал в котелке и вздохнул.

— Избави бог! — сказал он. — Греха не оберешься, затаскают...

— Вот и да-то! — подхватил старичок, снова приложившись к бутылке.

Кирюха поднял голову и прислушался.

— Никак громушек, — сказал он.

— Дал бы бог! Все пожгло...

Издали явственно донеслось глухое ворчание грома.

Старик, кряхтя, поднялся и пошел к ручью.

— Дочка, — сказал он, опускаясь перед Дуней на колени. — Авдотья! — потряс он ее за плечо. — Слышь, Авдотья! О господи, твоя воля! Да очнись ты, на вот, винца глотни...

Он приподнял Дуню и сунул ей в рот полуштоф. Горлышко бутылки стукнуло о крепко стиснутые зубы, водка пролилась и потекла по подбородку на грудь.

— Эх, зря только водку пролил! — с досадой сказал старик, отходя от Дуняши. — Право, зря...

— Не отживела? — спросил Кирюха, снимая котелок и ставя его в тень под телегой.

— Хоть отпевай! — вздохнул старик, садясь под телегу.

— Ну, ин похлебаем кулешику, да и запрягать! — сказал Кирюха и, прижав к груди каравай, отрезал огромный ломоть хлеба.

12

Кольцов мчался по Задонской дороге. Со стороны Задонска, догоняя, медленно двигалась черная грозовая туча.

Вернувшись ночью из Каменки, он лег спать, но сколько ни ворочался, заснуть не мог. Назойливая мысль не давала забыться: зачем понадобилось отцу посылать его в Задонье? В этом была какая-то хитрость. Но какая?.. Кольцов прикидывал и так и этак, но ничего не мог придумать. Тревога вошла в сердце и притаилась там змеей.

Возле самого города налетел первый сильный порыв ветра, стеной встала рыжая пыль и закрыла полосатую будку и золоченых орлов на каменных столбах заставы.

Солнце померкло, и все небо затянулось тучей и пылью. Упало несколько крупных капель, ненадолго наступила тишина, потом небо полыхнуло из края в край, и страшный удар грома обрушился на город.

Ворота кольцовского дома были открыты настежь: только что привезли два воза с кожами, и работники разгружали их.

Кольцов рысью въехал в ворота, спрыгнул с седла и, бросив поводья подбежавшему Михею, быстро пошел вглубь двора.

— Опоздал, брат! — ощерился Михей, глядя вслед Кольцову.

Акации гнулись под ветром. По саду летели белые лепестки опавших цветов. Пелагеина хатенка была открыта настежь, и ветер хлопал дверью, то закрывая, то открывая ее.

Кольцов застыл на пороге. Ветер гулял по избе, подметая сор, какие-то тряпки, бумажки. На полу валялось разорванное коралловое ожерелье. Несколько бусинок раскатились по полу и алели, точно капельки крови.

Кольцов увидел ожерелье и понял все. Из глаз потекли слезы. Не замечая их, он опустился на колени и стал подбирать бусы.

Вбежала мать и, плача, обняла Кольцова.

— Маменька! — не своим голосом, хрипло спросил Кольцов. — Маменька, да что же это?!.

Прасковья Ивановна молчала: рыданья мешали ей.

— Да говорите же! — крикнул Кольцов. — Маменька!

— Про... про... дали!.. — только и могла вымолвить Прасковья Ивановна.

Кольцов оттолкнул мать и, прижимая к груди ожерелье, пошел к дому. Слез уже не было.

Гремел гром, ливень грянул сразу, потоком; работники, разгружавшие кожи, полезли под телегу; а Кольцов шел, ничего не видя и не слыша, и только хлопанье двери отдавалось в ушах.

И вдруг он увидел отца. Заложив руки за спину, Василий Петрович стоял на крыльце и глядел в упор на сына.

— Ну что? — улыбнувшись и подмигнув, спросил Василий Петрович. — Я, чай, набрехал башкирцевский приказчик-то?

Кольцов остановился возле крыльца. Отец и сын молча глядели друг на друга. Алексей шагнул вперед и поднял руку с ожерельем к небу.

— Бог... — хрипло сказал он и замертво рухнул на ступеньки крыльца.

— Убил! — страшно закричала Прасковья Ивановна, кидаясь на грудь Алексея. — Сына! Сына убил!

Она сорвала платок, и тронутые сединой волосы рассыпались по плечам.

Работники выскочили из-под телеги, подняли Кольцова и понесли в дом.

— Ничего, — сказал Василий Петрович, — отлежится...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Мой друг! Благодарю тебя за дружбу, за приязнь! Я ей обязан многими сладостными минутами в моей жизни».

В. Белинский, «Дмитрий Калинин».

1

Две недели пролежал Кольцов без сознания. Мать и няня Мироновна не отходили от него. В комнате было душно, больной метался, бредил, вскакивал и пытался куда-то бежать. Один раз ночью Мироновна задремала. Ее разбудил легкий стук. Она оглянулась и вскрикнула: постель была пуста, дверь открыта настежь, свеча, вздрогнув неровным светом, угасла. Мироновна разбудила Прасковью Ивановну, работников, и все кинулись искать Кольцова.

С фонарями ходили по двору и по саду, оглядывали каждый кустик. Один из работников принес железные крючья — кошку, какой доставали из колодца упущенные ведра, и обшарил колодец.

Наконец Кольцова нашли в заколоченной баньке, где раньше жила Дуня. В глубоком обмороке он лежал на полу лицом вниз, широко раскинув руки. Гуртоправ Зензинов — тот самый, который когда-то сажал его на коня, — взял Алексея на руки и отнес в дом.

Кольцов часто кричал, звал Дуняшу, грозил кому-то, кого-то проклинал и, обессиленный, снова падал на постель, ударяясь головой о спинку кровати.

Немец-лекарь приходил каждый день, поджимая губы, ставил пиявки, прописывал разные декохты, однако ничто не помогало.

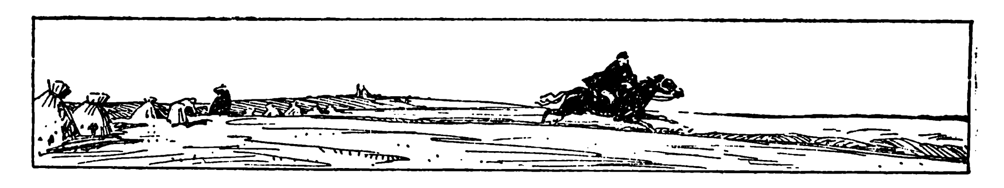
Наконец лекарь сказал:

— Медицина умывает руки. Есть одна надежда — господин бог и натура.

Натура оказалась крепкой, и вот на шестнадцатые сутки Кольцов открыл глаза, увидел свечку, Прасковью Ивановну, дремавшую возле, и еле слышно произнес:

— Маменька!

— Спи, спи, милушка, — наклонилась мать, думая, что Кольцов бредит.



— Маменька, — с усилием повторил Кольцов, — куда продали-то?

— Молчи, молчи, — зашептала Прасковья Ивановна, обернулась на иконы и стала креститься: — Царица небесная, матушка, заступница наша, не оставь нас щедротами своими!.. Шутка ль сказать, Алешенька, две недели лежал ты без памяти...

2

Только в начале июля, бледный и исхудалый, Кольцов первый раз вышел из дому. Привалившись спиной к перилам крыльца, он зажмурился и молча сидел на солнцепеке. В закрытых глазах по красному полю плавали белые шары.

Он понял, что жизнь вернулась к нему, — это его не обрадовало, но и не огорчило.

Так было первые дни после выздоровления. Однако, чем крепче делались руки и ноги, чем яснее становилось в голове, тем чаще одна и та же мысль не давала ему покоя. Когда, наконец, он стал свободно ходить по двору и даже по улице, и отец, все время не промолвивший с ним ни слова, уже подумывал отправить его, если уж не с гуртом, так на хутора, где у Кольцовых были посеяны хлеба, мысль приняла отчетливую форму и стала бесповоротным, твердым решением.

Кольцов надел чистый кафтан, повязал шейный платок и пошел к Кашкину.

— Алеша, милый, да ты ли это? — воскликнул Кашкин, бросая покупателя. — Займись, Ваня, — сказал он малому и увлек Кольцова в «кабинет».

— Ну что? — не выпуская рук Кольцова из своих, говорил Кашкин. — Ну как?

— Дмитрий Антоныч, — сказал Кольцов, — дайте мне денег, я поеду Дуню искать...

— Да полно, куда ты поедешь? Ты слаб, опять захвораешь...

— Да нет уж, как я решил, так оно и будет, — твердо сказал Кольцов. — Я здоров и поеду. Только дайте денег, у меня их вовсе нет. А езда будет дальняя, — глядя в сторону, добавил он.

У Кашкина оказалось на руках всего двадцать рублей. Этого было мало. Вместе они пошли к Карееву. У того задрожали губы, он обнял Кольцова, не стал ничего спрашивать и вытряхнул из кошелька все, что было.

Той же ночью, когда все в доме спали, Кольцов, крадучись, пошел к конюшне, оседлал свою Лыску и, чтобы не попасть на глаза сторожу, через сад уехал на поиски Дуни.

3

Он исколесил всю губернию. Ездил и по тем дорогам, по каким не раз случалось гонять ему отцовские гурты, и по заросшим травой проселкам, заглядывая в усадьбы не только дворян, но и однодворцев.

Началась жатва. В полях было полно народу. Бабы и девки в белых рубахах вязали рожь. Поблескивали серпы, скрипели воза, усталый косарь, запрокинув голову, пил из деревянного жбанчика теплый, провонявший квасок. Кольцов всматривался в каждую жницу. Ему все казалось: не Дуня ли?

Он ночевал у костров с чумаками, в людских, на сеновалах, в убогих бобыльих избенках, на лесных кордонах и даже один раз в церковной сторожке на кладбище.

Его принимали за приказчика или гуртовщика.

Он мало писал, а если что и писал, то все ему не нравилось, и он рвал листки на мелкие кусочки. Только однажды вечером, ночуя с рыбаками на берегу Хопра, он неожиданно легко и без помарок написал «Очи, очи голубые». И тут же пропел рыбакам и научил их петь эту песню.

Так прошел июль и август. Наступала осень. Хлеба убрали, в садах снимали яблоки, горы антоновки лежали под яблонями, а на гумнах с темной утренней зорьки и до ночи разговаривали неугомонные цепы. Борзятники скакали с собаками по рыжим жнивьям, зарумянились осина и клен, по деревням стали справлять свадьбы. А Кольцов все ездил, все расспрашивал, ночевал где попало и ел что придется. Следов не находилось, и тоска, страшная его спутница, не покидала его.

В один сентябрьский день Кольцов повернул коня ко двору. Возле Хлевного он обогнал большой гурт быков. Он ехал, задумавшись, низко опустив голову.

— Лексей Васильич! — раздалось за его спиной. — Да никак ты?

Он обернулся и увидел деда Пантюшку. Старик сидел на маленькой косматой лошаденке и чуть не доставал лаптями до земли.

— А тебя уж, почитай, за упокой души дома поминают, — захохотал он. — Ну, ничего, слава богу, во здравии!

Кольцов оглядел гурт. Сбоку гурта ехал какой-то незнакомый малый.



— А где ж Мишака? — спросил Кольцов.

— Мишака? — восхищенно воскликнул дед. — Помнишь, он все к солдатке-то бегал ночевать? У ей мужик-то, вышло, помер в солдатчине, а она Мишаку во двор взяла! Во, брат! — заключил старик. — Он, Мишака-то,— гвоздь!

4

На берегу реки Воронеж, недалеко от города, стояла тенистая роща, принадлежавшая известному в то время богачу Викулину. В ней был устроен трактир, хозяин которого держал лодки для катанья.

Была осень. Тронутые сентябрьскими красками деревья пестрой толпой сбегали по бугру к реке. Синяя вода нестерпимо блестела. Иногда в тишине раздавался всплеск: играла щука.

Издалека послышался мужской хор: звонкие молодые голоса пели песню. Сильный бас покрывал все, и казалось, что деревья вздрагивали от этого голоса.

— Гляди, как Феничка грянул, — листья посыпались!

Из-за деревьев вышла пестро одетая шумная ватага семинаристов. Кто был в простой холщовой рубахе с вышитым воротом и подолом, кто в длиннополом кафтане, а кто и в сюртуке.

Среди семинаристов особенно выделялся один — высокий, стройный красавец с буйными светлыми волосами, с тонким лицом и порывистыми движениями. Звали его Сребрянский.

Семинаристы вышли на опушку, откуда хорошо были видны заречные поля, луга и деревня Монастыршинка.

— А что, Феничка, — сказал Сребрянский,—хвати-ка, брате, глас седьмый и прочее, что полагается!

Феничка был громадный детина с красивым, но грубоватым лицом и с темными кудрями, свисавшими на лоб из-под картуза. Кафтан ему был тесен, из куцых рукавов виднелись мощные жилистые руки.

— Могиссиме! — прорычал он, набрал воздуха и рявкнул с завыванием:

Братие!
Не дерите платие,
А берите нитки,
Зашивайте дырки!

— Нет, каков, а? — захохотал Сребрянский. — Был бы я, братцы, богачом, ей-ей, за такую глотку сто тысяч отвалил бы! В паноптикум!

— Эх, Андрюша!.. — шумно вздохнул Феничка. — Вот кабы заместо тех ста тысяч да поднес бы сейчас рабу божьему Феофану ну хоть бы косушечку!

— Чего захотел! — засмеялись семинаристы.

Ксенофонт Куликовский, маленький, сухопарый, слегка прихрамывающий, пробежал пальцами по струнам гуслей и тихонько запел:

Смерть придет и равно скосит
Горе и веселие.

Посему, о други, выпьем
Водочного зелия!

— Братцы, эврика! — вдруг крикнул он, обрывая песню. — Гостиницу зрю!

— Как новый Колумб увидел желанные берега, — засмеялся Сребрянский.

— Экой Колумб нашелся... — заворчал Феничка. — «Гостиницу зрю!» А зришь ли, брате, в дырявом кармане своем динарии и драхмы?

Ксенофонт достал из кармана и подбросил на ладони рублик.

— Грядем в гостиницу, — сказал он. — И возвеселимся. Всех угощаю! Даже и маловерных, — прибавил он, искоса поглядев на изумленного Феничку.

5

Семинаристы сидели в дальней комнате трактира. Несколько порожних бутылок и куски огромного красного арбуза валялись на столе и подоконниках.

Ксенофонт тихо перебирал гусельные струны. Сребрянский, обняв его и закрыв глаза, читал сочиненные недавно стихи. Он только что вернулся из деревни, где были лесистые холмы и тихая речка с плотиной и заводями. В городе ему стало не по себе, и он написал печальные стихи:

Цела ли кровля та в долине,
Где я так мирно жил душой?
Цветут ли те дубравы ныне,
Где я гулял не сиротой?
О, зарасти ты, путь широкий,
Густой ковылью и травой!
Мне не туда несть вздох глубокий
Чужбины степи предо мной...

— Чужбины степи предо мной... — мечтательно повторил Куликовский.

Семинаристы притихли и растрогались.

Ксенофонт сидел, положив руки на гусли. Феничка упал головой на стол и вцепился пальцами в свои черные кудри.

— Ах, демон! — зажмурясь от восторга, воскликнул косматый семинарист в расшитой рубахе. — Веришь, как сладостный яд, текут строки!.. Колдовство!

А Феничка молча подошел к Сребрянскому и поклонился в ноги.

Все засмеялись:

— Ну, раз Феничку проняло...

— Это, брат, ого-го!..

Семинарский регент Бадрухин, высокий, длинноволосый, в ловком, довольно свежем сюртуке, прыснул и замахал руками.

— Кам... камни за... говорили! — пролепетал он сквозь смех.

— Сам ты камень, скотина! — огрызнулся Феничка и, взяв за плечи Сребрянского, сказал: — Осел ты, Андрюшка! Какие стихи сочиняешь, а все равно попом будешь... Пойдешь, как побирушка, по деревне, а тебе

кто гарчик ржицы, кто куренка, какой подохлей, кто медный грошик... И я тоже осел! — всхлипнул Феничка. — Ты не обижайся, Андрюша, мы все ослы! Финита! Споем, братие!.. Душа песни просит!

Ксенофонт затянул старинную воронежскую «Степь».

Бадрухин вскочил и привычным регентским жестом осадил Куликовского: «Тише, Ксенофонт, тише...»

Ах ты, степь моя, степь широкая...
Поросла ты, степь, ковылем-травой...

Песня началась издалека, чуть слышно, точно сама степь звенела в жарком солнце июльского полудня — бесконечная и пустынная.

— По тебе ли, степь, вихри мечутся? — окрепнув, жалобно спросили тенора.

— У тебя ль орлы, — прогремел бас, — на песках живут?

Из других комнат вышли люди и столпились возле дверей.

А песня, родившаяся в обожженной солнцем траве, вдруг отделилась от земли и прянула к облакам. Она уже не жаловалась, а угрожала, звала на битву:

На тебе ли, степь, два бугра стоят,
Без крестов стоят, без приметушки,
Лишь небесный гром в бугры стукает...

6

Кольцов с Кареевым гуляли по роще и зашли в трактир. Они попросили вынести столик под клены.

— Душно, чай, в трактире-то, — сказал Кольцов.

Половой принес вина. Кареев налил стаканы и потянулся чокаться.

— За ваше здоровье, — улыбаясь, сказал он.

Кольцов отхлебнул и поставил стакан. Согнутые в локтях руки положил на стол — кулак на кулак — и оперся на них подбородком.

— Что мое здоровье! — с досадой сказал он, помолчав. — Оно при мне. Опять здоров, ничто меня не берет!

Кареев молчал и разглядывал вино на свет.

— Батенька думал, — усмехнулся Кольцов, — что мне становой хребет сломит... Ан нет! Он ведь покорности рабской ждал от меня... Ну, вот, как бы вам сказать, вот как быка на бойне оглушат, и он хоть ежели и не падает, так какой-то очумелый делается: то ревел, кидался, а то что хошь с ним делай. Так ведь то молотом по голове... А тут сердце вырвали! Я теперь стал бессердечный, — горько улыбнулся Кольцов. — А рабства во мне так и нету.

— Я понимаю, что тяжело, — сказал Кареев, — но коли есть друзья...

— Конечно, — кивнул Кольцов, — с друзьями, точно, и горе легче и радость веселей. И мне ваша да Дмитрий Антонычева дружба, как огонек ночью... Да ведь и то сказать: с каждой слезинкой к друзьям не находишься.

Он выпил вино и налил стакан снова.

— Закрою глаза ночью и все вижу... ожерелко красное валяется разорванное... на грязном полу... Отец потом... потом ночь темная... Чудно̀: месяц отвалялся без памяти, а вот не помер, — здоров, мужицкая косточка!

С легким шумом где-то высоко, от золотой макушки клена отделился лист и, медленно покружившись в воздухе, упал на стол. Кольцов взял рыженький крапчатый листик и стал его внимательно рассматривать.

— Вот смерть! — воскликнул он. — Завидки берут! А знаете, — обернулся он к Карееву, — я ведь еще как со двора поехал тогда ночью, — все спят, а я, как вор! — и тогда я понимал, что не найду ее... Два месяца скитался, три губернии исколесил. Где меня не носило! И все одна мысль грызла... Да и сейчас грызет, — вздохнул он и низко опустил голову.

— Какая мысль? — спросил Кареев.

— Что где-то я мимо нее проехал, — глухо сказал Кольцов.

Шумная ватага семинаристов прошла в трактир, и вскоре оттуда послышались крики, смех и звон посуды.

— А что отец? — спросил Кареев.

— Отец! — пожал плечами Кольцов. — Такие люди на свежий глаз покажутся редки, а в нашей, в мещанской компании, — на каждом шагу. Я со двора убежал, как вор, и лошадь увел, Лыску. Что бы вы думали отец? В полицию заявил: лошадь пропала. Лошадь!.. Два месяца я скитался, вчерась приехал, ждал: гроза будет. «Ну, ладно, — думаю, — найдет уж тут коса на камень!» А он увидал меня: «А, это ты?» — и мимо! Я говорю: «Позвольте, батенька, вам один вопрос задать». — «Ну, что?»—спрашивает. «Куда вы ее продали?» — «Куда продал, туда и продал». — «А все-таки?» — «Вот тебе, — говорит, — и все-таки!» С тем мы и разошлись, — грустно усмехнулся Кольцов.

Из трактира послышалась песня.

— Это семинаристы поют, — сказал Кареев. — Я видел, они давеча прошли.

Кольцов прислушался.

— «Степь» поют, — сказал он. — А хорошо! Я лучше этой песни не знаю. Ишь, что делают! — удивленно, широко раскрыв глаза, прошептал он. — Идемте послушаем.

Кольцов встал и, взяв под руку Кареева, быстро пошел к трактиру.

7

Возле комнаты, где пели семинаристы, толпился народ.

Подгулявшие молодые купчики в немецких платьях, то-есть во фраках и с пестрыми галстуками, потребовали цимлянского и стали угощать семинаристов

Кольцов подошел к семинаристам и сказал:

— Дозвольте с вами держать компанию. Признаться, давно хотел познакомиться.

— Милости просим! — поклонился Сребрянский.

Принесли цимлянское, хлопнули пробки, столы сдвинули, и Феничка поднял стакан.

— За процветание поэзии, музыки и всего прекрасного! — прогремел он.

— Ура! — крикнули семинаристы и купчики. — Ура-а!..

Сребрянский наклонился к Кольцову:

— Вы не подумайте, мы не гуляки. Это все хорошие ребята, я вам сейчас представлю. — И он начал называть семинаристов: — Вот этот, с гуслями, — Куликовский, вон Бадрухин, в сюртуке, рядом, — Феофан Знаменский, мы его Феничкой зовем... Вот тот, в рубахе с петухами, Аскоченский... Ну, кто еще?.. Ах, да, про себя забыл!

— Вы мне своих товарищей рекомендуете, — перебил Кольцов, — а сам-то я и не догадался вам представиться.

— Да мы вас знаем, — просто сказал Сребрянский. — Вы Кольцов. А с ними, — указал он на Кареева, — мы в лавке встречались, у Дмитрия Антоныча.

— А ведь вы Сребрянский! — догадался Кольцов. — Верно?

8

Обратно ехали на лодках. Невысокое солнце стояло над холмами Викулинской рощи. Скрипели уключины, и сильными широкими взмахами сверкали на солнце восемь весел.

Когда стали садиться в лодки, Кареев отнял у Куликовского весла.

— Нет уж, позвольте мне, — добродушно улыбаясь, сказал он. — Грести, знаете, не на гуслях играть, вам тут за мной не угнаться!

Маленький Куликовский устроился на носу.

— Ну, гребцы, — крикнул он, — слушай команду: раз, два — запеваю!

Ты взойди, взойди, солнце красное,
Освети нам Волгу-матушку...

Кольцов и Сребрянский сидели на корме и тихо разговаривали. Сребрянский правил. Говоря, он глядел вперед и только изредка оборачивался к Кольцову.

— Проклятая жизнь! — с досадой говорил он. — Как все получается неладно. Вот он, Феничка, мечтает в императорской капелле петь, Бадрухин Степка — знаете, какой музыкант! А Ксенофонт? В нем все: и музыка и поэзия!

Сребрянский зазевался и круто взял руля.

— Правь как следует! — рявкнул Феничка.

— А жизнь ведьма, — продолжал Сребрянский, — сыграет прескверную штуку: все в попы пойдут.

— И вы пойдете? — спросил Кольцов.

Сребрянский промолчал, точно не слышал вопроса.

— Я не пойду, — наконец сказал Сребрянский. — Я в медицинскую академию поеду. У меня своя линия. Меня с моей линии не свернешь!

За крутым поворотом реки начался город с его домишками и церквами, точно прилепленными к крутому берегу. Послышались звуки бубнов, балалаек и рожков. Из-за густых зарослей ветел выплыли с полдюжины больших, украшенных коврами и флагами лодок. Песельники и музыканты в ярких рубахах, в шляпах, перевитых лентами, пели разудалую песню:

Светит месяц,
Светит ясный, —

лихо выговаривали звонкие тенора, и, дружно подхваченная, далеко по реке летела плясовая.

Большая, нарядно одетая компания сидела на скамьях, покрытых дорогими коврами. Это были гости богатого подрядчика и суконного фабриканта Башкирцева. Сам он, красивый, рослый, с бутылкой шипучего и стаканом в руке, стоял на носу передней лодки.

— Богословия! — крикнул он, когда лодки семинаристов подплыли к веселой флотилии, и запел:

Любимцы бога Аполлона
Сидят беспечно ин капона...

Едят селедки, мерум пьют
И Вакху дифирамб поют! —

подхватил звонкий хор семинарских певцов.

Дружный хохот грянул на всех лодках: Феничка поймал брошенную Башкирцевым бутылку.

— Ба! Алеша! — разглядев Кольцова, закричал Башкирцев. — Заворачивай к нам, ребята!

— Ох, — сказал Сребрянский, — не по нашим зипунам боярские кафтаны!..

— Не можем, Иван Сергеич! — крикнул Кольцов.

— Ко всенощной грядем! — отрываясь от бутылки, провозгласил Феничка.

9

По всему берегу, низко склоняясь к воде, росли густые ветлы. Солнце скрылось за городскими холмами, и под ветлами было сумрачно. На шатких мостках две мещанки колотили вальками белье.

— А что, господа, — предложил Сребрянский, — махнем ко мне? Чаишком побалуемся, почитаем... а?

— Мысля! — сказал Феничка. — Это можно.

Сребрянский был своекоштным семинаристом, то-есть жил не в семинарском пансионе, а на квартире. У него часто собирались, пели, читали стихи, спорили, громоподобно хохотали, отчаянно дымили табаком.

— Господи, — вздыхала хозяйка, чистенькая старушка, — «Барыня», как называли ее семинаристы, — опять табачищем начадили!

Комнатка была крохотная, с одним окном, выходящим в палисадник, заросший сиренью и пестрыми мальвами.

Сребрянский зажег свечу и плотно задернул оконные занавески.

— На всякий случай, — сказал он. — От недреманного ока начальства. Обо мне слава плохая, — пояснил он Кольцову. — Отец ректор намедни говорит: «Ох, смотри, Сребрянский, допрыгаешься! Носить тебе армейскую амуничку...»

Куликовский поднял палец кверху и сказал дребезжащим голосом:

— Дерзок и суесловен!

Все засмеялись.

— Правда, очень похоже! — сказал Сребрянский. — Великий ты артист, Ксенофонт!

— А почему «армейскую амуничку»? — удивился Кареев.

— Это он на моего старшего брата Ивана намекал, — нахмурился Сребрянский. — Его с последнего курса в солдаты забрили...

— За что же? — спросил Кольцов.

— За дерзость и вольнодумство. У него в тетрадке рассуждения о разумном и вольном устройстве государства были написаны... Ну, да что об этом!.. Давайте лучше почитаем, а? Алексей Васильич?

— Что вы! — покраснел Кольцов. — Я сам мечтал послушать. Я так много слышал о вашем кружке...

— Да ведь и мы тоже кое-что о вас слыхали! — засмеялся Сребрянский.

— Просим! — прогудел Феничка. — Всем миром!

— Что ж, господа, — сказал Кольцов. — Вы не подумайте, что я ломаюсь, боже сохрани! Я только не привык этак... в образованной компании, все стихотворцы... Неловко немножко... Ну, да ничего! — тряхнул он волосами. — Извольте!

Очи, очи голубые,
Мне вас боле не встречать! —

запел он, глядя на свечу.

Девы, девы молодые,
Вам меня уж не ласкать...

Сребрянский откинулся на спинку стула: «Как слова кладет, диво! Точно бусы нижет!..»

А Кольцов пел, не видя ничего, кроме вздрагивающего пламени свечи. Серые глаза его блестели, на щеках заиграл румянец, негромкий, слегка сипловатый голос звучал уверенно и покоряюще. Он замолчал и исподлобья глянул на Сребрянского.

— Ведь это песня сама, — сказал Куликовский. — Феничка, детка, подай гусли! — Тихонько напевая, он стал наигрывать.

— Да! — воскликнул Сребрянский. — Это вам, братцы, не «цветнички»!

10

Стихотворцев в Воронеже было множество. Гимназисты издавали рукописный альманах, называвшийся «Цветник нашей юности». Альбомы девиц были испещрены виньетками и меланхолическими стишками вроде:

Приятно деве утром майским
Смотреть на майские цветы,
Смотря, приятно с чувством райским
Лелеять нежные мечты...



Все это, конечно, было вздорное рукоделье маменькиных сынков. В иное время папеньки сделали бы им надлежащее внушение, но теперь мирились.

— Что ж, — размахивая чубуками, говорили папеньки, — нынче все пишут. Вон и губернатор сочинил роман.

Василий Петрович, всегда неодобрительно смотревший на писания сына, вдруг перестал докучать ему упреками и бранью.

— Пущай парень побалуется, — сказал он однажды в трактире. — Дюжей в грамоте насобачится. Это не мешает... Мы, конечно, — усмехнулся он, — на Чижовке песен не писали, да теперича народ ученый пошел. Вон и Яшка Переславцев пишет, а по купечеству и Попов и Нечаев... Да мало ли кто! А про бурсаков и говорить нечего! Значит, пущай, ничего... Абы дела не бросал.

Сребрянский стал часто бывать у Кольцовых, и старик сперва косо поглядывал на пылкого и шумного семинариста, но, узнав от кого-то, что Сребрянский хочет учиться на доктора, стал относиться к нему почтительно и в хорошем расположении называл его господином лекарем.

Кольцов попрежнему жил в каморке возле сеновала. Здесь вдвоем с Сребрянским они засиживались допоздна. Была уже зима, за окошком свистела пурга, стекла промерзали насквозь и покрывались толстым пушистым инеем.

Друзья читали стихи, рассказывали о себе, о том, что их радовало и огорчало, или просто, не зажигая свечи, сидели молча возле жарко пылающей печки.

Один раз Сребрянский влетел как сумасшедший, не раздеваясь, схватил Кольцова и начал кружить.

— Да что ты! — отбивался Кольцов. — Экой какой! Снег-то обмети, глянь, наследил!

— Вздор — снег! — кричал Сребрянский. — Все вздор! Алеша, милый, гляди, что я достал... — И он вынул из-за пазухи маленький томик.

— Шекспир! — торжественно провозгласил он, обеими руками поднимая книгу.

Они стали вслух читать «Ромео и Джульетту», в восторге по нескольку раз повторяя особенно поражавшие их места. В сцене свиданья в саду Кольцову вспомнилось свое, и голос его оборвался.

— Вот поэт! — глухо сказал он. — Боже мой, какой великан!.. А то — мы!..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Будущность темна,
Как осенние ночи...

А. Сребрянский

1

Кольцов зашел к Кашкину попросить новые журналы. Кашкин дал их и сказал:

— Приходи вечерком, что покажу!.. Александр Николаевич с Андреем Порфирьевичем будут, — добавил он.

Вечером Кольцов задержался: привезли овес, отец велел принять, и Кольцов долго провозился в амбаре.

Когда он пришел к Кашкину, было уже темно. В тяжелых медных подсвечниках, отражаясь на глянце навощенного пола, ярко горели свечи. Небольшая комната поражала своей чистотой. Книжные полки, диван, фортепиано, рамки картин и дверные ручки — все было натерто, вымыто, начищено и отполировано.

Кашкин и Сребрянский сидели на диване. Кареев, дымя трубкой, ходил по комнате. У Кашкина на коленях лежала черная, в кожаном переплете тетрадь.

Кольцов поздоровался и сел.

— Страшно вспомнить, — продолжал рассказывать Кашкин, — да и до сей поры от той вести все в ушах точно барабаны стучат... Все ждали: помилует царь. Нет, не миловал! И не стало... Не стало нашего Кондратия Федоровича! Бедная наша Россия! — вздохнул Кашкин. — Лучших сынов — в петлю! Других — в рудники... Клеймят, ноздри рвут, людьми, как скотиной, торгуют! Плети свищут! И хочется, милые мои, крикнуть: «Господи, соверши чудо!»

Кареев остановился против Кашкина.

— Нет, Дмитрий Антоныч, — резко сказал он. — Нет! Сколько угодно кричите — чуда господь не совершит! Тут не господне чудо надобно, а...

Кареев не договорил.

Кашкин закрыл руками лицо.

— Так неужто ж, — прошептал он, — немыслимо без крови? О, боже мой, в какой жестокий век живем мы с вами! Вот-с, —с грустной улыбкой

обратился он к Кольцову, — видишь, дорогой мой, в век наш не так уж песни нужны. К чему они?

— Нет! — вскочил с дивана Сребрянский. — И песня! Да вы же сами давеча нам показывали. Ведь это такие стихи!.. Такие!..

— Бессмертные! — сказал Кашкин. — Ты опоздал, — обернулся он к Кольцову. — Помнишь, я тебе говорил, что покажу... Вот, — протянул он черную тетрадь, — погляди — сокровище!

Кольцов развернул тетрадь. На первой странице крупным и сильным почерком было написано:

Стихотворения
Кондратия Рылеева
СПБ. 1825.

— Самого Кондратия Федоровича рука,—благоговейно сказал Кашкин.

— Дайте списать, — попросил Кареев.

— Что ты, милый?!. Что ты?!. — замахал Кашкин руками. — Что выдумал! Да ведь за это каторга, Сибирь! Давай, давай сюда!

Он почти вырвал тетрадь у Кольцова и спрятал ее в конторку.

— Сокровище! — поворачивая ключ, повторил он.

— Ну, какое же сокровище, — усмехнулся Кареев, — когда вы на него и поглядеть не даете, под замком держите.

— А ты как думал! — сказал Кашкин. — Шути, брат, шути, да не зашучивайся!

Кареев засмеялся.

— Да неужто, — сказал он, — вы думаете: вот, мол, запер на ключ — и концы в воду. Э, нет! Поэзию под замком не удержишь, поэт — в народном сердце! Вон вы списать не даете, а я «Гражданина»-то уж и выучил, пока у меня в руках рылеевская тетрадь была!

— Шутишь, милый друг, — криво улыбнулся Кашкин.

Сребрянский подошел к фортепиано, открыл крышку, потрогал клавиши и сел.

— Хозяйке, где я квартирую, — сказал Сребрянский, — вздумалось осенью пустить на кухню своих земляков. Ну, трое молодых ребят, извозчики, приехали на зимний промысел, сами из Задонья откуда-то...

Рассказывая, Сребрянский наигрывал какую-то печальную мелодию. Он иногда брал неверный аккорд и досадливо встряхивал головой.

— И вот вчера, — продолжал он, — сижу зубрю проклятую гомилетику и вдруг слышу — в кухне поют, да ладно этак поют в два голоса. И что-то очень хорошее, печальное, а главное — незнакомое. Пошел на кухню, говорю: «Спойте, братцы, еще, я послушаю». Спели. «А еще?» И еще спели, и я подтянул. Прелесть, чудо песня!

Сребрянский уверенно взял несколько аккордов и запел:

Там, где терем тот стоит,
Я люблю всегда ходить

Ночью тихой, ночью ясной,
В благовонный май прекрасный...

Кольцов приподнялся с дивана. Удивление на его лице сменилось чудесной улыбкой. Кареев, смеясь, посмотрел на него.

— Чего это вы? — спросил Сребрянский недоумевая.

— Дорогой Андрей Порфирьевич, — сказал Кашкин, кладя руки на его плечи. — Песня-то эта ведь Алексеем Васильевичем сочинена!

2

Отношения Кольцова и Сребрянского были такими, какие обычно называют дружбой. Это, конечно, и была дружба в самом высоком смысле слова. Им постоянно хотелось вместе думать, читать, даже писать и спорить о прочитанном и написанном, взаимно поправляя и дополняя друг друга. Их роднило все: плебейское происхождение, любовь к народу и русской природе и понимание этого народа и природы, неодолимое стремление к творчеству и, наконец, общий страшный враг — трудный, злобный и полный противоречий домашний быт. Этот страшный враг постоянно мучил и угнетал Кольцова и Сребрянского, изматывал их силы в неравной борьбе.

Однажды, набрасывая черновик стихотворения, Кольцов написал на обороте листка изречение воронежского «философа» Ярченко:

Говори о жизни,
Говори о семействе:
Жизнь есть мучение,
Семейство — тиран!

Кольцов с молчаливым упорством пытался разорвать безжалостные тенета этого тирана, мещанского быта, вечного торгашества и холопства и хотя позднее, почти перед смертью, и был близок к победе, — все-таки оказался побежденным.

Сребрянский решительней и тверже намечал, как он говорил, свою линию. Он определил себе ехать в медико-хирургическую академию и был уверен, что поедет обязательно, что бы ни случилось и какие бы препятствия перед ним ни стояли. Будущее представлялось ему хотя и трудной, но ясно видимой дорогой. И он был полон уверенности в своих силах и решимости все преодолеть и всего достигнуть.

3

Вскоре после вечера у Кашкина Сребрянский пришел к Кольцову и, ни слова не говоря и не раздеваясь, прямо в шинели повалился на топчан.

Второй месяц Сребрянский сочинял поэму, она называлась «Предчувствие вечности». Временами не писалось, стих упрямился, бумаги перемарывалось множество, но строчки не рождалось ни одной. В эти минуты Сребрянский хандрил и на все сочувственные вопросы мрачно отвечал:

— Темно на душе!

Кольцов сразу понял, что у Андрея Порфирьевича и сейчас темно на душе, и не стал докучать ему расспросами.

Наконец Сребрянский встал и невесело усмехнулся.

— Жизня! — сказал он, стукнув кулаком по колену. — Ведьма проклятая!

— Злодейка! — в тон ему поддакнул Кольцов. — Чортова кукла!

Они поглядели друг на друга и расхохотались.

— Эх, Алеша, — сказал Сребрянский, обнимая Кольцова, — что, если б тебе образование, университет!

— Что это ты вдруг? — спросил Кольцов.

— Знаешь, в былине про Илью... До тридцати трех лет сиднем сидел. Пришли странники, калики перехожие... Просят напиться. Илья говорит: рад бы дать, да бог наказал ногами. Вот калики поднесли ему чашу зелена вина...

— Постой, постой! — перебил Кольцов. — К чему это ты, Андрюша, гнешь?

— Да все к тому же! Ты, брат, как Илья-богатырь, хватил богатырскую чашу из колодца поэзии народной! Тебе бы сейчас кольцо в землю... то-бишь университет, так ты бы...

— Брось, Андрюша! — с досадой отмахнулся Кольцов. — Мне, ей-ей, не до смеху. Ведь вот вы меня поэтом величаете, стихотворцем. А я намедни по батенькиным кассациям написал бумагу, понес в палату. Управляющий, господин Карачинский, прочитал, говорит: «Это ты, что ли, Кольцов, какой стихи сочиняет?» — «Я», — говорю. «Ну, так вот, — говорит Карачинский, — дело твое пойдет в Москву, в департамент». — «А для чего же, — говорю, — в Москву, когда его и тут решить можно?» А он: «Ты сначала грамоте научись, а то, мыслимо ли дело, на пол-листе прошения шестнадцать противу русской грамматики ошибок наклепал! Какой ты сочинитель, чурбак ты осиновый!» — Я и рот разинул, а писаря-то как грохнут!

— Скотина твой Карачинский, — нахмурился Сребрянский.

— Он-то, положим, точно — скотина, да ведь от правды-то, Андрюша, не спрячешься... Какой я сочинитель! Вон дьячок наш, Афоня, против меня в грамоте — академик! Я понимаю, Андрюша, нехорошо это, только как я тебе завидую!..

— Мне, брат, завидовать нечего. Я сам завистлив. Эх, Алешка, — воскликнул Сребрянский, — дивные стихи эти у тебя вышли!

Он достал из кармана бережно свернутый листок, испещренный бисерными кольцовскими строчками.

— Чорт знает, чем ты берешь? Все просто, а вот властной рукой схватит и уведет, и все потом звенит в ушах, как весенний ветер. Только, знаешь, Алеша, вот тут... — Сребрянский склонился над листком. — Вот тут у тебя: «Растоплю я кольцо друга милова»... и в следующем куплете: «Распаяй, растопи чисто золото». А не лучше в первый раз так: «Распаяю кольцо», а?

Сребрянский отчеркнул карандашом на листке и продолжал:

— Потом вот здесь... «Что взгляну, что вздохну — растоскуюся».

— Постой, — Кольцов взял листок и карандаш. — А ты как думал?

— Ты глянь: у тебя в двух куплетах уже было «рас-паяю», «рас-паяй», «рас-топлю», а тут «рас-тоскуюся».

— И правда, коряво...

Кольцов быстро зачеркнул, написал что-то и протянул листок Сребрянскому.

— Ну вот! — воскликнул тот. — Не «рас», а «за-тоскуюся»! Но стих! Нет, где ты, Алешка, такие слова берешь? Пойми ты, слова: «чис-та зо-ло-та»!

Сребрянский, обняв Кольцова, повалил его на топчан. Кольцов обхватил Сребрянского руками и крепко прижал к себе.

— Пусти! Ох, медведь! — запыхавшись, взмолился Сребрянский. — Ну, здоров, чорт! Эк, ручищи-то, железные, право...

— То-то!.. — засмеялся Кольцов. — Ты с мужиками, брат, лучше не связывайся... Ваше дело теперь, почитай, питерское, дворянское. С Питером-то решено ведь, Андрюша, да? — не выпуская друга из объятий и заглядывая ему в глаза, спросил Кольцов.

— Веришь ли, мне Питер — дело жизни и смерти! Да вот... — Сребрянский подал конверт. — Почитай, — сказал он и отвернулся.

На синем листе сахарной оберточной бумаги вкривь и вкось чернели старческие крупные каракули.

— Это батька мне пишет, — не оборачиваясь, пояснил Сребрянский. — Читай вслух.

— «Дорогой сын Андрей! — начал читать Кольцов. — Во-первых, возблагодарим господа за милость его великую к нашим грехам, а во-вторых, вот тебе родительский ответ наш на твое письмо, где ты пишешь о намерении своем поступить в медицинскую академию. Тебе, по твоей юности, это соблазнительно, а мы с матерью через то и сон потеряли. В нашем роду медиков не бывало, но все иерействовали. Ворона же, нарядившись павою, к таковым не пристала, а от ворон отошла. Нет и нет тебе нашего родительского благословения. А ведь с твоим изрядным умом и прилежанием, служа, как и деды твои, перед престолом всевышнего...»

— Хватит, — остановил Сребрянский. — Тут дальше нравоучения и поклоны. Главное: нет тебе родительского благословения.

Сребрянский закашлялся.

— Скверно, брат, — тяжело дыша и утирая лоб платком, сказал он, — а тут еще кашель этот проклятый.

— Андрюша, — Кольцов положил руку на его колено. — А ежели без благословения?

— Нет благословения — значит, и денег нету, вот оно что! В Питере я бы прожил, стал бы уроки давать господским недорослям, переписку бы взял, переводы, наконец, да я бог знает на что готов!.. Но вот как без денег добраться до Питера?..

— Ничего, — улыбнулся Кольцов. — Доберешься и до Питера. Я тебе, Андрюша, денег дам, ладно?

— Эх, Алексей! — воскликнул Сребрянский. — Не человек ты, а... чисто золото!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

...Но только тот блажен,
Но тот счастлив и тот почтен,

Кого природа одарила
Душой и чувством, и умом,

Кого фортуна наградила
Любовью — истинным добром.

А. Кольцов

1

Весной 1830 года студент Московского университета Николай Станкевич ехал домой в Острогожский уезд на летние вакации.

Серые в яблоках лошади резво бежали по пыльной дороге. Бубенчики гремели нежно и печально. Коляска то и дело обгоняла стада свиней и быков. Черные от пыли погонщики кричали и хлопали длинными кнутами, свиньи визжали, быки ревели.

Кучер в плисовой безрукавке и в щегольской шляпе с павлиньим пером, ловко объезжая стороной, покрикивал и переговаривался с погонщиками.

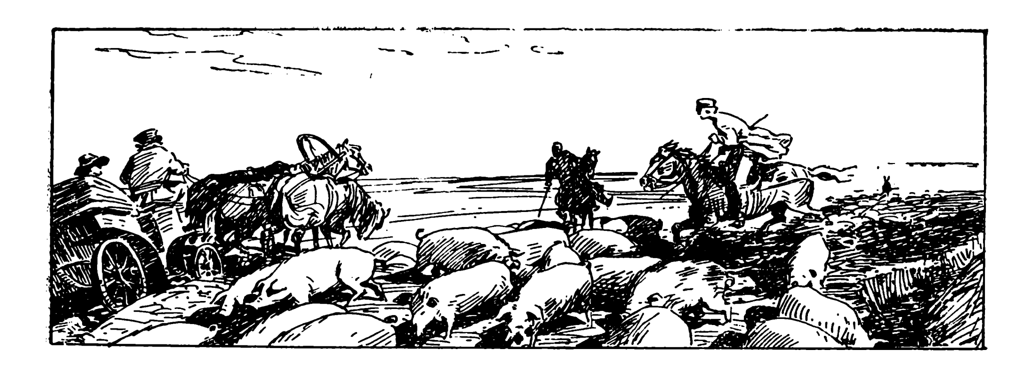
— К нам, Миколай Владимирыч, —обернулся он к Станкевичу, — в этом году свиней на барду беда сколько гоняют! Вся округа протухла.

Станкевич был еще очень молод, с мягким, женственным лицом и с длинными, до плеч, красивыми каштановыми волосами. Серые ласковые глаза глядели серьезно и с любопытством. Мягкая широкополая шляпа была надета небрежно, чуть набок. Он первый раз ехал на каникулы, и его радовало все: и пыльные поля, и крики кучера, и кланяющиеся мужики, и далекая колокольня, одиноко белеющая в знойном тумане. Он ощущал все это в себе, и все это казалось ему счастьем.

Коляска врезалась в стадо свиней, и лошади пошли шагом. Пыль столбом стояла над стадом. Слышались удары кнута и дикий визг.

Высокий горбатый хряк со страшными желтоватыми клыками, задрав морду и угрожающе похрапывая, остановился среди дороги. Все стадо беспорядочно столпилось вокруг него, и трое верховых, бестолково крича и ругаясь, били кнутами свиней, не решаясь, однако, приблизиться к рассвирепевшему хряку.

Коляска свернула с дороги, и лошади пошли шагом по пыльным кочкам вспаханного поля.



— Эко, шутоломные! — снова оборачиваясь к Станкевичу, усмехнулся кучер. — Нет бы хряка с места тронуть, а они, дураки, свиней полосуют...

— Да они, кажется, боятся, — заметил Станкевич.

— Погонщики! — презрительно сплюнул кучер.

Запыленный всадник, что-то крича, обогнал коляску. Мелькнула гнедая, с пролысинкой на лбу, лошадь, разлетающиеся полы кафтана и светлая прядь волос, выбившихся из-под картуза.

— Ар-ря! — закричал всадник, вытягивая плетью хряка.

— Гляди, Алексей Васильич, — запорет! — молодой безбородый парень в сбившейся набок шапке скакал с другого конца стада.

— Я ему запорю! — засмеялся всадник и поскакал вперед.

Коляска выбралась на дорогу и шибко покатила между двух рядов веселых молодых березок. В тени деревьев стало прохладно. Станкевич снял шляпу.

— Энти, стало быть, свиньи, — сказал кучер, — аж с Воронежа. Кольцовские. Я ихнего малого знаю, вон поскакал... Малый ничего, обходительный... Но чудак! — кучер покрутил головой. — Чуда-ак!.. — весело повторил он, разбирая вожжи.

2

Село Удеревка лежало в скучной степной лощине. Сотни две крестьянских изб с клунями, сараями и амбарами беспорядочно расползлись по дну неудобной лощины. Кое-где торчали одинокие жиденькие ветлы. Впрочем, возле дрянной речушки, вилявшей туда и сюда, ветлы росли гуще и почти совсем закрывали грязные стены и толстую, кирпичную, невысокую трубу винокуренного завода.

Возле завода виднелось множество подвод, слышались отчаянный визг свиней, рев быков, крики и брань.

Надо всей лощиной стоял особенно резкий и неприятный запах отходов завода — барды. Этой бардой кормили скот. Сюда пригоняли гурты со всего Острогожского и даже из соседних уездов, и из-за этой-то барды и множества скота и провоняла, как говорил кучер, вся округа.

Сразу же за кирпичными корпусами винокурни дорога, обсаженная березами, поднималась в гору. За белыми каменными воротами с башенкой и флюгером начинался большой, с заросшим прудом и развалившимися беседками старый парк, в глубине которого белели деревянные колонны господского дома.

Село, завод и усадьба принадлежали отцу Станкевича. В уезде толковали, что он крикун, бешеный человек, однако этот «крикун» очень ловко повернул доставшееся ему от покойных родителей наследство: три сотни заложенных и перезаложенных душ, пачку векселей и несколько заемных писем. Он смекнул, что на трех сотнях разоренных и заложенных мужиков далеко не уедешь и что жить на доходы от хлебопашества, как жили все соседи, трудно да при состоянии его дел и невозможно. Он не посмотрел на то, что дворянину неприлично заниматься коммерцией, а трезво рассудил, что коли дела плохи, так их надо любыми средствами поправлять. Поэтому он продал то, что не было заложено, еще сколько-то призанял и устроил в Удеревке винокуренный завод, на который не стал приглашать немца-инженера, а поставил главным механиком своего удеревского мельника и сам прочно взял в свои руки все дела и уверенно их повел.

Соседи посматривали искоса на его предприятия, не одобряя и осуждая, но втайне завидовали. Ему же было безразлично, как на него смотрят соседи и что о нем говорят. У него рано умерла жена, и он все свое внимание сосредоточил на делах завода и воспитании детей, которых, особенно Николая, очень любил.

3

Обед был чудовищным: бесконечные кулебяки и пирожки, соления, маринады, жаркое из гусей, уток, дичи и, наконец, всевозможные варенья, моченые и засахаренные яблоки, вишни в меду, сиропы, морсы...

— Да нет, что вы, тетушка! — говорил Станкевич, стоя вечером в дверях своей комнаты со свечой в руке. — Как же можно еще и ужинать! Да я за обедом съел столько, что в Москве и за неделю, кажется, не едал.

— Ну, Христос с тобой, Николенька, — перекрестила его тетка. — Когда раздеваться станешь, позвони Ивану. Да гляди, — уходя, добавила она, — очень-то не зачитывайся: головка не заболела бы.

Станкевич остался один. Поставив свечу на столик возле дивана, он сел в кресло, взял книгу и, полистав ее, бросил.

— Хорошо! — вздохнул он. — Чудесно!

Он подошел к окну и распахнул его. Комната наполнилась ровным лунным светом. Сад чернел девственным лесом; соловей под самым окном то рассыпал круглые, как горошины, щелчки, то вдруг, нанизывая их, как бусы на нитку, свистел. Между деревьями сверкал пруд.

— Чудесно! — повторил Станкевич. — Только очень уж умиротворенно... Прекраснодушно! — засмеялся он и стал дергать шнурок звонка.

— «Позвони Ивану», — покачал он головой. — А если Ивану не до звонков?.. Иван! — крикнул он в окно, снова подергал шнурок, махнул рукой, скинул сюртук и стал раздеваться.

4

На огромном, поросшем травою дворе, возле людской, на бревнах и на траве сидели и лежали дворовые и погонщики. Они только что поужинали. В открытое окно виднелась стряпуха, с грохотом моющая посуду. Кое-кто курил, красные огоньки трубок тлели в полутьме.

Кольцов сидел на бревенчатом срубе колодца, глядел на лунные пятнышки, и ему было хорошо и хотелось петь. Слышно было, как в глубине сада заливались соловьи.

— А что, дядя Иван, — спросил мальчик-казачок, — правду говорят, ежели соловья в клетку засадить, так он и петь перестанет?

— Брехня! — сказал Иван. — Вон в Москве, у Тестова в трактире, их, брат, страсть сколько.

— И поют? — спросил кучер.

— Не то поют — ревмя ревут! Господа кушают, а они, стало быть, для аппетиту... страсть!

— Да, — разжигая трубку, глубокомысленно сказал кучер. — Соловей — это действительно господская птица...

Кольцов обхватил руками колени и стал, сначала вполголоса, а затем все громче, напевать:

Ты не пой, соловей,
Под моим окном;
Улети ты в леса
Моей родины!

Полюби ты окно
Души-девицы...
Прощебечь нежно ей
Про мою тоску...

Разговоры смолкли. Люди придвинулись ближе к Кольцову. Кухарка перестала греметь посудой и, опершись на круглые локти, высунулась в окошко.

Ты скажи, как без ней, —

продолжал Кольцов, —

Сохну, вяну я,
Что трава на степи
Перед осенью.

Без нее, ночью, мне
Месяц сумрачен;
Среди дня без огня
Ходит солнышко.

Без нее, кто меня
Примет ласково?
На чью грудь, отдохнуть,
Склоню голову?

Что ж поешь, соловей,
Под моим окном?
Улетай, улетай
К душе-девице!

— Ах, ты! — воскликнул Иван. — Вот это, братцы, песня! Э, малой! — обратился он к Кольцову. — А ну, давай еще какую...

— А что, понравилась? — обернулся Кольцов.

— Это тебе, Иван Афанасьевич, не Тестов трактир, — засмеялся кучер. — Наш, брат, соловей — воронежский.

Люди добрые, скажите, —

начал Кольцов, и снова все умолкли слушая.

...Люди добрые, не скройте:
Где мой милый? Вы молчите!
Злую ль тайну вы храните?

За далекими ль горами
Он живет один, тоскуя?
За степями ль, за морями
Счастлив с новыми друзьями?

Кухарка стала рушником утирать глаза.

— Это ей про своего Микиту вспомнилось, — шепнул Ивану кучер. — Великим постом в солдаты забрили... Жалкует бабочка...

— Ива-а-ан! — закричали с крыльца господского дома.

— Тьфу ты, пропасти на вас нету! — плюнул Иван и, загасив цыгарку, побежал к дому.

5

Станкевич, уже в халате, лежал на диване и читал, когда в дверь просунулась стриженная под горшок, с лицом, заросшим щетиной, голова.

— Кликали, Миколай Владимирыч?

— А? Что? — рассеянно спросил Станкевич. — Да, да, братец, где это ты изволил пропадать?

— Дак, Миколай Владимирыч! — протискиваясь в дверь, загудел Иван. — Там на дворе один малый все такие нам песни читал — ну, прямо отстать невозможно!

— Песни? Какие песни? Какой малый?

— Да шут его знает, какой-то из погонщиков, что ли!.. Вон она все в голове вертится... «Ты не пой, соловей, под моим окном. Улети ты в леса на мою родину... Полюби-кась ты окно красной девицы...»

— Как? Как? — спуская с дивана ноги, живо спросил Станкевич. — Ты не пой, соловей, под моим окном?

— Дак это что! — восторженно воскликнул Иван. — Он и еще пел!

— Зови его сюда! — крикнул Станкевич. — Постой, — остановил он рванувшегося к дверям Ивана. — Скажи: барин, мол, очень просит не отказать.

— Сей момент! — подмигнул Иван, исчезая за дверью.

6

Через минуту в коридоре послышались шаги и голос Ивана.

— Иди, иди, — говорил он Кольцову. — Иди, не бойсь, барин хороший... Вот-с! — сказал он, появляясь в дверях с Кольцовым.

Кольцов поклонился.

— Прошу сюда! — вскочил Станкевич. — В кресла садитесь. Это ничего, что я вас позвал?

— Ничего-с, — кашлянув в руку, сказал Кольцов. — Все равно ночь такая, что и сон не идет. Чудесная ночь!

— Ведь это я вас давеча видел? — спросил Станкевич. — Я ехал, а вы еще с кабаном сражались.

— Всю дорогу мучился, — сказал Кольцов. — Такой попался своенравный!

— Да садитесь же, прошу вас!

— Ничего, — поклонился Кольцов. — Постою...

Станкевич взял его под руку и, подведя к креслу, усадил и сам сел на диван.

— Мне совестно, что я вас этак бесцеремонно... Только мне очень хотелось послушать ваши песни.

— Извольте, — сказал Кольцов. — Очень уж ночь хороша — петь хочется.

Он стал читать. Сами стихи и его манера чтения поразили Станкевича. Откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза, он слушал не перебивая, точно боясь неосторожным словом спугнуть певца.

Кольцов прочитал ему «Путника», «Соловья», «Терем» и, наконец, последнее, что он сочинил, — «Повесть моей любви».

Скучно и нерадостно
Я провел век юности:
В суетных занятиях,
Не видал я красных дней,
Жил в степях с коровами,
Грусть в лугах разгуливал,
По полям с лошадкою
Один горе мыкивал.

Станкевич открыл глаза и глядел на Кольцова, как на чудо, а тот все пел и, казалось, не видел ни Станкевича, ни богато убранной комнаты — ничего: одна степь была перед его глазами, ветер свистел в ушах да серебряные волны ковыля плыли вокруг, уходя к горизонту...

— Где взяли вы эти песни? — спросил Станкевич, когда Кольцов умолк.

— Да где же, все в степи больше, — улыбнулся Кольцов. — Все степь нашептала, а я записал...

— Да нет! — Станкевич вскочил и подбежал к Кольцову. — Нет, вы знаете, что вы создаете? Милый мой, да ведь это эпоха в поэзии русской! Да, да! — воскликнул он, видя, что Кольцов недоверчиво глядит на

него. — Эпоха! Это вам не Дельвиг со Слепушкиным... Нет, это сама Русь, это...

Он обнял смущенного Кольцова.

— Где все это записано? Тетради, бумаги ваши где? Дома, конечно?

— Тетрадки мои со мной.

— Как? — удивился Станкевич. — Вы их так всюду за собой и возите?

— А как же? — просто ответил Кольцов. — Маранье мое — моя радость единственная, а дома, глядишь, их еще на обертку пустят.

7

Рано утром, оставив возле свиней двух погонщиков, Кольцов поехал домой.

Снова раскаленное, в красноватом тумане, вставало солнце засушливого лета. Весь май дули суховеи, по дорогам клубилась пыль, сквозь которую солнце светило мутно и безрадостно. Несчастная земля, так и не отдохнувшая за короткую ночь, вся в скорбных морщинах глубоких трещин, просила дождя. Мужики с попами ходили по чахлым полям, служили молебны, а дождя все не было.

Кольцов так и не спал нынче, просидев до рассвета у Станкевича, читая и рассказывая ему о себе. Теперь Кольцову казалось удивительным то, что, всегда робея или замыкаясь перед чужими, особенно перед образованными господами, он так хорошо и свободно чувствовал себя с Николаем Владимировичем.

Вся минувшая ночь, полная лунного света и соловьиных песен, народ возле людской, плачущая стряпуха, кабинет молодого барина, сад за окошком и, наконец, сам Станкевич — нежный и порывистый, — его тихий, ласковый голос — все сейчас казалось сном, видением.

Кольцов подъезжал к большому селу Костёнки. Несмотря на ранний час, в церкви звонили по покойнику. Мерно ударял большой басовитый колокол, и долго плыли его могучие звуки в неподвижном, вздрагивающем воздухе. Едва замирал низкий звук, колокол поменьше, каким бьют часы, стоном стонал и, наконец, точно плакальщицы, один за другим через длинные промежутки всхлипывали маленькие трезвонные колокольцы.

По пыльной дороге медленно двигалось похоронное шествие. Мужики без шапок, в новых поддевках и лаптях несли три гроба. Вопли и причитания, точно ножом, полосовали печальную тишину разгорающегося утра.

Кольцов снял картуз и, хлестнув лошадь, вскачь помчался вперед, оставляя за собой густое, неподвижное облако пыли.

До самого Воронежа Кольцова сопровождал похоронный звон. Холера выкашивала деревни целиком. Смерть рядом с засухой шагала по выгоревшим полям. Простоволосые мужики в новых лаптях несли гробы. Выли бабы... А в избе, из которой только что выносили покойника, в предсмертных судорогах уже корчился другой, и в полутемных прохладных сенцах древний старик прилаживал стругать доски для нового гроба.

День разгорелся, как пожар. Рот был полон пыли, в горле пересыхало так, что становилось трудно глотать.

Возле почтовой станции Кольцов спрыгнул с седла, привязал Лыску к полосатому столбу и пошел спросить чаю.

В станционной избе от множества мух стоял гул, как на пчельнике. За столом сидел крепкий, коренастый, с кирпичным от загара лицом человек в очках и в белом халате. Перед ним стояли самовар и бутылка рома.

Кольцов спросил чаю. Смотритель поплелся было за перегородку, да вернулся и, шепнув Кольцову: «Сейчас, погодите!» — подошел к человеку в халате.

— Иван Андреич, — сказал смотритель, — вон проезжий чаю спрашивает, может дозволите ему из вашего самовара стаканчик?

— Да, помилуйте, — смутился Кольцов, — к чему ж беспокоить? Я бы просто сырой водички выпил. В глотке все пересохло, беда...

Иван Андреевич обернулся и поглядел на Кольцова.

— Милости прошу, — указал он на лавку. — Какая там сырая водичка! Тут на троих самовара хватит.

Кольцов поклонился, поблагодарил и назвал себя.

— Это какие же Кольцовы? Прасолы, что ли?

— Так точно.

— Знаю, слыхал, — зевнул Иван Андреевич. — Извините, — сказал он, — три ночи не спал. Я лекарь Малышев, честь имею представиться. По четырем уездам мотаюсь. Да что! Толку мало. Мрут, да и только!

— Страшное бедствие! — вздохнул Кольцов.

— Какое бедствие! — рассердился Малышев. — Бедствие, сударь, не в холере — бедствие в администрации, чорт бы ее побрал, дармоеды проклятые!

Он набил табаком и закурил коротенькую трубочку.

— Больниц нету, — начал он загибать пальцы, — медикаментов и лекарств нету. Чистой воды даже, чорт побери, нету. Что ж вы хотите? Вон у меня в Коротояке на почтовой станции лазарет. Лежат, сердечные, на полу в соломе да и помирают. А что сделаешь? Намедни приехал чиновник из губернии. Я ему и то и это, а он перетрусил, верите, даже почернел весь. «Доктор, — говорит, — я, кажется, заболеваю, пустите мне кровь!» — «Да, помилуйте, — говорю, — батюшка, зачем же?» А он одно: «Пустите да пустите!» Ну, и пустил! С тем он и отбыл. Зато жители все как узнали, что губернский чиновник себе кровь пустил, давай и себе пускать! Кровопролитие было, сударь, не хуже Бородинского сражения.

Малышев хрипло засмеялся и налил Кольцову чаю.

— А вы говорите — бедствие! — продолжал он. — Вот то-то оно и есть, что тут еще понять надобно, где на Руси нашей бедствие? Холера, она пошумит да и пройдет, а вот чиновник сей, кровопускатель, — он как был, так и останется!

За окном зазвенели колокольчики. Вошел смотритель.

— Иван Андреич, — сказал он, — лошади готовы...

Малышев стал собираться.

— А вы, сударь, — сказал он Кольцову на прощанье, — того-с, сырую водичку-то все-таки остерегайтесь... Береженого бог бережет!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь.
А. Сребрянский

1

Подъезжая к дому, Кольцов нагнал Сребрянского. Тот шел, сдвинув фуражку на затылок и размахивая огромным букетом белой сирени.

— А я к тебе, — весело сказал Сребрянский. — Видишь, сувенир несу! — Он с восхищением поглядел на Кольцова. — Ловок ты на коне!

По двору бродили две коровы. На бревнах возле конюшни сидели Зензинов и дед Пантелей. Возле них, лицом вниз, лежал небольшой паренек в рваном армячишке и огромных, не по росту, стоптанных лаптях. Плечи мальчика вздрагивали.

— Чего это он? — поздоровавшись, спросил Кольцов.

— Тут, Васильич, беда, — сокрушенно замотал головой Пантелей. — Он, парнишка-то, гнал, значит, трех коровок, больные коровки-то, стало быть... в гурте захворали... С Приваловки, что ли? — Старик тронул мальчика палкой.

— С При... при... валовки... — всхлипывая, ответил тот.

— Так вот, — продолжал Пантелей, — в дороге малого возьми да и размори, — задремал, стало быть, — а коровку недобрые люди угнали... Опасается парнишка родителя твоего. Видишь ты, какое дело-то!

— Это уж прибьет! — сказал Зензинов.

Кольцов нахмурился.

— Эй, малый! — окликнул он парнишку. — Как тебя звать-то?

— Ми... Ми-троха!..

— Вот, Митроха, — сказал Кольцов, — вставай, будет реветь! С кем греха не случается?

Растирая кулаками по грязным щекам слезы, Митроха встал.

Дверь открылась, и на крыльце показался Василий Петрович.

— Ну, держись, — протянул Зензинов. — Будет дело под Полтавой!

Василий Петрович спустился с крыльца и медленно, опираясь на суковатую палку, пошел к конюшне.

Митроха затрясся и ухватился за полу кольцовского кафтана.

— Дяденька! Ой, дяденька!.. — вскрикивал он. — Ой, да прости ж ты, дяденька!..

— Я те, сукин сын, дам дяденьку! — рявкнул Василий Петрович. — Проспал корову-то, гаденыш!..

Он размахнулся и ударил Митроху палкой по ногам. Мальчик упал.

— А-а-ах! — Кольцов кинулся к отцу, вырвал у него палку и с отчаянной силой хватил ею по бревнам. Палка разлетелась на куски.

— Ты?.. — изумился старик. — Ты как же это?..

— Не смейте драться! — глядя в упор, хрипло сказал Кольцов.

С минуту отец и сын молча смотрели друг на друга. Сребрянский, Зензинов и Пантелей стояли не дыша, и даже Митроха, приподнявшись с земли и закрыв руками голову, перестал плакать.

Наконец старик отвел глаза и, сказав Митрохе: «Пошел вон, щенок!», круто повернулся и зашагал к дому.

Алексей был бледен. Губы его дрожали. Побелевшая от напряжения рука еще стискивала обломок палки. Он проводил глазами отца и, когда тот, хлопнув дверью, скрылся в доме, далеко отшвырнул палку и быстро пошел к сараям.

— Наскочила коса на камень! — засмеялся Зензинов.

Возле каморки Сребрянский догнал Кольцова и обнял.

— Молодец! — сказал он.

Кольцов остановился, поглядел на него, потер рукою лоб.

— Пакость какая! — прошептал он и, не попадая ключом в скважину, стал отпирать замок.

2

Сребрянский раздобыл плошку и поставил сирень на стол.

— Вот, — любуясь букетом, сказал он, — цветы по праву твои, победитель!

Кольцов сидел молча в своей любимой позе: положив локти на стол, опершись подбородком на кулаки.

— Два мира, — медленно произнес он, — два мира повидал я за сутки. Как во сне! Вчера побывал я в царстве света... Ан вот нонче с облаков-то и шлепнулся носом в навозную кучу!

Он рассказал Сребрянскому о своей нечаянной встрече со Станкевичем.

— Какой человек, Андрюша!.. Я таких не видывал. Такой один за всю жизнь встретится!

— Постой! — перебил Сребрянский. — А что ж тетрадки-то?

Кольцов сказал, что тетрадки Станкевич взялся повезти в Москву, показать друзьям и, может быть, отпечатать.

— Ты подумай, Андрюша, московские литераторы станут читать!.. Оторопь берет, куда залетел!

— Важно! — воскликнул Сребрянский. — На широкую дорогу выходишь, Алексей.

— Да... — задумчиво сказал Кольцов. — Оно так, радостно, конечно... А вот проехался нынче — тоска взяла. Звоном похоронным по всей дороге встречали. Да и сейчас... слышишь?

Он распахнул окно. В вечерней тишине звучал далекий печальный и медленный перезвон колоколов.

Кольцова позвали в дом.

— Наверно, баталия будет, — мрачно сказал он Сребрянскому.—Ты погоди, я скоро...

Сребрянский лег на топчан. Звон плыл бесконечно, то отдаляясь, то приближаясь.

Сребрянский вспомнил, что завтра в семинарии будет публичный акт. Профессор назначил ему читать последнюю часть «Предчувствия вечности». Итак, он выйдет на новую, незнакомую и, конечно, трудную дорогу. Он выбрал ее сам и вот теперь вдруг подумал: «Та ли дорога?» Вон Кольцов напечатает книжку. А он? Что же, как не поэзия, с малых лет неотступно была с ним? Стихи бесконечно звенели в ушах, его экспромты славились меж друзьями, последнее, что он создал, — «Вечность», кажется, настоящая удача... Что же заставляет его менять поповскую рясу на лекарский халат? Темно на душе...

Погребальный звон плыл за окном.

— Врешь! — вскочил Сребрянский. — Правильная дорога! Хороший лекарь нужнее посредственного рифмоплета!

Вошел Кольцов.

— Ты прости, Андрюша, — тихо сказал он. — Мне итти надо. У нас горе: Маша, сестра, скончалась.

3

На другой день в семинарии был публичный акт, на который ожидали архиерея и губернатора.

Пол был чисто вымыт, пыльные стекла на окнах протерты, а по лестнице, коридорам и в самом зале накурено благовонными свечками.

Приехали архиерей и губернатор, и экзамен начался.

Архиерей Антоний Смирницкий, худой и болезненный старик с желтым лицом, злыми глазами и длинным кривым носом, сидел за покрытым зеленой скатертью столом. В руках он держал кипарисовый посох. От нездоровья его постоянно знобило, и он даже летом носил меховые сапоги.

По правую руку от него сидел губернатор. Это был добродушный улыбающийся светский человек с умным и очень подвижным лицом. Он слыл литератором, потому что написал роман и был близко знаком с Грибоедовым.

Семинаристы, или, как их называли, студенты, выходили и довольно сносно отвечали. Некоторые, из особенно одаренных, сверх положенного на экзамене читали свои сочинения. Сочинения в стихах и в прозе были большей частью религиозного содержания. От них веяло скукой и затхлостью семинарских учебников.

Все шло довольно гладко. Архиерей дремал, губернатор улыбался и рисовал на бумаге кружочки и треугольники. Профессор словесности волно-

вался за своих воспитанников. Он часто краснел и то расстегивал, то застегивал пуговку своего жилета.

Наконец назвали фамилию Сребрянского.

Он вышел, дельно и спокойно ответил на все вопросы.

— Изрядно, изрядно, — сказал губернатор. — Не правда ли, ваше преосвященство? — наклонился он к архиерею.

Архиерей сидел, закрыв глаза.

Когда с вопросами было покончено, студент посмотрел на профессора, тот кивнул головой, и Сребрянский начал читать свои стихи. Он был в ударе. Его красивый голос то гремел на весь зал, то понижался до шопота. Щеки покрылись румянцем, жесты были стремительны и порывисты.

Архиерей открыл глаза и прислушался.

— Это что же? — громко и раздраженно спросил он. — Студент пьян? Замолчи! — вдруг крикнул архиерей. — Уведите его — ишь, распрыгался!

Изумленно оглянувшись кругом, Сребрянский замолчал.

— Как фамилия? — обернулся архиерей к ректору.

— Сребрянский, ваше преосвященство.

— Тому Сребрянскому — кто? — нахмурился архиерей.

— Брат, ваше преосвященство.

— Такой же разбойник, — сказал архиерей. — В карцер! В карцер! — повторил он и стукнул посохом об пол.

«Что это? — подумал Сребрянский. — Во сне, что ли?»

И в самом деле, как во сне, он увидел, что отец ректор подозвал инспектора, и тот, поклонившись, вышел из зала.

Губернатор, улыбаясь и разводя руками, стал что-то говорить разгневанному Антонию.

— Какое вдохновенье! — раздраженно сказал архиерей. — Пьян просто! Ну, да уж так и быть, Дмитрий Никитич, для вас только... Продолжайте, — обернулся он к ректору.

В коридоре Сребрянского встретил инспектор.

— Ну, Сребрянский, скажи спасибо господину губернатору. Сидеть бы тебе в карцере, кабы не он! «Вдохновение»! — фыркнул инспектор. — Ты, брат, не очень-то... Знай, где вдохновляться. Прыткий какой!

4

Сестра Кольцова, Мария, была замужем за Иваном Сергеевичем Башкирцевым, который страстно любил Машу и только что не молился на нее.

Когда Маша, заразившись холерой, заболела и умерла, Иван Сергеевич был по своим делам в Ростове. Его хотели подождать на похороны, да время стояло жаркое, а он все не ехал, и Машу похоронили без него.

Старики Башкирцевы и Кольцовы не стали ломать обычай и тотчас после похорон устроили поминальный обед.

Гостей было много. Как обычно, сначала они вздыхали и, вспоминая покойницу, степенно и тихо говорили между собой. Потом, когда вино развязало языки, разговоры стали громче. Перешли на городские, торговые,

семейные и другие, не имеющие отношения к печальному событию, дела. Вскоре раздались крики, двое приказчиков поссорились и стали укорять друг друга какими-то темными проделками. Послышался звон разбиваемой посуды.

Вдруг все замолкли. В дверях, с бледным, искаженным лицом, стоял Иван Сергеевич.

— Где Маша? — крикнул он.

К нему подбежали родные, он оттолкнул их и молча оглядел гостей.

— Вон отсюда! — не своим голосом закричал Башкирцев. — Живую закопали, анафемы! — и бросился из дома.

Он разыскал управителя и велел привести рабочих. Не глядя на ночь, с фонарями и факелами, они пошли на кладбище, откопали гроб и открыли его. Башкирцев кинулся на гроб, обнял покойницу да так и замер. Видимо, он потерял сознание, но никто не решился подойти к нему. Уже начинало светать, когда Башкирцев очнулся. Закрыв лицо руками, он тихо заплакал.

Кольцов, все время бывший возле него, повел его с кладбища. Они уже подходили к дому, когда Башкирцев вдруг остановился, обнял Кольцова и, вздрагивая от рыданий, сказал:

— Вот и я, Алеша, как ты... потерял ненаглядную!

5

Тянулось душное и страшное своими горячими ветрами лето. Пересыхали реки, и дымом горящих лесов и степей клубилось небо. В июле пожелтели и стали осыпаться деревья. Не умолкая, гудел погребальный звон: холера, как бешеный волк, рыскала по деревням.

С июля по октябрь Кольцов не слезал с коня. Он исколесил всю юго-восточную Россию, закупал и продавал скот. Во многих гуртах начался падеж. Эти гурты спешно перегонялись на бойню, и Кольцову приходилось по целым дням ходить по хлюпающей под ногами теплой крови и самому бить скот. Даже в тишине ночи, стоило закрыть глаза, как перед ними возникало шевелящееся кровавое месиво; Кольцову слышалось мычание, топот копыт, стук падающей туши, крики и брань рабочих. Он не мог заснуть, вскакивал и шел во двор.

Однажды в августе, кочуя где-то возле Славяносербска, Кольцов заехал на постоялый двор. Двор стоял на большой дороге, в стороне от села, и, видно, недавно горел: над закопченными стенами ослепительно белела новая тесовая крыша, деревья были обугленные, с ржавыми, свернувшимися в трубочку листьями.

Дворник — хозяин постоялого двора — черный, неразговорчивый мужик с серебряной серьгой в ухе — подал Кольцову самовар и, молча дымя коротенькой трубкой, сел на корточки возле порога.

Кольцов напился чаю. Ему надоело молчать, он попробовал заговорить с дворником и спросил, как его зовут.

— Окстили Кириллом, — нехотя ответил тот.



— Вот брат, Кирилл, — садясь рядом с дворником, сказал Кольцов, — наказал нас господь летом.

— Да, лето плохое, — равнодушно согласился Кирилл.

— Ты что ж, сам двор держишь или от господ? — спросил Кольцов.

— Сам, — сказал Кирилл. — Я от барина летось выкупился.

— В дворовых, что ль, у барина-то был?

— Егарем, — сказал Кирилл.

Они сидели на порожке избы. Перед ними лежала голая, печальная степь. Далеко-далеко в красноватом тумане всходила ущербная луна. Правее, тоже очень похожее на лунный восход, то разгоралось, то меркло зарево пожара.

— Где-то горит, — указал Кольцов на зарево.

— Вторые сутки горит — барина Свентицкого мужики жгут, — спокойно сказал Кирилл.

— Ай плох барин-то?

— Собака! — ответил Кирилл, вынул кисет и стал набивать трубку. — А тут еще и слух прошел... — высекая огонь и прикуривая, продолжал он, — слух прошел, будто барин Свентицкий все колодези кругом поотравил, чтобы народу погибель сделать.

— За это и жгут? — спросил Кольцов.

— Ну за это, да и так, за другое... одно слово: собака!

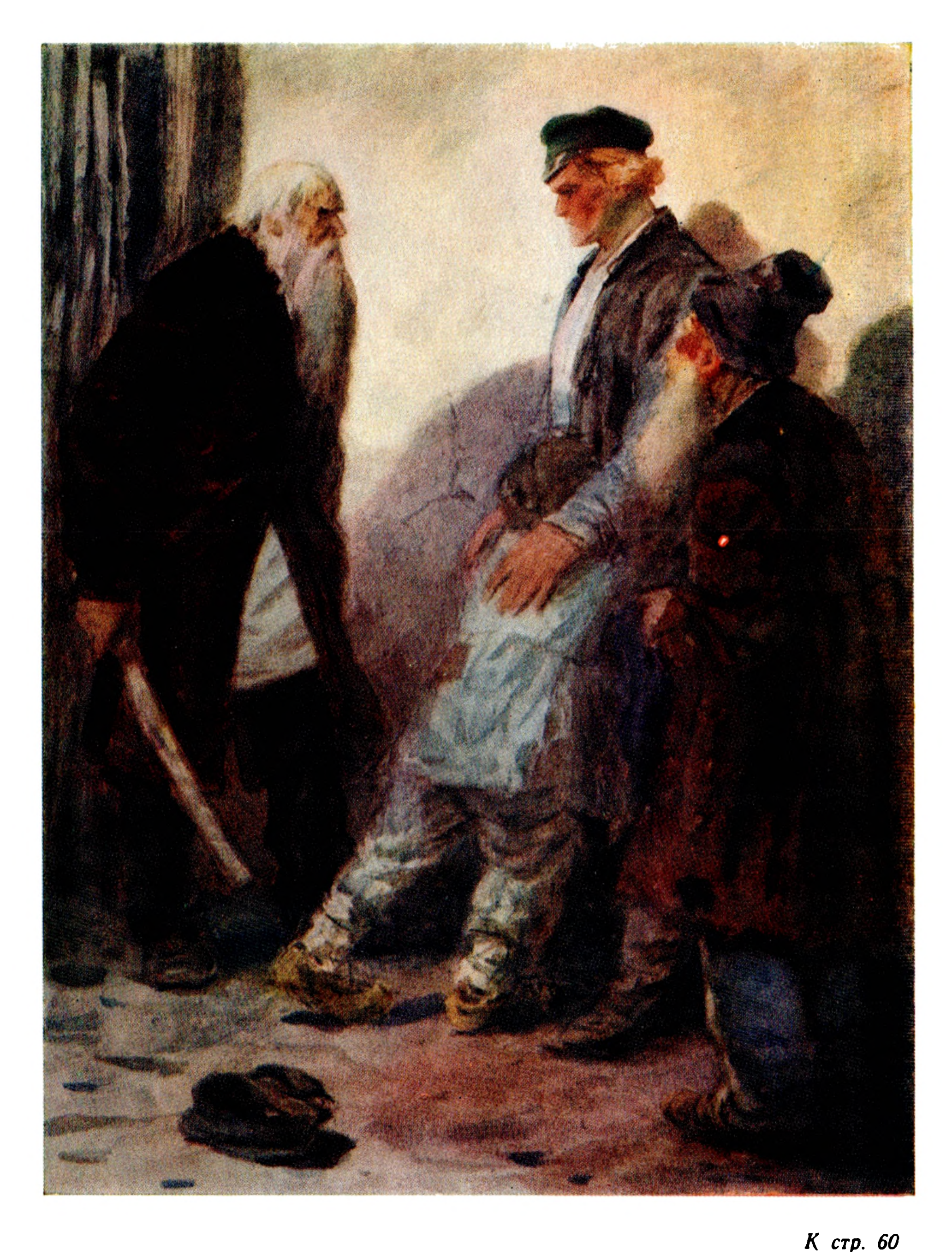
Кирилл стал глядеть на зарево. Оно разгоралось и вдруг разом полыхнуло в полнеба.

— Хлеб зачали жечь, — угрюмо сказал Кирилл. — Э, да что Свентицкий! — резко повернулся он к Кольцову. — Не то Свентицкий — всех их, одним словом!..

Он не договорил и махнул рукой.

Кольцов умел располагать к себе людей. Во взгляде его лучистых глаз, в голосе, в манере говорить и слушать было непередаваемое обаяние, покорявшее собеседника. Наверно, и дворник поддался этому обаянию. Посасывая хрипящую трубочку, он рассказал Кольцову, что барин ихний был хороший кобель, только тем и прославился на всю Донскую область. Кирилл был у него в егерях, все больше при собаках на псарне, и его мало касалась господская шкодливость. Но вот раз барину попалась на глаза Кириллова жена, и барин приказал ей ходить в дом мыть полы.

— А уж мы все знали, что это за полы, — сказал Кирилл. — Не она первая была поломойкой-то... Вот я и раздумался, что делать? Сперва хотел бабу порешить... Потом нашло на меня: да барин-то, ай он вечный?



К стр. 60

Очень простое дело! — оживился Кирилл. — Мало чего на охоте не случается! Ну вот, скажем, бывает иной раз, охотник так с лошади хряснется, что будь здоров! Сплю, а сам все вижу, как барин убился...

Кирилл замолк.

— Эх, зря хлеб жгут! — покачал он головой, глядя на зарево. — Ну, да уж теперь все равно, рука разошлась — не удержишь!

— Что ж, убился барин-то?

— Убился. До смерти. Да он пьяным-пьян был, а лошадь-то — страсть, огонь! Как не убиться? Ну, конечно, — помолчав, продолжал Кирилл, — похоронили нашего барина, тут наследник его приехал. А я еще давесь деньжонки сбирал; иду к молодому барину, кладу деньги на стол: так и так, дозвольте мне вольную! А ему не все равно? «Ладно, — говорит, — я согласен, иди выправляй пачпорт». Вот этак-то я и вышел в дворники! — усмехнувшись, закончил Кирилл.

— Ну, а баба что ж? Померла, что ли? — спросил Кольцов.

— Жива, — нахмурился Кирилл. — Только я с ней жить не схотел... Ну, спать, что ли, станем ложиться? — обернулся он к Кольцову. — Чай уже время.

Они пошли в избу. Дворник принес и постелил Кольцову сена, а сам полез на печку. Стало тихо, только за печкой все свиристел неугомонный сверчок.

— Кирилл, а Кирилл! — позвал Кольцов дворника.

— Чего? — откликнулся тот с печки.

— А что, ваш барин не привозил себе сударушек из иных губерний? Не бывало ль воронежских?

— Всякие были, — зевнув, ответил Кирилл. — И воронежские, и тамбовские... Нешто их всех упомнишь!

6

Наступила осень. В Воронеже все было попрежнему. На Дворянской улице одиноко свистел злой ветер, громыхая на крышах оторванными листами железа и ломая кривые сучья тополей и каштанов.

Только к ноябрю вернулся Кольцов домой. Все, чем он занимался летом, было сделано во-время и с выгодой. Отец казался добрым, хвалил сына, но однажды намекнул на женитьбу. Кольцов резко ответил отцу, и снова они враждебно замолчали.

Кольцова мучило одиночество. Кареев с полком был где-то в лагерях. Сребрянский сулился приехать к ноябрю, да все не ехал, — жил у своих стариков в Козловке и, как он писал Кольцову, напоследок отъедался.

Неожиданно в декабре приехал Кареев. Он пришел мрачный и осунувшийся, обнял Кольцова и сказал, что его полк отправляют в Польшу.

— Не чаял, — горько усмехнулся Кареев, — что придется мне играть отвратительную роль жандарма.

Кольцов туманно представлял себе, что делается в Польше, и Кареев рассказал ему о небывалом по величине и размаху восстании поляков против русского владычества.

— У нашего главного «будошника», — говорил Кареев, — одна цель: задавить и уничтожить революцию. И это, — он стиснул руками голову, — это призвана сделать русская армия! Боже мой, как все стыдно и гадко!..

Кареев уехал мрачный и расстроенный, желая, чтобы его убили на этой ужасной и несправедливой войне.

В январе появился Сребрянский. Несмотря на то, что он все лето «отъедался», вид у него был неважный: он кашлял, ржавые пятна румянца горели на щеках.

— Что ж ты, — сказал Кольцов, — этак плохо отъелся?

Сребрянский засмеялся, закашлялся и махнул рукой.

7

В маленькой комнатке было так накурено, что сквозь облака дыма люди казались призраками.

На проводы Сребрянского собрались его семинарские друзья. Здесь был и Ксенофонт Куликовский со своими неизменными гуслями, и регент Бадрухин, и Виктор Аскоченский, и, наконец, Феничка. Пели новую, сочиненную Сребрянским на расставание с друзьями, песню:

Быстры, как волны,
Дни нашей жизни,
Что час, то короче
К могиле наш путь...

Голоса то бушевали, как весенняя вода, то под рукою Бадрухина затихали до шопота, до вздоха. Несколько порожних бутылок валялось на полу.

Кольцов сидел молча, не принимая участия ни в пении, ни в шумных хмельных разговорах.

— Ну вот, Алеша, — садясь рядом с Кольцовым, сказал Сребрянский. — Вот и разошлись наши дороги... Да ты не грусти, не кручинься — авось еще встретимся!

Кольцов печально покачал головой:

— Счастливец ты, Андрюша! Экие пути перед тобой раскрылись!.. А мне завтра опять на линию за скотом ехать. Опять гуртовать на дорогах, людей обманывать...

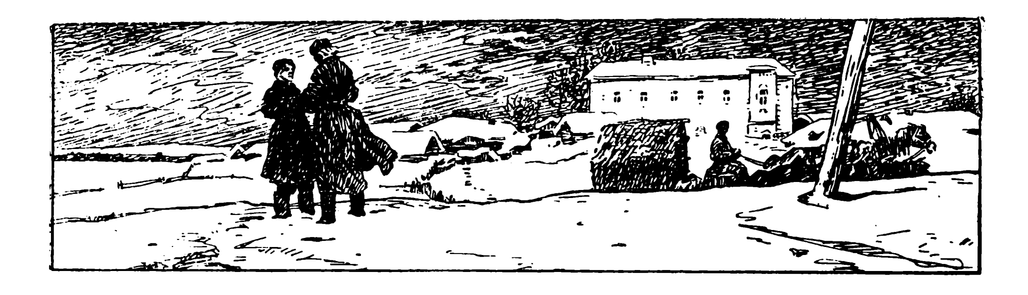
— Ну, полно, брат, какие уж там пути! — задумчиво сказал Сребрянский.

— Эх, Андрюша! — вздохнул Кольцов. — Любовь твоя мне, как травинке — роса...

Куликовский застучал по столу бутылкой.

— Эй, други! — воскликнул он. — Что до времени носы-то повесили? А ну-ка, нашу семинарскую!

Быстро перебирая гусельные струны, Куликовский запел. Хор подхватил, и стекла задрожали от напора сильных молодых голосов.



— Андрей Порфирьич! Ямщик говорит — ехать время! — просовывая голову в дверь, сказала квартирная хозяйка. — Фу, батюшки, да и начадили табачищем-то!

— Посошок! — мрачно рявкнул Феничка.

Он разлил по стаканам остатки водки и потянулся чокаться.

— Ну, Андрюша, счастливый тебе путь, родной! — Феничка обнял и поцеловал Сребрянского.

— Посидим по русскому обычаю! — сказал Бадрухин.

Друзья присели на минутку, помолчали и начали одеваться.

— Поедем, Алеша, проводи до заставы, — шепнул Сребрянский Кольцову.

Дорожная, покрытая рогожей кибитка стояла у крыльца. Ямщик ходил вокруг лошадей, поправляя сбрую.

— Тпр-р! Ну, балуй! — сердито кричал он на шаловливую пристяжную. — Поехали, что ли? — садясь на облучок и разбирая вожжи, спросил он.

Лошади зашевелились, звякнул колокольчик под дугой у коренника, под полозьями заскрипел снег.

— Ну, с богом, Андрюха! — крикнул Феничка.

— Будь здоров, друже! С богом! Час добрый! — послышались голоса семинаристов.

Лошади тронули, и кибитка, ныряя в сугробах, помчалась по темной улице.

Возле заставы Сребрянский велел остановиться. Друзья крепко обнялись.

— Так ты помни, Андрюша, — сказал Кольцов: — что бы ни случилось, — верный друг есть у тебя!

Ямщик привстал, взмахнул кнутом, крикнул, — лошади взяли вскачь, и кибитка скрылась в снежной мгле.

Кольцов долго смотрел вслед тройке. За каменными столбами заставы белело снежное поле. Ветер посвистывал и гнул к земле кусты бурьяна, снежные змейки шипели по дороге. Полосатый шлагбаум опустился, и будочник ушел в сторожку.

Кольцов вздохнул, запахнулся в поношенный тулупчик и медленно побрел домой.

8

«Линией» у воронежских прасолов называлась граница России с Азией. Ехать за скотом на «Линию» — значило ехать за пределы Европейской России — в калмыцкие кочевья, где скот был дешев и где его выгодно можно было купить. В такие поездки прасолы отправлялись зимой, с тем чтобы, закупив скот, к весне пригнать его на свои выпасы.

Вот в такую-то поездку дня через два после проводов Сребрянского и отправился Кольцов.

Его сопровождали Зензинов, молодой парень Ларивошка и еще один, недавно нанятый, гуртоправ.

Они благополучно добрались до Оренбурга, хорошо, с большой выгодой, купили четыре сотни быков и в конце февраля отправились обратно.

Зензинов ехал на день дороги впереди гурта, закупая и заготавливая корма. Кольцов с Ларивошкой и другим гуртовщиком гнали быков. Они уже перешли Волгу и вдруг попали в такие бураны, что приходилось по два-три дня стоять на месте.

На каком-то хуторе они отсиживались четверо суток. На пятый день буран утих. Кольцов велел собираться в дорогу.

Небо было ясное, и только далеко на горизонте белело узкое, как лезвие ножа, длинное облачко.

Следующая стоянка, где дожидался их Зензинов, была недалеко. Кольцов думал к ночи дойти до нее, спешил и все подгонял быков, тревожно поглядывая на облачко, которое вскоре стало приближаться и увеличиваться. Вдруг все кругом потемнело, заревел ветер и наступила ночь. Быки столпились в кучу и стали. Гуртовщики выбились из сил, скакали и кричали, погоняя быков, — все было напрасно: в двух шагах нельзя было разглядеть ничего — сплошные воющие стены снега висели кругом.

В страшном реве и свисте ветра невозможно было перекликаться с товарищами. Кольцов тронул Лыску и поехал вдоль гурта. Ему показалось, что быки, возле которых он ехал, были не гуртом, а только частью гурта.

Кольцов несколько раз объехал вокруг этих быков и убедился, что, точно, это был не весь гурт. Он стал звать товарищей, но голос его замирал в нескольких шагах. Мысль, что он заблудился, пронзила его мгновенно. Кольцову стало ясно его положение, и он понял, что может погибнуть.

Тогда он въехал в середину стада, поставил Лыску спиной к ветру и, закутавшись поплотней в тулупчик, стал ждать либо конца бурана, либо смерти.

9

Трудно сказать, сколько времени простоял Кольцов в таком ожидании. Ему захотелось спать. Он знал, что это плохой признак. Он спрыгнул с седла и стал бегать, чтобы разогнать сон и согреться.

За сплошной пеленой мечущегося снега послышался далекий вой. С каждой минутой он становился все слышнее, мелькнула пара огоньков, за ней другая, третья. Вой смолк. И вдруг бык заревел не своим голосом, и

сразу все быки стали реветь. Кольцов догадался, что волки напали на стадо. Он выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил. В ту же минуту недалеко от Кольцова мелькнула тень и исчезла в степи.

«Неужто Лыску погнали?» — с ужасом подумал Кольцов. И, точно подтверждая его догадку, издалека донеслось жалобное ржание лошади.

Кольцов зарядил пистолет и выстрелил снова. Огоньки исчезли, стало тихо.

— Лыска! Лыска! — закричал Кольцов.

В ответ ему с неистовой силой заревел ветер...

Кольцов спрятал пистолет и вытер рукавицей лоб.

— Ну, отстал от гурта — пеняй на себя! Помирать так помирать... Только мы еще помужествуем! — крикнул он и погрозил кому-то кулаком.

10

Наступил день, но он мало чем отличался от ночи.

Быки легли. Завернувшись в тулуп, Кольцов привалился между ними. Снег сразу намел бугорки, стало теплее, а главное — тише. Хотелось спать, и мысли лениво, как тяжелые жернова, ворочались в голове.

Кольцову вспомнилось, как он ночевал на постоялом дворе возле Славяносербска и дворник рассказывал ему про своего барина.

«Эх, как же я не добился и не расспросил его, может, и Дуня была там, у этого барина?»

И Кольцов решил, что если будет жив, то обязательно или сам съездит, или пошлет Зензинова расспросить дворника.

Наконец сон опутал его по рукам и по ногам, и он было заснул, да быки вдруг заворочались и стали подниматься. Один из них наступил Кольцову на ногу, и он вскрикнул от боли.

Быки поднялись и опять, как и вчера, тревожно мыча, сбились в кучу. Было ясно, что волчья стая крутится где-то около.

«Что же этак стоять-то? — подумал Кольцов. — Только хуже замерзнешь».

Он вытащил из-за пояса длинный пастуший кнут и, громко крича, стал хлопать им. Быки пошли вперед. Они шли по брюхо в снегу, как плугом распахивая огромные сугробы. Кольцову было трудно поспевать за ними. Со вчерашнего дня он ничего не ел и ослаб, нога болела все больше, и сильная хромота мешала итти.

Один раз Кольцов споткнулся, упал и, еле поднявшись, задыхаясь и кашляя, насилу догнал стадо.

Длинная, как степная дорога, потянулась вторая ночь. Быки снова легли, и снова Кольцов пристроился между ними. Опять намело снегу и стало тепло. Кольцов подумал, что это его последняя ночь. Ему надо было встать и двигаться, чтобы не заснуть, да встать не было силы и очень болела нога. И опять в голове заворочались тяжелые жернова. Теперь ему вспомнилось, как он ехал от Станкевича и как все время кругом перезванивали колокола. Он так отлично представил все это, что до его слуха явственно донесся коло-

кольный звон. Кольцов прислушался. В самом деле, совсем недалеко, прерываемый ветром, звонил колокол.

Кольцов стряхнул снег, собрав последние силы, вскочил на ноги и, хлопнув кнутом, закричал:

— Эй-е-е-ей! Живы будем — не помрем! Шевелись, голуби!..

11

Оказалось, что колокол звонил в том самом селе, куда Кольцов гнал быков и где вот уже седьмые сутки его ожидал Зензинов.

Гурт пришел еще вчера, Ларивошка в степи не сразу хватился Кольцова и не искал его. Да в буран и невозможно было найти.

Кольцов заболел и слег. Зензинов нанял вместо себя другого человека, а сам повез больного домой.

Он привез его на самое благовещенье, когда в Воронеже началась веселая и шумная весна. Звенели бесчисленные, сбегавшие с воронежских гор, ручьи, возле домов, заборов и на бугорках уже зеленела травка, красные букашки ползали по пригретой солнцем земле, яростно возились и чирикали воробьи.

Но Кольцов ничего этого не видел и не слышал. Он бредил и то кричал на быков, то грозился убить какого-то барина.

В Воронеже был новый доктор. О нем шла хорошая слава, и его позвали к Кольцову. Этот доктор был Малышев, — тот самый, с которым Кольцов прошлым летом, по дороге от Станкевича, пил чай.

Малышев осмотрел Кольцова и нашел у него тяжелое воспаление легких.

— Ничего, — сказал Малышев. — Этакий богатырь вынесет.

И в самом деле, Кольцову стало лучше. Больше всего его мучил кашель. Грудь разрывалась от боли, она-то и обессиливала Кольцова.

Когда он впервые увидел возле своей постели Малышева и узнал его, тот засмеялся и сказал:

— Вот, сударь, правильно старики говаривали, что гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я понесу святое иго,
Я тьмы стерплю мучений, зол;
Согнусь под тяжкою веригой...
Но небо даст мне свой глагол.

Н. Станкевич

1

Каждый раз наступление весны приносит человеку необычайное чувство обновления и возможного счастья. Вся природа, полная сил и желаний, оживая после долгого сна и принимаясь за большое и радостное творчество, точно подсказывает человеку, что жизнь — это великое счастье, и что счастье это не в барышах и не в бессмысленной наживе, а в нежном свисте весеннего ветра, в теплом паре, подымающемся от влажной земли, в звонком и светлом пении невидимого в голубой вышине жаворонка, в рыхлой черной борозде первого пахаря, в золотистом, упавшем в эту борозду, семени...

Об этом думал Кольцов, трясясь и подпрыгивая в маленькой тележке, пробираясь по трудной лесной дороге в Толшевский монастырь.

В лесу было прохладно и сыро. Глубокие колеи узкой дороги лежали наполненные голубой и зеленой, отражавшей небо и листья, водой. Справа и слева толпились пестрые деревья разнолесья, по которым скользили причудливые пятна солнечного света. Гнедая сытая лошадка, поблескивая запотевшими боками, весело шла по вязкой дороге.

«Весна, счастье...» — думал Кольцов. Он выздоровел и теперь особенно ярко чувствовал весеннюю полноту жизни. И хотя отец послал его в Толши по неприятному, почти безнадежному делу, ему было радостно ехать в прохладном лесу, слушать звонкое пересвистывание синичек и вдыхать аромат уже перепревших и только что народившихся трав.

2

Дело в монастыре было кляузное.

Несколько лет кряду Кольцовы арендовали у приваловских мужиков землю. Все было хорошо до тех пор, пока жадному и хитрому игумну Смарагду не пришла в голову мысль оттягать у приваловцев эти несколько сот десятин земли. Игумен покопался в монастырских архивах и нашел или со-

стряпал сам какую-то хитрую грамоту, по которой выходило, что приваловская земля — не приваловская, а монастырская.

Смарагд съездил в город, похлопотал, дал кому нужно — и землю присудили монастырю. Приваловцы пошумели, искупали сгоряча в ледяной Усманке монастырского эконома и смирились.

Кольцовым же, раз заплатившим за аренду приваловцам, приходилось снова платить уже монастырю. Мужики не хотели, да и не могли вернуть Кольцовым деньги, а монастырь, став хозяином пастбища, знать ничего не желал и требовал с Василия Петровича за аренду.

Кольцов ехал к игумну Смарагду уговорить его не брать денег, пока не кончится срок аренды у мужиков. Однако надежды на это было мало. Кольцов понимал, что едет он напрасно, и все-таки поездка была ему приятна.

3

Толшевский монастырь стоял на самом берегу небольшой, но красивой реки Усманки. Кругом был лес, высились вековые сосны, от которых, как говорили, и пошло название места «Толши».

Привратник спросил у Кольцова, что ему надо, потом кликнул молодого послушника, велел ему убрать лошадь и проводить приезжего к игумну.

Игумнов келейник, пожилой монах с плутоватыми глазками и огромной, величиной с яблоко, шишкой на лысине, провел его в келью и, поклонившись, ушел.

Навстречу Кольцову поднялся высокий, худой, с ястребиным носом и нависшими седыми бровями старик. Это и был Смарагд.

Кольцов подошел под благословение и сказал, кто он и по какому делу.

— А вы что же, — глянул Смарагд пронзительными черными глазами, — у папаши как бы поверенный? Ох, все мирские дела... Нет бы о спасении души подумать, все суета, все искушение...

Кольцов сказал, что дело у них с отцом общее, и стал доказывать Смарагду, что раз уж так получилось с приваловской землей, то монастырь должен взять у крестьян деньги, а никак не взыскивать их с Кольцовых второй раз.

— Искушение, — вздохнул Смарагд. — Всуе мятешися...

«Конечно, всуе, — подумал Кольцов. — С таким Кащеем вряд ли договоришься».

— Ведь с них, милый человек, — сказал Смарагд, — не возьмешь, с мужичков-то.

«Так они тебе и отдали, — усмехнулся про себя Кольцов. — Оттягал землю, да еще и деньги тебе отдавай!»

— Какое же, ваше преподобие, будет решение? Мы вам платить не станем. У нас за два года вперед заплачено.

— Не нас лишить хотите, не иноков — господа бога нашего лишаете...

«Ох. лиса!..» — подумал Кольцов.

— Так какое же решение ваше? — снова спросил он.

Смарагд сидел, перебирая четки и глядя куда-то поверх его головы.

— Придется, видно, вам скотинку согнать с землицы-то...

— Это ваше последнее слово? — поднимаясь, спросил Кольцов.

— Последнее, — ответил Смарагд.

Кольцов откланялся и поехал домой.

4

Услышав, что Смарагд потребовал согнать скотину, Василий Петрович рассердился, назвал игумна чернохвостым разбойником и решил, что дело так бросать нельзя, а нужно итти жаловаться губернатору.

— Сходи, Алеша, сходи, сокол, — просил он сына. — Тебе оно с руки. Ты уж там по-ученому, брат, с его превосходительством, по-книжному, значит ловчей разберешься...

Кольцов не без робости, минуя двух дюжих жандармов, вошел в подъезд губернаторского дома и, поклонившись раззолоченному швейцару, попросил доложить о себе его превосходительству.

Губернатор Бегичев принял Кольцова очень любезно, сказал, что много слышал о нем и сам давно желал познакомиться, что-то такое вскользь упомянул о Ломоносове, о русских самородках и о том, что

...может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

При виде жандармов, ливрейных лакеев, обставленных прекрасной мебелью комнат и, наконец, самого губернатора Кольцов растерялся.

Однако Бегичев так просто и так сердечно с ним говорил, что Кольцов освоился, огляделся и подробно изложил свое дело.

— Знаете, дорогой Алексей Васильевич, — сказал губернатор, — дело ваше очень щекотливо. А щекотливо оно потому, что затеяно церковью. Я не хочу вас огорчать, да только скажу прямо: тут, в Воронеже, мы с вами ничего не решим. Однакож, — добавил он, — ваши претензии законны вполне. И я, со своей стороны, поверьте, от всей души желал бы вам помочь, но как?

Губернатор прошелся по кабинету, постоял возле окна, побарабанил пальцами по стеклу.

— Что я могу сделать, — произнес он, садясь возле Кольцова и кладя ему на колено руку, — это дать вам письмо в Москву к одному влиятельному лицу, которое ведает делами земельного департамента. Мы с ним старинные друзья и однокашники, он не откажет.

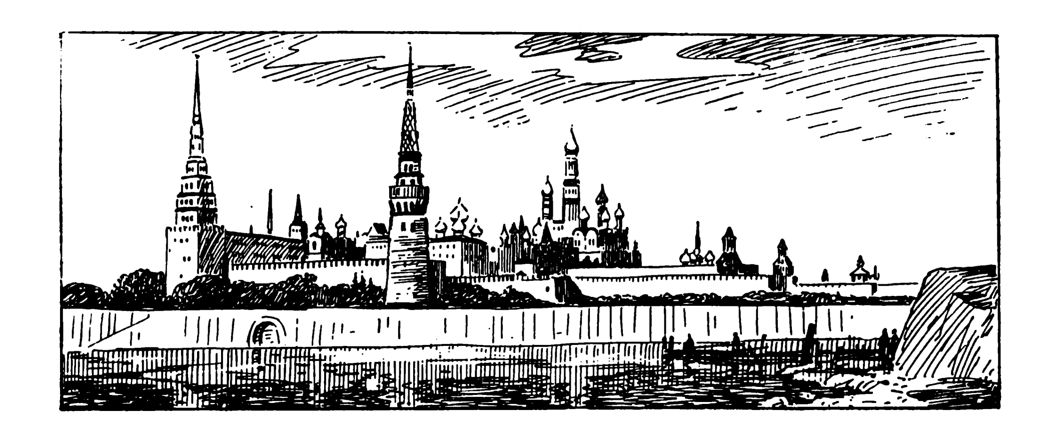
Кольцов стал благодарить.

— Ну что, помилуйте! Рад вам помочь. Да вы в Москве-то бывали?

— Нет-с, — ответил Кольцов.

— Тем более, поглядите на нашу красавицу белокаменную.

Дело оборачивалось неожиданной поездкой в Москву. Кольцов радовался этому: там жил Станкевич, там жили настоящие литераторы, там была



другая, огромная и еще не знакомая Кольцову жизнь, эта жизнь манила его, и он ничего так не желал, как окунуться в нее.

На следующий день Кольцов получил от Бегичева обещанное письмо и стал собираться в Москву.

5

Перед отъездом Кольцов сказал Зензинову насчет дворника, и Зензинов обещал при первом случае или съездить самому в Славяносербск, или послать туда кого-нибудь из погонщиков и все разузнать.

Кольцов ехал шибко. Он давал ямщикам на водку, и те старались и гнали лошадей не хуже фельдъегерских. Деревни, станции и верстовые полосатые столбы мелькали и уносились назад. Справа и слева плыли бесконечные поля, по которым, сопровождаемые грачиными стаями, ходили пахари. Вечерами он слышал протяжные песни. В такие минуты он вспоминал о Дуне и мучил себя мыслями о том, что он плохо ее искал и что, может быть, где-то проехал мимо.

«Лучше бы уж мне помереть тогда в степи...» — думал он, и все ему было немило.

Но утром снова мчалась тройка, веселый ямщик, стоя на облучке, кричал звонким голосом на лошадей: «Э-э-эй, милые!.. Выноси! Грабят!», так чудесно звенел жаворонок и сверкала на крышах роса, что Кольцову было снова радостно, и он, забывая свои печальные минуты, думал о Москве.

Наконец на третьи сутки он проскакал мимо полосатого столба шестой версты.

— Во-о-он она, матушка, — оборачиваясь к нему, весело сказал ямщик.

Кольцов привстал в тележке и увидел впереди освещенное утренним солнцем что-то огромное, синее, пыльное, поблескивающее золотом. Это была Москва.

Чем ближе подъезжали к Москве, тем больше становилось проезжих. Телеги, тарантасы, брички, крестьянские возы с сеном и коровьими тушами — все это двигалось по одной дороге к Москве.

Возле заставы у поднятого полосатого шлагбаума полицейский будочник проверял подорожные документы.

Кольцов протянул ему бумагу, и тот стал шевелить губами, читая ее, потом, не поглядев на Кольцова, махнул рукой, и тележка затряслась по ухабистым мостовым Москвы.

Сначала потянулись избенки вроде воронежских — с покосившимися плетнями, скворечниками и горластыми петухами. «Что же это за Москва!» — подумал Кольцов.

Но вот вдали сверкнули золотые шлемы куполов, вот еще улица, другая — и вдруг, отраженный в реке, встал Кремль. Кольцов ахнул. Ямщик снял шапку и перекрестился.

— На Белевское, что ли, подворье? — обернулся он к Кольцову.

6

На подворье было тесно. Понаехавшие лебедянские шибаи * заставили весь двор телегами и лошадьми, а сами расселись в горнице и чаевничали.

Кольцов поздоровался с шибаями, переоделся в новый синий кафтан, повязал шею пестрым платком и, напившись чаю с московскими калачами, пошел справлять дела. Сегодня же надо было найти недослужившего срок погонщика Сарычева и взыскать с него шесть рублей денег. Сарычева, проживающего неподалеку от подворья, он нашел скоро, но денег с него взыскивать не стал — пожалел: в грязной каморке была нищета, белоголовые дети, мал-мала меньше, копошились в хламе, как кутята; жена бросила стирку, заплакала, а Сарычев униженно кланялся и сулился отдать к покрову. Кольцов махнул рукой, сунул сарычевой жене трехрублевку и, ударившись головой о притолоку низенькой двери, вышел.

Он отправился к Станкевичу и, не зная Москвы, шел медленно, расспрашивая прохожих. Наконец, когда ему показали нужный дом, он лицом к лицу неожиданно столкнулся с самим Станкевичем. Станкевич быстро шел, фалдочки форменного сюртука развевались, из кармана смешно торчал эфес шпаги. За Станкевичем, видимо догоняя его, придерживая картуз и шпагу, бежал длинный, нескладный студент и что-то кричал.

— Батюшка, Алексей Васильич! — изумился Станкевич. — Вот хорошо! Фу, какой! — оборачиваясь назад, замахал он руками на длинного. — Ну куда. ну куда ты, Васютка? Я и один схожу...

— Нет! — воскликнул запыхавшийся Васютка. — Иду и буду защищать тебя! — Он похлопал рукой по шпаге. — И коли нужно, так и кровь пролью!

Станкевич весело расхохотался.

* Перекупщики, барышники.

— Не дурачься, Вася, — сказал он. — Я мигом обернусь. А ты тем временем сварил бы кофе да угостил Алексея Васильича. Ведь это тот мой земляк, чьими песнями мы с тобой зачитывались.

— Кольцов! — воскликнул длинный, раскрывая объятия. — Впрочем, рекомендуюсь: Василий Красов.

Он шаркнул, поклонился и расцеловал Кольцова.

— Поди, поди, Васютка, — я мигом! — сказал Станкевич, оборачиваясь на ходу.

7

— Ах, Алексей Васильич, — говорил Красов, входя с Кольцовым в двери, — и рад я вам, голубчик, да только нет, не могу этак бросить Николашу! Ведь шутка сказать: «сам» вызвал! Уж вы посидите в комнате, а я побегу... Кто, кто, а Красов не позволит хоть бы и самому ректору посягать на Николашу!

И, сдав изумленного Кольцова на руки Ивану, Красов побежал догонять Станкевича.

Станкевич жил в Москве в доме университетского профессора Павлова, который сдавал ему комнату и кормил плохими обедами. Комната, куда ввел Кольцова Иван, была невелика, но очень опрятна. Солнце сверкало на стеклах окон, на корешках расставленных по полкам книг, на чистом, навощенном полу. На стенах не было обычных назойливых украшений, только в узенькой черной раме — отличная акварельная копия Сикстинской мадонны.

— Да расскажи, что ж случилось-то? — спросил Кольцов Ивана.

— А ничего-с, — ухмыльнулся Иван. — Это вам, стало быть, по новости чудно на Василия Ивановича. А он у нас, как бы сказать, этакой... такой... — Иван пошевелил пальцами перед глазами. — Вам чего, кофий аль, может, самоварчик?

— Давай самовар, — сказал Кольцов.

Оставшись один, он стал рассматривать книги. Книги все больше были не русские, много было стихов. «Экая ученость! — покачал головой Кольцов. — Ведь вот и видишь — стихи, а поди-ка прочитай!»

Иван принес самовар, заварил чай.

— Пейте, — сказал он Кольцову, взял со стола трубку и стал набивать ее табаком.

— Ты что же баринов табак куришь? — усмехнулся Кольцов.

— Это пустяк, без значения, — раскуривая трубку, сказал Иван. — У нас барин такой, что тут не то трубку, а все можно... Да вы не теряйтесь, что ж сахару мало кладете? У нас это запросто... без значения! — снова ввернул он, видимо, понравившееся ему словцо. — У нас, почитай, что ни вечер, все народ, все книжки читают.

— Это хорошо, что книжки читают, — сказал Кольцов.

— Да оно, конечно, неплохо, да только непонятно как-то: слушаешь, слушаешь, пока носом не заклюешь, плюнешь да и на лежанку. А что ж кренделька-то?

Иван подвинул Кольцову корзинку с кренделями.

— Ешьте, ничего... У нас пища — пустяк, без значения: доходы позволяют.

— Что ж, неужто так все непонятное и читают? — спросил Кольцов.

— Ну, нет, зачем все... Вон вчерась какой-то новый приходил, ну тот врезал! Так господ костил, так костил! — все заслушались. И все, понимаешь, в лицах, просто — ах! — Иван оглянулся на дверь. — Его в Сибирь было чуть не усватали... Ей-богу! Да вот, жалко, не до конца прочитал. Нонче, сказывали, будет дочитывать. Вы послушайте!

— Да кто ж сочинитель-то? — полюбопытствовал Кольцов.

— А кто ж его знает... Так из себя невидный, мундиришко старенький, поди с толкучего, но расшумелся — страсть!

8

Станкевича вызывал ректор университета и спрашивал, почему он не посещает лекций риторики. Риторику читал профессор Победоносцев. Его лекции были неинтересны, в аудитории сидели одни казеннокоштные студенты и только потому, что им было некуда деться.

Станкевич сказал ректору, что на лекциях Победоносцева скучно, профессор читает им то, что известно из учебников.

— Которые вы штудируете в тайных собраниях при свете зеленых ламп? — иронически спросил ректор.

— Почему же тайных? — вспыхнул Станкевич. — Я не понимаю ваших намеков.

Во все время этого разговора Красов, держа руку на эфесе шпаги, стоял возле двери ректорского кабинета, готовый в любую минуту кинуться на защиту своего друга. Наконец Станкевич вышел, и хотя неприятный разговор и взволновал его и щеки его горели, но Васютка в своей воинственной позе был так забавен, что Станкевич рассмеялся и до самого дома потешался над донкихотской выходкой Красова.

— Вот, любезный Алексей Васильевич, — кончив рассказ о своих похождениях, сказал Станкевич, — вот так мы и живем. Ну, а вы что?

— Моя жизнь, как дорога проселочная, — вздохнул Кольцов, — где пень, где яма, а где и грязи не оберешься. Тут я без вас поглядел книжки. Вот ученость, вот жизнь! И не завистлив, а, прямо сказать, завидки берут.

— А я ведь и не сказал, — спохватился Станкевич. — Тетрадки-то ваши, те, что вы у меня летом в Удеревке оставили, мы отдельной книжкой печатать затеяли.

— Книжкой? — изумился Кольцов. — Да ведь я думаю, Николай Владимирович, тут денег пропасть нужно...

— Да уж это не ваша печаль — будут деньги! — весело сказал Станкевич. — Ну что, Васютка, — обратился он к Красову. — Не буду я нынче дома обедать. Махнем-ка все вместе к Сучку!

Недалеко от университета, на Моховой, против Егорьевской церкви, стоял трактир, содержателем которого был подслеповатый и вечно заспан-

ный мещанин по фамилии Сучков. Вот этот-то дешевый трактир, охотно посещавшийся студентами, и был прозван по фамилии его хозяина «Сучком».

Под чахлыми, пыльными пальмами стояли столики, накрытые скатертями с черными пятнами пролитого портера. Над окном, в клетке, жалобно попискивала канарейка. Половые в длинных белых рубахах и босиком, чтобы не стучать сапогами, рея огромными, как крылья, салфетками, летали по трактиру.

— Макароны и сыр! — заказал Красов подбежавшему половому.

— Позвольте, господа, — вмешался Кольцов, — для радостной встречи бутылочку винца.

— Какого прикажете? — спросил половой.

— Да я не знаю... Николай Владимирович, Василий Иванович, вы лучше моего понимаете...

— Мадеру! — воскликнул Красов. — И будем пить за вашу книгу.

9

Вечером к Станкевичу пришел франтоватый юноша из купцов — Боткин — и тот самый студент в ветхом мундире, о котором Кольцову рассказывал Иван.

Кольцов спросил у Станкевича, кто этот студент.

— Это Белинский, — ответил Станкевич. — Его за драму чуть из университета не выгнали.

— Что ж так? — удивился Кольцов.

— О! — воскликнул Станкевич. — В этой вещи полно пороху! Да вы сейчас сами услышите...

Зажгли свечи, и Белинский стал дочитывать свою драму. На бледном, худощавом лице его мелькали тени от неровно горящих свечей. Плоские прямые волосы, непокорно, по-мальчишески топорщились на темени, а одна прядка все опускалась на лоб, и Белинский то и дело откидывал ее рукой назад.

Кольцов уселся возле двери и разглядывал слушателей. Станкевич, обняв Красова, сидел на диване. Боткин, повалившись в глубокое кресло, диковинной пилочкой обтачивал розовые ногти. Ступая на цыпочках, вошел Иван и облокотился на спинку стула.

Действие драмы становилось все напряженнее. Умер благодетель, и герой стал крепостным человеком тупых и злобных господ. Его возлюбленную насильно отдавали замуж, и он должен был прислуживать за столом на ее свадьбе.

— «О! сколько в таком случае роковых ударов! — читал Белинский. — Сколько смертей в одно и то же время!.. Быть рабом, лишиться предмета, которым дышал, с которым связан узами, самыми крепкими и вместе самыми... и после всего этого еще жить!.. Нет! Нет, тогда все мои способности, все мысли, все намерения сольются в одно слово, которое будет первым и последним, — и это слово есть — смерть!!!»

Белинский швырнул тетрадь и, неловким движением опрокинув стул, вскочил. Это место драмы он, видно, знал на память. Никто не услышал

стука упавшего стула. Сжав кулаки, Белинский кидал проклятия невидимому врагу. Кольцов искоса глянул на слушателей. Станкевич сидел, закрыв лицо руками. Красов теребил ворот вышитой рубахи и глядел на Белинского невидящими глазами. Презрительно-добродушная улыбка на лице Боткина сменилась выражением сосредоточенности и внимания.

«Ага, — подумал Кольцов, — бросил, франт, пилочку-то!»

Внезапно голос Белинского оборвался. Подбородок его задрожал, он отвернулся и закрыл руками лицо.

— Отдохните немного, — ласково сказал Станкевич.

Белинский расстегнул крючки тугого высокого воротника.

— Это после болезни, — тихо сказал он. — Ничего, сейчас пройдет...

10

Чтение длилось за полночь. Кольцов, забыв обо всем, слушал, не отрывая глаз от Белинского. Каким близким казался ему этот человек, так дерзко и беспощадно громивший проклятое рабство! Какой собственной болью отозвалась в сердце Кольцова страшная судьба героя!

Наконец Белинский захлопнул тетрадь и, жадно выпив стакан воды, откинулся на спинку стула.

Для такого тонкого знатока и ценителя поэтического мастерства, как Станкевич, были очевидны литературные погрешности драмы. Длинные, написанные с бесконечными «О!» монологи героя резали ухо и раздражали. «Так в жизни не говорят», — подумал Станкевич. Однако новизна и смелость замысла, смелость, еще неслыханная со времен пушкинской «Вольности», уничтожала словесную неуклюжесть. Люди, живые, измученные рабством люди врывались в тихий мир уютной комнаты и наполняли ее тревогой и ужасом.

— С небес... — прошептал Красов, — с небес... на грязную землю! Страшно!..

— Верно, Вася, страшно, — сказал Станкевич. — Знаете, Белинский, вы написали чертовски смелую вещь!

— Знаю, — насмешливо кивнул Белинский. — Мне об этом еще сам цензор, профессор Цветаев, говорил.

— Да нет, я серьезно, — улыбнулся Станкевич. — В вашей драме пропасть поэзии... Подожди, Боткин! — досадливо отмахнулся Станкевич, увидев, что тонкие губы Боткина складываются в ироническую улыбку — Поэзии не в том смысле, как мы привыкли с тобой понимать. Тут поэзия... — Станкевич прищурился и посмотрел вверх. — Тут поэзия борьбы, битвы! Ну, что ж, она захватывает! Стыдно сказать, друзья, я раньше не думал об этой мерзкой стороне жизни... Спасибо вам, Белинский!

Щеки Белинского покрылись буроватым румянцем. Он заложил руки за спину и быстрыми большими шагами стал ходить по комнате.

— Послушайте, Белинский, — снова принимаясь за ногти, небрежно сказал Боткин. — Все так. Я, пожалуй, согласен... Да не резко ли? Грубо даже, кажется...

Белинский закусил губу и пожал плечами.

Кольцов кашлянул в руку.

— Нет-с, — тихо сказал он, — не грубо... Здесь не в грубости дело... Ах, господа! Как же можно терпеть, чтобы человека, как скотину, продавали! Это уничтожить надо! Я вот ведь только сказать не сумею, но только и насмотреться пришлось мне на дикость эту! А вы говорите — грубо!..

Белинский пристально поглядел на Кольцова. Он и раньше отметил его по необычному платью, по волосам, подстриженным в кружок. Недавно Станкевич посылал в «Литературную газету» чудесные стихи воронежского мещанина, по рукам ходил подписной лист — собирали деньги на издание его книжки. «Да не Кольцов ли это?» — подумал Белинский.

— Я, впрочем, не навязываю своего мнения, — учтиво выслушав, продолжал Боткин. — Однако согласитесь, Белинский, что именно эта резкость уже навлекла на вас немилость университетского начальства...

Белинский криво улыбнулся и уничтожающе глянул на Боткина:

— Так вы, что же, хотите предложить мне, чтобы я в угоду господину ректору отказался от своих мнений? Чтобы я драму свою гвоздичкой вспрыснул? Слов нет, куда приятней написать, как безмятежное утро восходит над волнистыми нивами, как добрые поселяне с улыбкой приветствуют доброго господина... Да вы не смейтесь, господа, у нас так часто пишут! Нет, извините, не дождетесь гвоздички! — крикнул Белинский. — Ах, как это у нас! — Он снова быстро зашагал по ковру. — Смешно сказать: людьми торгуют, истязают, из-под кнута кровь течет, — и с этим мы легко миримся, а назови рабство — рабством, кнут — кнутом, а кровь — кровью, так и резко и грубо! Да что ж, господа, неужто вы не чувствуете всю ложность этакой позиции?

Станкевич распахнул окно. Синие облака дыма закачались и поплыли под потолком.

— Ну и накурили! — сказал Белинский, садясь на подоконник. — А воздух до чего хорош!..

11

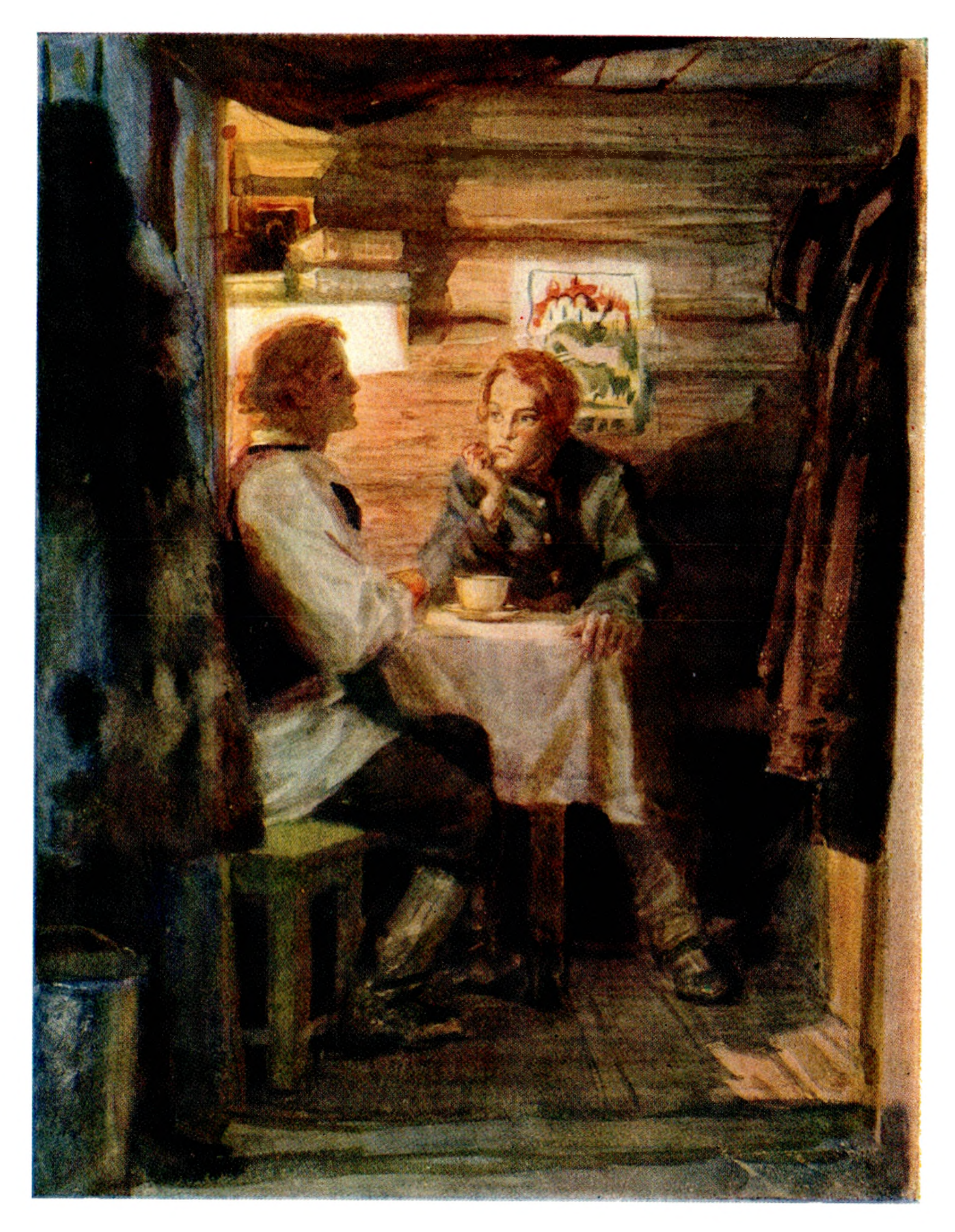
Белинский, Боткин, Красов и Кольцов шли по ночным, пустынным улицам Москвы. Луна стояла высоко. Будочник с алебардой, низко, на самые брови надвинув кивер, дремал возле полосатой будки. Длинные черные тени от домов и деревьев лежали поперек пыльной мостовой. Стиснутая двумя большими каменными домами, стояла приземистая, маленькая, как древняя старушка, церковка. Тусклым золотом поблескивали крутобокие купола, в глубине паперти, над низенькой дверью, красным глазком мигала лампадка.

— Экая русская красота! — сказал Белинский. — Вот Пушкин! Каков его «Борис»!..

Он взбежал на церковные ступеньки, поросшие кудрявой травкой.

Москва пуста; вослед за патриархом
К монастырю пошел и весь народ... —

торжественно, в полный голос, продекламировал Белинский.



К стр. 86

— Спать, господа, — зевая, сказал проснувшийся будочник. — Чего зря народ булгачите?

— Отличная ремарка в пушкинскую трагедию! — захохотал Белинский. — Что ж, господа, в самом деле пора!

На Моховой они распрощались. Спасские куранты проиграли два часа.

— Ах, чорт, — поморщился Белинский, — поздно! Как раз под инспекторский обход попаду. Ну, что ж сделаешь: видно, такая планида! — вздохнул он. — А вы, Кольцов, когда в обратный путь?

— Да вот как с делами управлюсь, — сказал Кольцов. — Дён пять-шесть погощу в белокаменной...

— Отлично! — воскликнул Белинский. — Вы где остановились?

Кольцов сказал.

— Ну, так я к вам в гости приду! — Белинский пожал друзьям руки и скрылся в калитке университетского пансиона.

12

В горнице на подворье было душно, воняло луком.

Кольцов взял кафтан и пошел на сеновал. Возле сеновала, весь облитый лунным светом, в длинной белой рубахе стоял старик работник и, обернувшись к узенькой полоске востока, крестился двумя пальцами.

— Шляются, прости господи, — сердито сказал он, поглядев на Кольцова. — Полуношники!..

Кольцов разгреб сено и лег. Сбоку что-то ворочалось и пищало. Кольцов пощупал рукой. Это были щенята. Почуяв чужого человека, пришла собака, обнюхала Кольцова и улеглась рядом. Щенята завозились и стали чмокать, а один все пищал: это, наверно, был самый слабенький.

Кольцов заложил руки под голову и задумался. Прямо перед ним светлел четырехугольник распахнутой двери. Старик старовер все молился.

Первый день, прожитый в Москве, вихрем пронесся перед глазами Кольцова. Утренний Кремль, подворье, сарычева жена, Станкевич, смешной Красов со шпагой, трактир, немецкие стихи и, наконец, Белинский, с его нездоровым цветом лица и с отсветами свечей на этом лице, древняя церковка... «Москва пуста; вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ...» Все было ново и чудесно, но ярче всего запомнился Белинский. Гневная речь его героя еще и сейчас, в тишине пахнущего сеном сарая, звенела в ушах. Сколько раз задумывался Кольцов над страшной несправедливостью крепостного рабства, сколько раз вместе с Кареевым проклинали они это рабство, — да что в этих проклятиях! Кто б их услышал, кто б прибавил к ним и свое слово? А тут гром на всю Россию! Немудрено, что начальство встревожилось.

«Что ж это за человек? — думал Кольцов. — Я таких не встречал. Ведь он и меня, гляди-ка, заметил, обещался прийти...»

Прохладный предрассветный ветерок дохнул в дверь сеновала и пошевелил волосы. Звезды померкли, только одна, видно очень далекая, еще светила, но робко и призрачно.

Где-то ударили к заутрене. Кольцов поглядел туда, где мерцала звездочка, а ее уже не было. Сжалось сердце, вспомнилась Дуняша. Кольцов вздохнул, повернулся на бок и натянул кафтан на голову.

Вон давеча говорили об его книжке стихов, сулили ему славу. Что ж, может, и придет слава, богатство, может, вырвется он из рук отца и станет жить, как хочется... А зачем? Зачем ему все это, когда нет больше его милой Дунюшки!..

Как будто песня мелькнула в сознании. «Мне не для чего собирать добро, мне не для чего богатеть теперь...»

Заскрипели ворота конюшни. Стукнув копытом о доску, заржала лошадь.

— Ну, оглашенная!.. — выругался сердито старовер. — Захарка! — визгливо закричал он. — Вставай, чорт гладкой! Ишь, зенки-то никак не продерешь!

13

На следующий день Кольцов отправился с письмом Бегичева к «влиятельному лицу». Важный швейцар, с расчесанными длиннейшими бакенбардами, сказал, что его превосходительство еще почивают. Кольцов оставил у швейцара письмо и пошел бродить по Москве.

Было еще рано. Звонили к обедне. Над рекой плавал туман.

Дом Пашкова, создание баженовского гения, изумил Кольцова. Ступенями, колоннами и окнами, увенчиваясь круглой нарядной башней, он легко поднимался в синее небо и чудесно белел там среди голубей и колокольного звона.

Задрав голову, долго глядел Кольцов на цветные пестрые маковки храма Василия Блаженного. Робко вошел он в ограду и поднялся на паперть. Стариной — могильной, таинственной и недружелюбной — пахнуло на него. Она была в глубоких выбоинах следов на каменных ступенях, в узких и темных проходах, в щелях решетчатых окон, в черных образах, в тускло мерцающих свечах и лампадах.

Кольцов не достоял обедню и пошел в Кремль. Тут было тихо, не то что на Красной площади, где кишел народ и бродячие торговцы кричали: «Сбитень! Сбитень!», «Саечек горячих! Саечек!»

Поглядев на Царь-пушку и Царь-колокол, Кольцов медленно побрел к дому его превосходительства.

У подъезда стояли кареты и коляски. Четверо мужиков, сняв шапки, с котомками за плечами, кланялись давешнему швейцару. Швейцар не слушал и гнал их прочь, и мужики то отходили от подъезда, то снова, пошептавшись, возвращались к нему, снимали шапки и кланялись.

Его превосходительство принял Кольцова и сказал, что дело еще из Воронежа не получено и что хотя Дмитрий Никитич (губернатор) и просит его помочь, только он, кажется, ничего сделать не сможет, раз тут замешана церковь.

— Может быть, претензии монастыря неосновательны, — тогда другое дело. А так что ж... Хотя разве вот что...

И он сказал, что, искренне желая угодить Дмитрию Никитичу, сможет отложить решение этого дела, затянув его года на два, в течение которых Кольцовы будут пользоваться приваловской землей, как прежде.

Это, собственно, Кольцову и было нужно. Представив себе, как рассердится жадный Смарагд, он усмехнулся.

14

В покосившиеся ворота подворья вошел Белинский и остановился, не зная, куда итти.

Двор был большой и непроходимо грязный. На плетне сушились горшки и тряпки. В огромных лужах, через которые были проложены хлюпающие доски, валялись длинномордые свиньи, бродили гуси, утки. Телеги громоздились в беспорядке по лужам и под навесами.

На крыше дома стоял безусый, в заплатанной синей рубахе, малый и длинным шестом гонял голубей.

— Послушай, — крикнул Белинский малому, — здесь, что ли, Белевское подворье?

— Здесь, — ответил малый. — А вам кого?

— Да вот тут у вас Кольцов остановился. Как бы его найти?

— Это что с Воронежа? — спросил малый. — Так вы этак все по мосткам прямо в избу идите.

Белинский вошел в небольшую, с низеньким потолком, комнату. Весь передний угол был уставлен иконами и увешан лубочными картинами. На столе шумел самовар. Кольцов чаевничал.

— Воронежцев водохлебами зовут, — вставая и улыбаясь, сказал Кольцов. — И верно: все за чай отдам. Не откажите за компанию...

— Пожалуй, — согласился Белинский. — Ну и топь у вас! Насилу пробрался.

— Вот спасибо, что пришли! — весело сказал Кольцов. — А я все дела справил и на Москву нагляделся, завтра — ко двору...

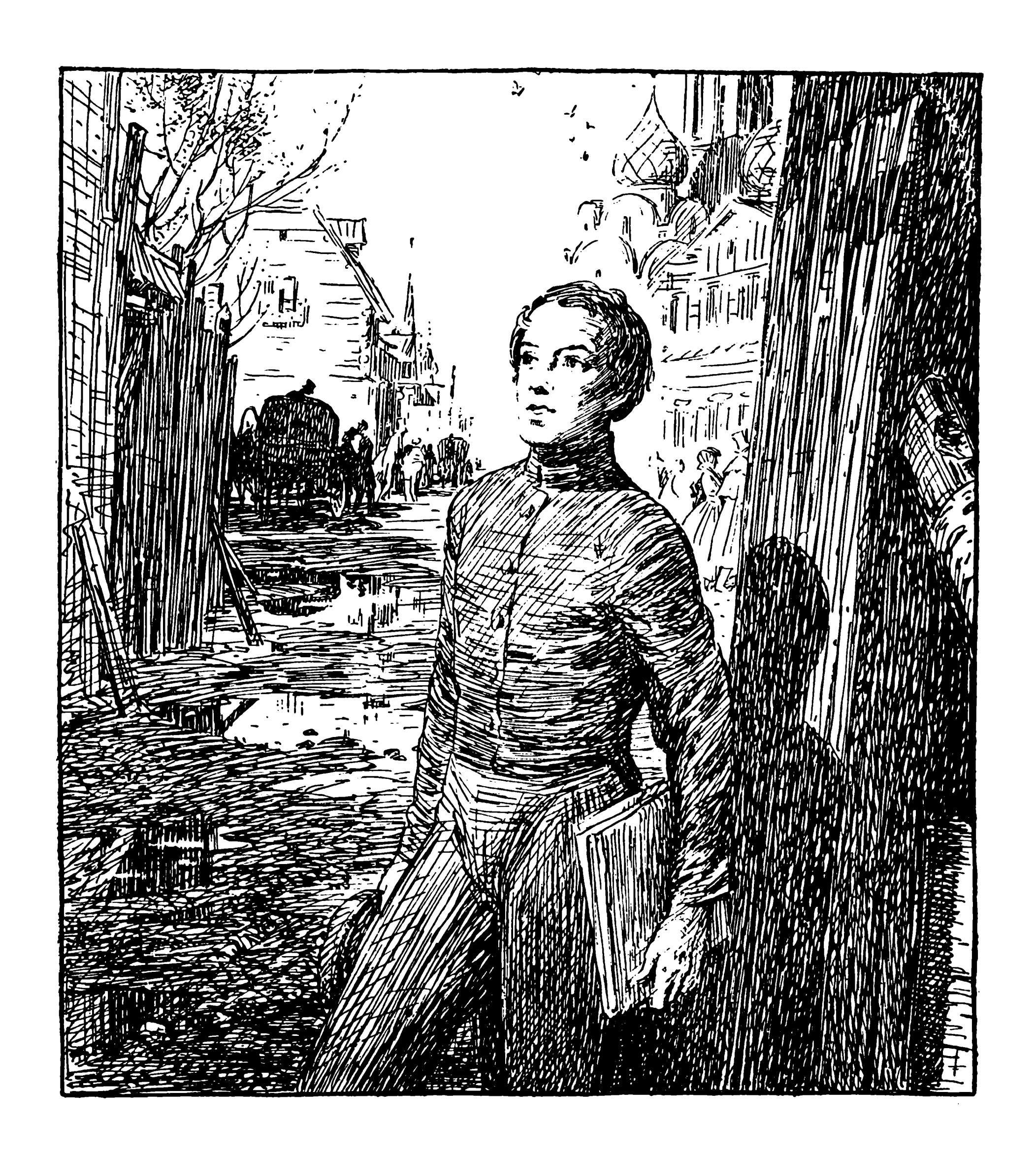
— Я так и думал, — сказал Белинский. — Только мне еще хотелось с вами повидаться.

Кольцов налил стакан чаю и подал Белинскому.

— Не знаю, как и благодарить за все ваше внимание. Не стану врать: и в Воронеже есть хорошие ко мне люди. Да все не то... Я тут у вас душой согрелся. Подумать! — горячо воскликнул Кольцов. — Что я вам, сват, брат? Проезжий человек! А вы в меня веру вдохнули. Я другими глазами на мир поглядел. Тогда после вашего чтения, ей-богу, сна решился! Всю ночь с боку на бок проворочался. Так верно написать!..

— Ну что там написать! — нахмурился Белинский. — Мало толку, коли драму под замок запрятали! И ведь что ж такое, подумаешь! Представил тиранство низких людей... Я все это из жизни взял: наши пензяки знают, с кого я списывал.

— Да оно так, верно, что из жизни... Ведь и я тоже полный кузовок горя в жизни набрал... А вот чтоб написать...



Кольцов встал и прошелся по комнате.

— Ведь что, Виссарион Григорьевич, — сев на табурет рядом с Белинским, сказал Кольцов, — ведь что я знаю? А ничегошеньки! Перепало на мою долю сотни две книжек, одолел, да ведь, чай, из них половина-то без толку, так только что чтение! Все в голове и сейчас темно, как прежде! Вот третьеводни у Николая Владимирыча вы все меж собой разговариваете, а я, ей-богу, половины не понимаю. Да за примером недалеко ходить: гово-

рим «литература», и я сам говорю, а что она — убей, не знаю! Бог, человек, мир божий, — все чувствую, а чтобы знать? Нету и нету — одна путаница!

Белинский пристально поглядел на Кольцова.

— Это, — задумчиво сказал он, — вопросы всей жизни.

— Только ведь их и так и этак можно решить, — продолжал Кольцов, — все равно как дорогу выбрать на распутье. Один подумает: из чего я живу? И от всего откажется, и пить-есть забудет, только чтоб всем хорошо было. А другой, — нет, мол, скажет, жизнь-то нам один раз дается, да и та, моргнуть не успеешь, проскочит. Так уж дай-ка я поживу для себя. И поем сладко и посплю мягко! Вот и выходит, что мир-то у обоих один, а дороги разные.

— Вот тут, — живо сказал Белинский, — и решается вопрос: и что — бог, и что — мир, и что — искусство.

— Да как же? — спросил Кольцов.

— А так! — воскликнул Белинский, принимаясь по своей привычке ходить по комнате. — Так, что который отказался от себя, тот и искусство свое будет создавать не для себя!

— А для кого же? — удивился Кольцов.

— Для народа! — резко сказал Белинский.

15

Вошел малый в синей рубахе. Он принес свечу и поставил ее на стол.

— Еще, что ли, подать самоварчик? — зевая и почесываясь, спросил он.

— Давай! — сказал Кольцов.

Некоторое время Белинский сидел молча. Свеча разгоралась, потрескивая и вздрагивая красноватым язычком пламени. Кольцов, заложив руки за спину, стоял, прислонившись к печке.

— Это, конечно, сказать легко: для народа! — задумчиво продолжал Белинский. — Но если поэт живет народным горем — он и сам мученик. Как это хорошо у Рылеева, помните?

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

За печкой робко потрескивал сверчок. Где-то недалеко стали бить часы. Сонный звонарь, отсчитав десять раз, подумал и ударил одиннадцатый.

— Опять мне от инспектора попадет! — улыбнулся Белинский. — Чует мое сердце: лететь мне из университета. Ну и чорт с ним! Мне он теперь вроде мачехи...

— Да неужто ж вы и впрямь так думаете? — Кольцов изумленно поглядел на Белинского. — Господи! Да меня одно только слово «университет» в священный трепет приводит! Ведь вся наука там; оттуда, я так думаю, взгляд на жизнь несут...

Белинский пожал плечами.

— Оттуда можно верней всего без всякой вины угодить в солдаты, — сказал он с раздражением. — А взгляд на жизнь ко мне не из профессорских лекций пришел, а из одиннадцатого нумера нашего пансиона... Ну, да что толковать об этом! Алексей Васильич! — обернулся Белинский к Кольцову. — Расскажите лучше о себе...

— Что ж рассказывать-то? Самая распустая моя история. Ну, как все, бегал мальчишкой, озорной был, у соседей яблоки воровал! Потом батенька в училище отдал, я там полтора года проучился, кончить не пришлось: приставили к делу. И пошло все одно: степь да степь, да быки, да кожи... И вот едешь иной раз по степи за гуртом-то, а дню, что степи, конца нет. И она звенит, степь-то, и в ушах слова звенят, рифмы кружатся, а все стиха нету! Ох, помучился я тогда!..

Малый принес самовар и поправил свечу. Кольцов стал заваривать и разливать чай.

— Но ведь однажды, — с любопытством глядя на Кольцова, спросил Белинский, — наступил день, когда рифмы вдруг сложились в стихи?

— Это, Виссарион Григорьевич, не день, а ночь была. Помню, ночевали мы в степи возле Урюпинской станицы — у казаков. Ребята мои, гуртоправы, все позаснули, тихо... Слышно, иной раз только конь всхрапнет... А я лежу, звезды считаю. И вдруг, — Кольцов даже приподнялся, — слышу: вот они! Я вскочил, себе не верю. Дай, думаю, вслух скажу...

— И сказали? — живо спросил Белинский.

— Сказал, — засмеялся Кольцов. — И стихи пресмешные, да всё ж первые...

— Какие же это стихи? — спросил Белинский. — Вы помните их?

— Очень помню: про любовь, — застенчиво улыбнулся Кольцов.

Разлучает страсть в предмете
И велит, любя, терпеть.
Горячее любовь станет,
Образ милой сохраня,
Раз, ах, тень ее летает
Евтой милой вкруг меня!

Белинский засмеялся.

— Ну, вот и все мое жизнеописание, — закончил Кольцов. — Дикарь и дикарь, одно слово — степни́ка!

— Ну, а любовь, — сказал Белинский, помолчав. — Любили ли вы?

Кольцов отвернулся и стал глядеть в сторону.

— Больно мне говорить про это, — дрогнувшим голосом, наконец, сказал он. — Да и говорить тут много нечего... Любил я девушку одну... крепостную... Больше жизни любил... Да не привел бог...

— Умерла?.. — тихо спросил Белинский.

— Продали... — чуть слышно ответил Кольцов.

Стояла та прекрасная пора весны, когда грани между долгими ясными днями и короткими теплыми ночами теряются в едином зареве утренних и вечерних зорь.

На подворье была тишина. Шибаи спали под навесом. Иногда там взвизгивали дерущиеся лошади или скрипели ворота, впуская запоздалого постояльца.

Самовар давно остыл, и свеча отекла догорая. За дощатой перегородкой охал во сне дворник.

Белинский собрался уходить, когда уже работники выгнали скотину и стали греметь у колодца ведрами.

Кольцов пошел проводить Белинского. Тихие улочки Зарядья еще не просыпались. На разные голоса кричали горластые московские петухи.

Заря, загоревшаяся узкой ровной полоской, неожиданно померкла. Над Москвой раскинулась синяя туча, и где-то очень близко радостно грянул гром.

— С детства люблю грозу! — сказал Белинский. — Всякий раз волнуюсь и точно предчувствую что-то хорошее.

Он шел без фуражки, подняв голову, расстегнув узкий форменный сюртук. Бледное худощавое лицо его в неясных сумерках рассвета казалось тонким и прозрачным, а темные большие глаза — еще темнее и больше. Ветерок трепал непокорную прядку волос, и Белинский уже не поправлял ее своим обычным нервным движением.

Кольцов любовался им. «Этот человек знает свою дорогу», — подумал он и спросил себя: «А я? И я узна́ю!»

Они вышли на набережную. Кремль смутно виднелся в сумерках ненастного рассвета. Вдруг ослепительная белая молния полоснула по синему небу, и гром резво, точно стараясь обогнать веселую огненную змейку, пробежал над Москвой. Зашумел и зашлепал по реке дождь, по воде пошла серая рябь, круги, темные водяные дорожки, и сладко запахло прибитой пылью.

— Эх, ты! — вздохнул Кольцов. — Сколько не видал гроз, а этакую красоту впервые... Да вы бы картуз надели, — обратился он к Белинскому.

Тот улыбнулся, молча поглядел на Кольцова и взял его за руку. Так подошли они к самой воде. Посреди реки чернела рыбачья лодка. Возле берега, поскрипывая на волне, стоял причаленный плот. Штабели леса громоздились до самого моста. На мокром бревне, закутавшись в рогожку, сидел сторож.

— Пожалуйте, господа, табачку! — попросил он.

— Да мы не курим! — ответил Белинский.

Дождь отшумел, водяные дорожки исчезли, и в гладком зеркале реки опрокинулся Кремль.

— Ах, хорошо! — всей грудью вздохнул Белинский. — Такое русское, прямо не опишешь... И вон лодочка, рыболов... Глядите, глядите, рыбину тащит! Сорвалась! — воскликнул Белинский. — А славно все-таки жить! — обернулся он к Кольцову. — Правда?

— Правда, хорошо! — засмеялся Кольцов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ах! Может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить.

В. Жуковский

1

В Воронеже точно Мамаева орда стала. На дворах, площадях и прямо на улицах сидели и лежали запыленные люди. Телеги с поднятыми кверху оглоблями и привязанными лошадьми и быками стояли рядами возле заборов, дворов и палисадников.

Различные торговцы во множестве раскинули свои лотки и палатки. Крича и зазывая, добрые молодцы хватали за полы прохожих и, громко божась и крестясь, хвалили свой и хаяли соседский товар.

Косяки слепцов, нищих, бандуристов, блаженных, бродячих монахов, странников и бесноватых осаждали паперти монастырей и церквей. Среди всей этой пестрой толпы медленно, с трудом двигались рыдваны, брички, тарантасы, коляски и дрожки. Кучера хрипли от крика, лошади ржали, быки ревели, тонким свистом заливались глиняные ребячьи свистульки, орали потревоженные галки, пропойными хриплыми басами пели слепцы, визжали припадочные, и надо всем этим гамом и ревом в тучах серожелтой пыли плавали и гудели бесконечные звоны церковных колоколов.

Все это происходило потому, что жалкие останки жившего сто с лишним лет тому назад мрачного и сварливого епископа Митрофана Синод решил провозгласить святыми и открыть его нетленные мощи.

Когда серебряную раку, в которой лежало все, что осталось от Митрофана, понесли из той церкви, где он был похоронен, в другую, где отныне надлежало ему пребывать, людской поток переполнился и вышел из берегов. Богомольцы полезли на деревья, дома и фонари. Послышались отчаянные крики и звон разбиваемых стекол. Конные жандармы, оттиснутые толпой, беспомощно вертелись у стен домов, а люди шли, крестились, пели молитвы и топтали других, упавших людей, не замечая их и стараясь только лишь не отстать от поблескивающего серебряного ящика и золотых, развевающихся и сверкающих на солнце хоругвей.

Кольцова давно оттеснили от сестер, с которыми он шел вначале. Его новый синий кафтан был разорван, картуз он потерял, стараясь выбраться

из толпы. Он решил пробиться к первой боковой улочке, чтобы выскочить из этого страшного потока ничего не видящих людей. Два дома всего оставалось ему до намеченной цели, и, усердно работая плечами, локтями и кулаками, Кольцов уверенно пробивался к ней, когда его окликнули. Он оглянулся. Какой-то высокий молодой человек в порванном сюртуке и в шляпе, съехавшей на затылок, махал ему рукой.

— Кареев! — радостно крикнул Кольцов, узнав своего приятеля.

2

— Ну что ты, откуда, давно ли? — спрашивал Кольцов Кареева, когда они, наконец-то выбравшись в тихий переулок, уселись на скамеечке у ворот небольшого, густо заросшего сиреневыми кустами домика.

Кареев очень изменился. Он похудел, нежный румянец исчез с его погрубевших и загоревших щек, а возле губ, уже не как прежде, по-ребячьи полуоткрытых, а плотно сжатых, лежали две маленькие морщинки.

— Пострадал за веру! — усмехнулся он, показывая на разорванный возле плеча сюртук. — Эк их, черти, наперли, не чаял и живым выбраться.

— Да почему же ты в штатском? — удивился Кольцов.

— Сказался больным, — ответил Кареев. — Нынче наш полк на параде. Ну их! — с досадой дернул он плечом. — И так, брат, надоело, сказать не могу!.. Да и противно очень.

— Ты что ж, — спросил Кольцов, — неужто все с поляками воевал?

— Какая война? Никакой войны и не было. Была грандиозная экзекуция. Кабы ты знал, — сморщившись, как от боли, добавил он, — какие мы воинские подвиги совершали, так ты и сидеть бы со мной рядом погнушался... Помнишь, я, уезжая, говорил, что хотел бы смерти на этой войне? Вот, голубчик, ходил искал ее, подставлял лоб — и хоть бы царапина!

— Да ты убиваешься напрасно, — сказал Кольцов. — Пойдем побродим, ты и расскажешь все по порядку.

3

Уже темнело, но над городом попрежнему кричали галки и плыл колокольный перезвон.

Гуляя, друзья дошли до кольцовского дома, и Кольцов позвал Кареева посидеть в саду.

Они забрались в дальний конец сада. Кареев устало повалился на траву и, заложив руки под голову, молча глядел на облака.

Кольцов, боясь неосторожным словом потревожить друга, молчал.

— За одно спасибо, — сказал Кареев: — за науку.

— Какую науку?

— Помнишь, мы с тобой давно как-то шли, еще бандуриста слушали, ты спросил: «Что же делать-то?» А я сказал: «Не знаю». Помнишь?

— Помню, — кивнул Кольцов.

— Ну, так вот, — приподнимаясь на локте, как-то торжественно сказал Кареев. — Теперь я знаю!

Кольцов поглядел на Кареева. «Что ж ты знаешь?» — вертелось у него на языке. «А, верно, что-то важное, — подумал он, — оттого-то в тебе и перемена такая!»

— Теперь я знаю, — медленно повторил Кареев, — что мало прекрасных разговоров в кашкинском «кабинете»... Да и совсем не нужны они, эти разговоры. Вздохи, шопот, тетрадки запретные под замком... Пойми!—крикнул Кареев. — Пойми, Алеша, какая все это чепуха и мерзость! Декламация! Все чистенько, вымыто, приглажено... Там под палками умирают люди, там черные виселицы, а мы... честные люди... Эх, стыдно! Стыдно!..

— Саша! — робко сказал Кольцов. — Так что же мы должны-то?

— Действовать! — ответил Кареев.

4

Этим летом Кольцов больше жил в Воронеже. За выпасами поблизости досматривал сам старик. Зензинов с весны уехал на линию.

На лесном дворе затеяли строить новый дом. Старшие девушки — Анюта и Саша — заневестились. Небогатый, но смирный и дельный мещанин Золотарев заслал к Анюте сваху. Старики Кольцовы согласились, и свадьбу решили сыграть на осеннюю казанскую.

Новый дом на лесном дворе шел за Анютою в приданое. Вот на постройке этого дома Кольцов и проводил почти все время и даже жил там у приказчиков в маленьком, полутемном чуланчике.

Жизнь на лесном дворе нравилась Кольцову. Тут было чисто, пахло свежими опилками и смолой, с утренней зари жужжали пилы, стучали топоры. Улица заросла травой и лопухами. Глубокая, со стоячей, зацветшей водой канава тянулась вдоль пустынной улицы. Как-то раз в этой гнилой канаве нашли труп избитой и порезанной женщины. Анюта дерзко сказала отцу, что он как хочет, только она не станет жить на вонючей канаве. «Чего?!.» — исподлобья глянул старик. Анюта заплакала. Ей стало завидно, что вот покойница Маша была женой богача Башкирцева, а тут приходится итти за какого-то Золотарева, который хотя и хорош собой и любит ее, да по бедности смотрит из батенькиных рук.

Все это были глупости, выдумки, как говорил Василий Петрович. Дом достраивался, на веревках выбивались и проветривались идущие в приданое лисьи салопы и ротонды, — Кольцовы готовились к свадьбе.

В конце августа появился Зензинов. Он пришел на лесной двор, черный от загара, пыльный и слегка подвыпивший. Алексей в это время с аршином в руках мерял скаты крыши для расчета с кровельщиками и малярами.

— Васильич, хватит считать, слазь — дело есть! — крикнул ему Зензинов.

У Кольцова сердце похолодело, и аршин, вывалившись из рук, загремел по железу. Быстро, чуть не сорвавшись с лестницы, он слез с крыши, молча за руку поздоровался с Зензиновым и увел его в свой чуланчик.

— Ну что? Ну?! Ну?! — отрывисто говорил Кольцов, схватив Зензинова за отвороты кафтана. — Был?! Узнал?! Что?! Сказывай!..

— Постой, пусти, всю душу вытрясешь! — Зензинов оглянулся на дверь и, пригнувшись к Кольцову, сказал: — Ну, слухай! Дворник этот, Кирилл-то, все знает!.. Он, стало быть, и Дуняшку-то сам с нашего двора увез...

5

Степь, степь, степь... Трое суток переливалась она перед глазами то рыжими, обгорелыми буграми, то мутно-серебряными волнами ковыля, то сизой гарью далекого пожара.

Ветер свистел. Голенастые дрофы, не боясь всадника, равнодушно глядели на него; шарахнувшись с дороги и прячась в бурьян, злобно брехала вслед ему рыжая, с белыми подпалинами лиса.

Облака шли и не шли. Время, казалось, остановилось. В ушах не умолкал шум, и сердце стучало, как молотки в кузнице.

На четвертые сутки Кольцов спросил у встречного казака, далеко ль до бехтеевских выселок? Казак остановил быков, поглядел на Кольцова и сказал, что нет, недалече, вот за тем курганом.

— За могилой, — махнул рукой казак.

Лошадь взяла было рысью, да Кольцов придержал ее и поехал шагом. Надо было обдумать, что делать.

Три дня назад, никому, кроме Зензинова, не сказавшись, он выехал из дому и все это время скакал, давая лошади самые маленькие передышки, чтобы только накормить или напоить ее. Сам он забыл и про еду и про сон. Он помнил одно только: что где-то очень далеко, на затерявшемся в горячей, окаянной степи хуторке — на бехтеевских выселках — умирала его Дуняша.

Что же надо было ему делать и как ее выручить, Кольцов до сих пор не думал.

Он поднялся на курган и огляделся. Перед ним лежала все та же степь. Далеко, почти у самого горизонта, белели три мазанки, да одинокий ветряк лениво махал крыльями. Солнце зашло за облачко, и по рыжей траве резво бежала темная облачная тень.

Кольцов спрыгнул с седла, стал смотреть на хутор. Там никого не было видно, только что-то все сверкало, как молния. «Наверно, мужик косу точит», — подумал Кольцов.

Он лег на теплую землю, закрыл глаза и вспомнил все, что рассказал ему Зензинов.

6

Кирилл принял Зензинова неласково и не сразу разговорился.

— Чумовой какой-то, — рассказывал Кольцову Зензинов. — Дикой человек... Там при мне баба его к нему приходила, так она полдни в ногах у него валялась, и выла-то, и что ни что, а он, чертяка, сидит, как идол, — про-

сти господи! — молчит, только все за свою эту сережку дерг! дерг! Потом вскочил, схватил неоседланную кобылу и айда в степь. Чумовой, право!

Кольцов угостил Зензинова водкой и выпил сам граненый пузатый стаканчик, а больше отказался.

— Чудак! — усмехнулся Зензинов. — Нет, ты, Васильич, не обижайся, ты чудной человек, я тебя люблю! Да, — продолжал он, — махнул это он в степь — и нету его. А баба лежит возле порога, южит. Я спрашиваю: «Ты чего?» — «Он со мной жить не хочет». — «Значит, — говорю, — заслужила так». Ну, она, конечно, еще малость полежала и ушла. Вот уж солнцу садиться, гляжу — едет мой Кирюха, кобыла боками ворочает: загнал, шутоломный. Бросил ее, пошел в избу. Я — за ним. Вот он распечатал штоф, говорит: «Пей со мной!» А меня, ты, брат, сам знаешь, по этому делу два раза не приглашать. И пошло у нас с ним!.. — захохотал Зензинов, налил себе еще стаканчик, опрокинул и, покрутив головой, продолжал: — Дальше — больше. Разговорились мы, он мне всю историю со своей бабой рассказал. Вот я и говорю: чего, мол, ты ее казнишь, чем она виновата? Барин ведь, куды ж денешься? «Ну, это, — говорит, — ты брось! Барин! Вот, — говорит, — у нас был случай. Привезли один раз мы ему аж с Воронежа,— купил он себе там девку, так она и погладиться не далась. Только он было к ней, а она — хоп его ножичком! Право! Вот те и барин!»

Зензинов потянулся было опять налить, да глянул на Кольцова — и испугался. Кольцов, стиснув зубы, сидел бледный, с закрытыми глазами. Поперек лба чернела толстая жила, щека под глазом дергалась.

— Эх, дурашка! — наливая стаканчик и поднося его Кольцову, ласково сказал Зензинов. — Выпей, легче будет. Право, выпей...

7

Это была, точно, Дуня.

Она пырнула пьяного Бехтеева его же охотничьим ножом, убежала и кинулась в пруд, да ее вытащили, связали и привели к барину. Бехтеев был труслив, такого отпора он не встречал еще никогда, и, хоть ранка была пустячная, царапина просто, он лежал на диване, обложенный подушками и примочками, и охал. Поглядел на связанную Дуняшу и отвернулся.

— Приведите Тютеньку! — приказал Бехтеев.

Пришел Тютенька. Это был дурачок лет сорока, оборванный, грязный, с идиотской улыбкой на безбородом бабьем лице. От него дурно пахло, потому что его заставляли чистить отхожие места. Тютенька хвастал, что он природный донской казак, очень гордился этим и носил старые, затрепанные штаны с полинявшими лампасами. Он очень неясно и неверно говорил, гугнявил, коверкал слова и все мужского рода называл в женском, а женского — в мужском.

Над ним смеялись и дразнили его Казаком и Тютенькой.

— Тютенька! — слабым голосом простонал Бехтеев. — Хочешь жениться?

— Почему не так? — глупо улыбаясь, сказал Тютенька.

— Ну, вот же тебе невеста! — указал Бехтеев на Дуняшу.

— Эх ты, баба какой! — обрадовался Тютенька. — Спасибо, отец, хороший баба, я отслужу!

Бехтеев приказал сыграть свадьбу завтра же, а до тех пор беречь невесту и глядеть за ней во все глаза.

— А то она бешеная, — сказал он и махнул рукой, показывая этим, что с делом все кончено, он устал и желает отдохнуть.



8

Вот так Дуняша и была выдана замуж за казака. Все это: продажа, барин, замужество, дурачок Тютенька, — все это так потрясло ее, что она как бы перестала понимать и осознавать происходящее вокруг нее. Она замолчала и стала смирной. Покорно пошла к венцу, покорно села с мужем в телегу и поехала на выселки.

Чтобы ничто не напоминало о Дуне, Бехтеев решил отослать и Пелагею, только в другую, дальнюю, деревню, под Ростов.

Когда перед отъездом Пелагея пришла прощаться, Дуня, не узнавая матери, так поглядела на нее, что Пелагея все поняла и заплакала.

Бехтеевские выселки были местом, куда ссылались провинившиеся люди. Среди голой солончаковой степи стояли три убогие избенки, колодца не было, за водой ездили в балочку за пять верст, и летом негде было укрыться от страшного зноя, а зимой, занося избы до самых крыш, дико завывали бураны, бродили отощавшие и злые стаи степных рыжеватых волков.

Сначала Тютенька, по дурости, не сообразил, почему его определили на выселки. В усадьбе хотя все сторонились его вонючего казакина, да там было весело и была еда, а на выселках жилось трудно. Тютеньке дали землю, и он должен был засевать и убирать ее. Он не привык к тяжелой работе и все делал не так. Управитель приехал, поглядел на Тютенькино хозяйство и велел ему собираться с ним в усадьбу. Тютенька обрадовался, думая, что его

возьмут с выселок. Оказалось, что управитель привез его для того, чтобы высечь, и его действительно высекли и прогнали опять назад.

Тютенька обозлился, поняв, что причина его несчастья — Дуня, и стал пить и поколачивать ее. Дуня начала кашлять, хиреть и, наконец, слегла.

Когда ее разыскал Зензинов, она с полгода лежала и ждала смерти.

Бехтеева уже не было. Говорили, что он упал на охоте и разбился до смерти. Его наследник получил имение, уехал в Питер, бросив все дела на управителя, а управителю было все равно, и Тютеньку никто не трогал. Летом он ходил по степи и ловил перепелов, а зимой, бросив Дуню на выселках, околачивался возле усадьбы.

Соседи жалели Дуню, топили ей печь и носили поесть. Она все молчала и улыбалась, не узнавая никого; иногда шептала бессвязные слова и даже пыталась напевать песню, да, видно, слова были забыты, а голос пропал.

Когда Дуня увидела Зензинова, острая молния памяти озарила ее рассудок. Она ахнула, хотела что-то сказать, но не смогла: рыдания вырвались, она скорчилась от плача. И все время, пока у нее сидел Зензинов, она молчала, плакала и гладила тонкой, костлявой рукой его лицо, кафтан, калмыцкую тяжелую плеть, которую он носил в разъездах за поясом.

— Эх, Васильич! — говорил Зензинов Кольцову. — Как вспомню, — альни мороз по коже! Так довести человека!.. Господи милостивый! Ну, хоть он тебе, конечно, родитель, а, ей-ей, рука не дрогнула б, задушил бы, как собаку!

9

Кольцов подъехал к выселкам и огляделся. За одной хатой, резко шаркая косой, мужик косил бурьян. Увидев Кольцова, мужик бросил косить и стал глядеть на него.

— Который тут казачий двор? — спросил Кольцов.

— Эвось! — махнул мужик рукой на дальнюю, совсем почти развалившуюся, без крыши, хатенку.

— А ты вот что, — сказал он, когда Кольцов тронул лошадь. — Ты туда не езди. Там и нету-то никого.

— Как нету?.. — обернулся Кольцов.

— Да Тютенька-то, — сказал мужик, — почитай, дён десять как в степь ушел. Как бабу схоронил, так прямо и подался...

— Как — похоронил?.. Как же это?.. Умерла... — прошептал Кольцов. — Дунюшка... Да как же?..

Мужик, видно, рад был поговорить с приезжим. Он подошел к Кольцову, достал кисет, набил черную трубку и стал высекать огонь.

— Похоронили, — весело сказал он. — Ну, да ведь оно и к лучшему. Что ж... так только мучилась, сердешная... А Тютеньку ежели тебе, так его теперь не скоро найдешь. Раз он в степь подался, то уж это, знаешь!

— Где ж похоронили? — не слушая его, спросил Кольцов.

— Эвось, вон за стожком-то, на взлобочке, — указал мужик. — Да ты им родня, что ли?

Кольцов не ответил и пошел к стогу. Привыкшая к хозяину лошадь поплелась следом.

— Чисто собака! — глядя на нее, удивился мужик и, поплевав на руки, снова взялся за косу.

На взлобочке за стогом желтел свежий глиняный бугорок, на котором стоял грубый, сколоченный из двух старых тесинок, крест. Ни травинки, ни деревца не было здесь, — один только голенастый чернобыльник гнулся под ветром. Тихо было кругом. Высоко-высоко, невидимый глазом, стрекотал коршун, да слышалось шарканье косы: это мужик за избой косил бурьян.

Кольцов опустился на колени.

— Дунюшка!.. — Он приник головой к глиняному бугорку и, вздрагивая всем телом, зарыдал.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

СОВРЕМЕННИКИ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночь темна, снег валит,
Ветер по полю шумит;
Приунылая беседа
В даль пустынную глядит.

Н. Станкевич

1

Юность Кольцова кончилась со смертью Дуняши, — за рыжим могильным бугорком на взлобочке за хутором начиналась зрелость.

Юность все прощала и даже в плохом ухитрялась находить что-то хорошее. Зрелость стала сосредоточенной и подозрительной. Во многих примелькавшихся событиях и людях она разглядела то плохое, что раньше или не замечала, или даже почитала за хорошее.

Прежде Кольцов думал, что отец, продавая Дуняшу, просто хотел повернуть по-своему, то-есть женить его на купчихе. Это, конечно, было дурно, но здесь надо было принять в расчет отцовское желание сделать его богачом не хуже Башкирцева.

Теперь Кольцову стало ясно, что, продавая Дуняшу, отец совершал убийство.

Прежде Кольцов считал, что Кашкин есть носитель всего возвышенного и свободолюбивого и запертая в бюро рылеевская тетрадь являлась именно символом этого высокого свободолюбия. Теперь Кольцов вспомнил, что, однакоже, этот «возвышенный» Кашкин испугался и не дал Карееву списать стихи. И Кашкин в глазах Кольцова сделался трусом и велеречивой ханжой.

Прежде сестры, Анюта и Саша, в глазах Кольцова были умницы и красавицы. Теперь, после их замужества, он ясно увидел, что они глупы, сварливы, жадны и ради денег готовы простить любую подлость.

И, наконец, если прежде сочиняемые им стихи в большей части казались ему звучными и выразительными и разве только Сребрянский бывало беспощадно показывал ему слабые места, то теперь многое из написанного оказалось пустым, нестоящим и было или решительно поправлено, или зачеркнуто вовсе.

Станкевич написал Кольцову, какие стихи отобраны для сборника. Кольцов решил, что некоторые старые стихи надо выкинуть, а кое-какие из новых добавить. Стихотворение «Ах, кто ты, дева-красота» представилось ему даже смешным, тогда как прежде он втайне им восхищался.

Станкевич отправил письмо из Удеревки, он сообщал, что проживет там до января, и Кольцову захотелось повидаться с Николаем Владимировичем, а кстати, и передать ему кое-что из нового.

2

Окончив университетский курс, Станкевич поехал в Петербург, где и пробыл полтора месяца, гуляя белыми ночами по набережным и упиваясь театрами и долгими разговорами со своим другом Неверовым, разговорами поучительными, но вполне, впрочем, благонамеренными.

Неверов был магистр, носил синие очки и всегда вычищенное, выутюженное и если не новое, то аккуратно заштукованное платье. Он служил в министерстве просвещения и был умерен во всем: в еде, питье и во взглядах.

Окончив курс, Станкевич со всей присущей ему пылкостью стал мечтать о будущей деятельности. Он был поэт, журналист, философ и во всем этом (что редко бывает при таком многообразии увлечений) не дилетант, а умный и тонкий знаток и ценитель.

Неверов вылил ушат холодной воды на голову пылкого друга. Он любил Станкевича, но, несмотря на радость встречи и свою любовь, уклонился от восторженных объятий друга и прижал его к груди ровно настолько, чтобы не помять лацканы нового министерского вицмундира.

Станкевич приехал в Петербург впервые и всем восхищался. Он увидел белую ночь и был в восторге, а Неверов сказал, что этот рассеянный свет вредно влияет на мозговую деятельность.

Станкевича поразила красота и величина каменных набережных, а Неверов заметил, что при постоянном хождении по камню быстро изнашиваются сапоги и что гораздо разумнее и полезнее торцовые мостовые.

В итальянской опере Станкевич, захлебываясь от восхищения, хлопал и кричал: «Браво!», — а Неверов своим негромким голосом сказал, что Паста́ иногда в своем выражении чувств бывает неприлична.

Когда же разговор зашел о будущности и Станкевич вдохновенно, но сбивчиво набросал Неверову свои необъятные планы, тот тихо, почти неслышно засмеялся и сказал:

— Эх, Николя́, какой ты еще ребенок! Перед тобой расстилается необозримое поле жизни. Тебе надобно в нем приобрести оседлость и, так сказать, приписаться к почве. Тебе, любезный Николя́, следует ограничить круг своих запросов и избрать почтенную деятельность, службу.

— Но как же? — возразил Станкевич. — Мы еще в университете...

— Университет! — улыбнулся Неверов. — Это уже прошло. Там были уместны и фантазии и философские странствования. Деятельность, милый друг, — поднимая кверху палец, заключил Неверов, — разумная и полезная деятельность!

Станкевич сидел и слушал друга. В Неверове все было почтенно: синий с золотыми пуговицами фрак, синие очки, синий, гладко выбритый подбородок.

— Вон ты давеча говорил мне, что ты в своей Удеревке по целым дням пропадаешь на охоте... А разумно ли это? Не полезнее ли было бы это время посвятить чтению и наукам?

Станкевич вспомнил свое охотничье бродяжничество, рыбалки, блуждание в челночке по заливам и протокам Тихой Сосны и ужаснулся: времени было потрачено пропасть!

И он уехал из Петербурга домой, мысленно поклявшись себе, что он бросит охоту, станет все читать и заниматься и, словом, будет приготовлять себя к полезной и почтенной деятельности. Золотые пуговицы вицмундира Неверова мелькали перед ним путеводными звездами, и род деятельности казался ему ясен: это была служба по министерству просвещения.

3

В деревне он не стал жить в большом доме, где от гостей всегда было шумно. Его устроили во флигеле, и те две комнатки, которые ему были определены, он завалил книгами и журналами.

Флигель был недавно выстроен, стены еще не успели оштукатурить, а только побелили, и это имело свою прелесть и придавало дому вид какой-то милой простоты.

В одной комнате стоял стол, шкаф и висело зеркало. В другой — старенькое фортепиано, диван, над ним — ружье и отцовский портрет, за раму которого был засунут пучок засушенных цветов.

Станкевич решил заниматься историей и окружил себя книгами по истории. Он начал с изучения Геродота, однако Геродот подвигался медленно, не было исторических карт, и Станкевич дожидался присылки их из Москвы. Кроме того, стояла прекрасная осень, отличная охота по чернотропу, и хоть он и обещался Неверову отказаться от охотничьих забав, осенний лес манил

его, и он целыми днями со своей любимицей гончей Дианкой бродил по тронутым октябрьским морозцем полям и перелескам.

Но вот кончилась осень, выпал снег и завыли декабрьские вьюги. Из Москвы прислали карты, и первый том Геродота был закончен. Жизнь установилась тихая и скучная. В тишине и скуке вспомнились наставления петербургского друга, снова среди вьюжной мглы блеснули золотые пуговицы вицмундира министерства просвещения, и Станкевич подал прошение об определении его в почетные смотрители Острогожского уездного училища.

4

К вечеру метель усилилась. Ветер свистел в трубе и гремел печными вьюшками. Иногда жалобно звенели оконные стекла, и тогда казалось, что этак еще немного — и дом не выдержит и рухнет.

Станкевич зажег свечу. Желтоватый огонек, вздрагивая и колеблясь, осветил комнату. Спавшая на диване собака открыла глаза, потянулась, подрагивая всеми лапами, и сладко, во всю пасть, зевнула.

— Что, Дианочка? — обернулся к ней Станкевич. — О чем это вы? Что за меланхолия такая?

Собака, не вставая с места, застучала хвостом.

Мягко ступая подшитыми валенками, Станкевич подошел к дивану.

— Плохо, Диана, — забираясь с ногами на диван, сказал он. — Надоел Геродот хуже горькой редьки!

Собака забеспокоилась, положила морду на колени хозяину и поглядела на него умными карими глазами.

— Это, брат, тебе не на охоту ходить! — засмеялся Станкевич.

При слове «охота», которое она отлично понимала, собака спрыгнула с дивана и, оглядываясь, побежала к двери. Возле двери она вдруг насторожилась. За окном послышались голоса, на крыльце, топая ногами, кто-то обивал снег.

Собака тихонько заворчала и, точно спрашивая: лаять или нет? — поглядела на хозяина.

— Куш! — сказал Станкевич, взял свечу и пошел отпирать дверь.

5

Кольцов был весь в снегу.

— Пожалуйте веничек! — сказал он. — На мне снегу бугор! Заплутался! Спасибо, у вас на заводе в колокол ударили, а то — хоть кричи...

Станкевич, накинув полушубок, побежал в дом, велел скорей ставить самовар, принес бутылку рому.

Пока он хлопотал, Кольцов отряхнул с тулупа снег, разделся и, прислонившись спиной к печке, отогревался.

— Я велел подать ужин сюда, хорошо? — сказал Станкевич.

— Наделал я вам хлопот! — сокрушенно покачал головой Кольцов. — Добрый человек своим делом занимался, а я — вот он, здорово живешь, как снег на голову...

— Верно, как снег! — весело засмеялся Станкевич. — Ну, и крутит!.. — воскликнул он. — Насилу через двор пробежал. Как вы добрались? Ведь замерзнуть можно...

— Дело привычное, — усмехнулся Кольцов. — Всего хватало: и в степи замерзал, и в огне горел, и в воде тонул, а все ничего не берет... Я слыхал, вы учение кончили, — Кольцов кивнул на раскрытую книгу, — а вон все учитесь.

— Да вот теперь хочу других учить! — шутливо сказал Станкевич. — Кончил курс, не все летать в облаках мечтаний, надо же какую-то дорогу выбирать.

— Лучше этой дороги не придумаешь! — с восторгом глядя на Станкевича, воскликнул Кольцов.

— Да, но трудно мне будет: я ведь знаю, как в уездном училище учат!

— Все больше розгой да линейкой, — заметил Кольцов.

— Вот-вот! А я хочу вывести это из употребления! Да и учебники, — все больше оживляясь, заговорил Станкевич, — и учебники очень плохи.

Он несколько раз прошелся по комнате и остановился возле Кольцова. Щеки его порозовели. Под сюртуком у него была надета красная шерстяная фуфайка. Разговаривая, он то и дело оттягивал ворот фуфайки и прихватывал его зубами.

— Учебники надо писать новые, — сказал он, глядя в сторону, — вот что! Да учить надо по-новому... Но как представишь себе этих острогожских чиновников — страх берет! Не уживусь!

Кольцов вспомнил, как у них в уездном училище инспектора прозвали Фонарем. Он был прямой, важный, лысый и очень больно дрался деревянной линейкой.

— Это верно: трудно вам будет, — сказал Кольцов. — Там народ холодный.

— Глупостей наделаю, — мрачно сказал Станкевич. — Меня иногда чорт толкает. Я, когда маленький был, одному купцу на лысину плюнул.

— Да зачем же? — расхохотался Кольцов.

— А так: противным показался, я и плюнул.

6

Дианка спала на диване и видела охотничьи сны: она вздрагивала, рычала, перебирала лапами. За окном ухала и ревела метель.

Кольцов прочитал новые стихи. Они потрясли Станкевича. Минуты две сидел он молча, как будто еще прислушиваясь. Кольцов исподлобья поглядывал на него.

— Боже мой! — наконец сказал Станкевич. — Вот искусство!..

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом,
Ты не пой, косарь,
Про широку степь...

— Ну, милый друг, баста! Завтра же отсылаю в Москву. Вчера получил письмо от Белинского — пишет: все договорено, Степанов берется тиснуть в своей типографии. Вот помяните мое слово: книжечка ваша событием станет!

— Что за событие! Мала больно для события-то...

— Да коли вы хотите знать, — вскочил Станкевич, — так напечатать одно только это «Не шуми ты, рожь» — и уже событие! Что ж говорить, не спорю, объемистые выпускаются сборники, да что толку? Треск, искры, бенгальский огонь, — а поэзия, а мысли? Вон Белинский этаких правильно «стиходеями» назвал! Ведь что искусство?



Он подбежал к фортепиано, открыл крышку и, не садясь, отбарабанил «Мой любимый Августин».

— Искусство? — спросил Станкевич. — Нет! А вот...

Он взял стул, сел за фортепиано и задумался.

Вдруг гулкий ветер, ураган звуков обрушился на тихую комнату. Кольцов замер, пораженный. Как зачарованный смотрел он на руки Станкевича. Пальцы с непостижимой быстротой прикасались к клавиатуре. Ветер и бешеный конский бег летели за ними и не могли догнать.

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? —

запел Станкевич. И когда промчался неистовый порыв бури, ответил таинственно:

Ездок запоздалый, с ним сын молодой...

Какая страшная ночь! Мутный месяц мелькает сквозь чащу угрюмых и кривых ветвей... Вон тускло сверкнуло лесное болотце, конь споткнулся о корневище дуба...

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв его, держит и греет старик...

Кольцов почувствовал, как у него холодеет спина. Он никогда не слыхал ничего подобного; он даже не подозревал, что есть на свете такая музыка.

У Станкевича был слабенький голос. Но, как это умеют делать только очень музыкальные люди, голос его не только не заглушался фортепиано, а даже звучал иногда с какой-то необыкновенной силой и вдохновением.

За окном рванул ветер, дом задрожал, жалобно звякнуло стекло. И вдруг все стихло. И только топот коня одинокого всадника еще отдавался вдали.

Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

Станкевич положил руки на колени и опустил голову. Кольцов молча прислушивался: в ушах еще свистел ветер бешеной скачки, неумолимая рука тянулась из лесной чащи.

В наступившей тишине что-то зашипело. Из крошечного домика часов выскочила кукушка и прокуковала два раза.

Станкевич хотел уложить Кольцова на диване, а сам лечь на составленных стульях. Кольцов сказал, что ежели так, то он пойдет и лучше замерзнет в сенях. Он не позволил Станкевичу итти в дом за постелью, а раскинул на составленных стульях тулупчик и, укрывшись полушубком, уснул.

7

Утро было ясное, розовое. Метель утихла, синие и золотые сугробы лежали, как застывшие волны.

Станкевич вышел на крыльцо проводить Кольцова.

— Спасибо! — сказал Кольцов прощаясь. — Вы, Николай Владимирыч, меня еще на один порожек подняли!

Станкевич засмеялся:

— Ну, что там!.. В Москву приезжайте, в оперу сходим.

— Да уж жив не буду, а выберусь! — усаживаясь в сани и подгребая под себя сено, весело сказал Кольцов. — А пока что низко кланяйтесь от меня милому Виссариону Григорьичу да всей белокаменной!

Кольцов приподнял шапку и пустил лошадь. Застоявшаяся на морозе пегая лошадка резво взяла с места и, то и дело переходя вскачь, побежала по визжащему снегу.

Выехав из ворот усадьбы, Кольцов отвернул воротник тулупа и оглянулся назад. На крыльце флигеля стоял Станкевич и махал ему вслед. Полушубок его был распахнут, и красная фуфайка горела, как огонь.

Кольцов помахал шапкой, стегнул лошадь и, откинувшись на грядушку саней, запел во весь голос:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Плясать в улицу пойдет —
Распотешит весь народ:
Песни ль на голос заводит —
Словно зельями обводит.
А. Кольцов

1

Младшая сестра Кольцова, та самая озорная девчонка Анисья, которая когда-то играла с Кареевым в горелки, стала взрослой и красивой девушкой. Ей исполнилось шестнадцать лет. Она научилась грамоте, увлекалась чтением и много читала, но особенно любила петь и пела очень хорошо.

Красота Анисьи была так необычайна, что, раз увидев, уже невозможно было забыть ее русые, заплетенные в длинную косу волосы, темные брови, синие глаза с длинными стрельчатыми ресницами.

Кольцова поражал ее тонкий вкус: она читала и перечитывала Пушкина, а томик стихов Бенедиктова равнодушно перелистала и бросила; плакала над Шекспиром и скучала над салонными романами.

Кольцов часто читал ей свои, только что написанные, стихи, и она или восхищалась счастливыми строчками, или замечала неудачное и даже говорила, как надо было бы сделать лучше.

Однажды Кольцов вместе с нею зашел к Кашкину, который хорошо играл на фортепиано. Самый инструмент и музыка поразили Анисью. Кашкин сыграл одну из торжественных Баховых фуг, и Анисья, слушая ее, заплакала. Тогда Кашкин, желая повеселить ее, очень смешно отстукал «Курицу» Рамо. Анисья с глазами, еще не высохшими от слез, рассмеялась, попросила сыграть еще, а потом села за фортепиано сама и одним пальчиком, но очень уверенно, подобрала мелодию какого-то модного в то время варламовского романса.

— У вас, Анисья Васильевна, способности, вам нужно учиться, — сказал Кашкин.

— Да как же учиться, у нас музыки нет, — разумея под «музыкой» фортепиано, вздохнула Анисья.

— Скажите папеньке, он купит.

Кольцов засмеялся.

— Папенька купит! — делая ударение на слове «купит», насмешливо сказал он.

В тот же день, за обедом, Анисья попробовала заговорить с отцом о покупке фортепиано.

Василий Петрович был в добром духе: он очень выгодно с утра разделался с покупщиками говяжьего сала и даже маленько обманул их при расчете. Он шутил за обедом и поддразнивал Анисью, говоря, что ей уж и замуж пора, да вот, кстати, вчерась Михейка-сторож приходил свататься, и что, пожалуй, Михейке можно будет отдать Анисью.

Анисья звонко смеялась, Кольцов, молча глядя в тарелку, улыбался, и только Прасковья Ивановна испуганно глядела на развеселившегося мужа.

— Батенька, — смело сказала Анисья, — а вы мне сделаете, что я вас попрошу?

— Чего еще? — сразу нахмурился отец.

— Купи́те мне фортепьяны, — покраснев от волнения, выпалила Анисья.

— Фор-топьяны! — удивился старик. — Какие еще там фортопьяны?

Эта просьба озадачила его. Он ожидал, что Анисья попросит, ну, новое платье, ну, колечко, хотя это тоже было неприятно, потому что стоило денег, но чтобы дочь желала иметь тысячное фортепиано, этого он никак не мог подумать и даже растерялся от такой немыслимой дерзости.

— Ай очумела? — сердито сдвинув косматые брови, сказал, наконец, Василий Петрович. — Вот, прости господи, наказанье, нарожал детей! Малый будет песенки сочинять, а девка на фортопьянах подыгрывать, ан, глядь — дела-то и пойдут!.. Брось, выкинь из головы! — строго сказал он Анисье.— Все твои, Алешка, выдумки! — раздраженно обернулся он к сыну и, встав из-за стола и всё хмурясь, помолился и вышел из комнаты.

2

Взаимные отношения Кольцовых — старика и Алексея — были таковы, что их нельзя было признать ни миром, ни враждой. Зензинов правильно сказал однажды, что тут коса на камень нашла. Никому в семействе Кольцовых никогда не пришло бы в голову перечить и возражать старику. Его слово — пусть часто и неразумное — было законом, который никто из домашних не только не преступал, но не смел и думать преступить. И лишь один Алексей, прямо глядя в глаза отцу, говорил, что вот это не так, вот этого не следует делать, а что было бы хорошо вот так и вот эдак. Василий Петрович кричал, топал ногами, случалось, бил посуду и по неделям не разговаривал с сыном. И хоть бывало и признавал правоту Алексея, да все равно делал по-своему.

Однако Кольцов так умно и хорошо вел дела, что Василий Петрович постепенно передал ему их все, связанные с крупной торговлей, а следовательно и с разъездом, оставив себе только шибайские и базарные. В глубине души он признавал, что Алексей умен и рассудителен, что все, что он ни делает, делается отлично, но на писание стихов глядел, как на блажь.

«Дурь, — говорил он, — малому как-никак двадцать пять годов, пора бы и бросить!»

Как-то раз Кольцов собрался ехать в степь верст за сорок — на выпас, где надо было выбрать для убоя два десятка коров. Он вывел из конюшни и оседлал своего коня. После того как волки угнали Лыску, Кольцов облюбовал себе невзрачного, но ходкого, в рыжих пежинах, жеребчика, прозванного за яркую пестроту Франтом.

— Далеко ль едешь? — спросил Василий Петрович.

— Да насчет тех коров... — разбирая поводья, ответил Алексей.

— Дай-кось и я съезжу, — неожиданно сказал старик. — Проветрюсь, а то засиделся...

Кольцов, удивляясь отцовскому желанию, велел работнику запрягать в тележку.

Верст пять ехали молча. На пути был лес. Когда лошадь пошла шагом и тележка запрыгала по пересекавшим дорожную колею корневищам, Василий Петрович спросил Кольцова, правда ли, что в Москве какие-то господа взялись напечатать в книжке его песни.

— Правда! — сказал Кольцов.

— И капитал, значит, затратили? — удивился Василий Петрович. — А что же за люди?

Кольцов сказал.

— Это какой же Боткин, чайная фирма, что ли? И станкевичев сынок? Ну, дела, господи, твоя воля!.. — в раздумье покачал головой старик, и то, что в сыне до сих пор было чудно и непонятно, стало еще непонятней и чуднее.

3

У Кареева было мрачное и угнетенное состояние. Он уже не смеялся так громко и весело, как любил и умел смеяться раньше, глаза его смотрели на людей уже не с прежней доверчивостью и лаской, и, словом, все то юношеское, даже мальчишеское, что было в нем, исчезло и уступило место чему-то новому — серьезному, сдержанному и несколько замкнутому.

То, чем была для Кольцова Дуняшина могилка, для Кареева оказалась польская экзекуция. Юность сменилась зрелостью, жизнь представилась иною. Эта полная страданья и ненависти жизнь была суровой и неприглядной.

После того разговора в кольцовском саду Кареев исчез и не показывался несколько месяцев. Кольцов пошел его искать. Хозяйка квартиры, где стоял Кареев, сказала, что Александр Николаевич взял отпуск и уехал в Одессу.

«И не сказал даже», — огорченно подумал Кольцов, но не обиделся и не осудил Кареева, потому что понимал его душевное состояние.

Кареев был сыном незаметного пехотного офицера. Его мать умерла при родах, и он вырос на руках своей одесской тетушки. Отец погиб в Бородинском сражении, когда Карееву было года три. После смерти отца оказалось, что то небольшое имение, которым он владел, не только не приноси-

ло дохода, но было убыточным, и тетка-опекунша продала его. Кроме этой тетки, у Кареева не было никого. Тетка осталась старой девицей, жила замкнуто и не выносила детского шума. Она не любила племянника; он платил ей тем же. И так они жили, тяготясь друг другом, до тех пор, пока Карееву не исполнилось восемь лет. Тогда тетка отдала его в военную гимназию, и резвый и веселый Саша пошел в скучную и суровую военную муштру.

Так предопределилось его будущее и так сложилось настоящее, в котором, несмотря на его пылкий характер, а может быть и вследствие этого, его больше всего мучило одиночество.

— Кто же по мне будет плакать? — уезжая в Польшу, говорил он с горькой улыбкой Кольцову. — Разве ты вздохнешь...

4

Приехав из Одессы, Кареев стал часто бывать у Кольцова. Та перемена, которая произошла в нем за эти несколько месяцев, не могла скрыться от Кольцова, и он радовался свежему и бодрому виду своего друга.

— Тебя точно подменили в Одессе. Экой ты молодец стал!

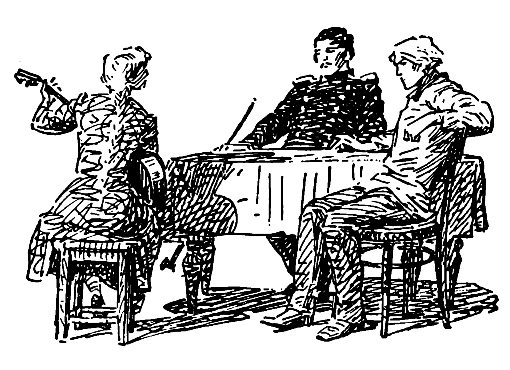
— Да, может, и вправду подменили? — смеялся Кареев. — Эх, Алеша!.. — обнимая Кольцова, таинственно говорил он. — Каких людей я повидал! Каких речей понаслушался!

И, не договаривая, переводил разговор на другое.

Кольцову любопытна была эта таинственность, да Кареев умолкал, не досказывая, а Кольцову казалось неловко расспрашивать. Но то, что у Кареева появилась какая-то тайна, которую он не желал или не мог ему поверить, было хоть и неприятно, но очевидно.

Кольцов попрежнему все, что ни писал, показывал Карееву, и тот не уставал восхищаться его стихами, восхищаться слепо, не находя слабых мест, каких в стихах было много и на какие прежде ему указывал Сребрянский, а теперь очень часто и верно Анисья.

Ее суждения поражали Кареева, и он, раньше почти не замечавший Анисочку, стал откровенно ею восхищаться. В этой девушке все было хорошо: и звонкий веселый смех, и порывистость движений, когда от резкого поворота вихрем летит русая коса, и влажный блеск синих глаз, а главное — ее естественность и умная простота.



Они собирались в кольцовской каморке втроем и читали или спорили о прочитанном. Кареев умел очень смешно рассказывать, рассказы были в лицах, и так все было похоже на тех, о ком шла речь, что Анисья смеялась до слез и ничего не могла говорить, а только охала.

Они часто пели. Ни Кольцов с Анисьей, ни Кареев не сговаривались заранее. Песня приходила сама собой. Это случалось в сумерки. Всегда разговорчивый Кареев, пощипывая тоненький ус, молчал. Кольцов брал гитару и начинал лениво перебирать струны, всегда наигрывая что-то печальное и медленное.

При первых же звуках гитары у Анисьи сжималось сердце. Она тихонько, точно издалека, начинала песню. Обычно это была какая-нибудь всем известная старая песня или романс, и тогда, постепенно присоединяясь к Анисье, пели все втроем. Но иногда Анисья брала гитару и придумывала что-то свое и без слов, одним голосом, вела незнакомую мелодию.

Однажды она вдруг, сама не зная, как это у нее получилось, пропела кольцовские стихи:

Погубили меня
Твои черны глаза,
В них огонь неземной
Ярче солнца горит!

И потом не раз она придумывала свои мелодии для стихов Кольцова. Эти песни могли бы долго жить, да записать их было некому, и они все позабылись.

— Ах, Анисья Васильевна! — восторженно восклицал Кареев. — Что бы вам на фортепьянах!

— Ишь ты, чему ее научаешь! — смеялся Кольцов. — А батенька говорит: это, мол, все Алешкины выдумки!

5

Были святки. Все ходили по гостям или принимали у себя, много ели и еще больше пили, дым стоял коромыслом.

По Дворянской улице катались в ковровых санях богатые купцы. Толстощекие купчихи в цветных шалях и лисьих ротондах копнами сидели с благоверными и только повизгивали на раскатах.

В театре была поставлена старая комедия воронежского сочинителя Андрея Элина «И ошибка кстати». На круглых тумбах и на заборах пестрели нарядные афишки о представлении.

Кареев купил ложу и пришел звать Кольцова с Анисьей.

Анисья даже побледнела от счастья. Сияющими благодарными глазами поглядела она на Кареева.

— Ах, какой вы!.. — начала было она, да смутилась, покраснела и потупилась.

— Боюсь, батенька не пустит, — кивнул Кольцов на сестру. — У нас насчет этого строго...

Действительно, Василий Петрович, когда Анисья заикнулась о театре, отказал наотрез и даже затопал ногами.

— Да что ж, батенька, — обиженно сказала Анисья, — вон все ходят. И Клочковы девки ходили намедни, и Мелентьевы... А у нас, как в монастыре! Подумают, что у нас и достатков нет в театр сходить...

Семейство Клочковых считалось по Воронежу самым богатым и уважаемым. Василию Петровичу страшнее всего было то, что кто-нибудь скажет, будто у них, у Кольцовых, нет достатка. Он поломался еще немного для виду и разрешил Анисье итти в театр. А когда узнал, что она будет в ложе (ему объяснили, что это такое) и что ее кавалером пойдет Кареев, и, особенно, когда Кареев зашел перед театром и поразил всех золотым блеском парадного мундира, малиновым звоном серебряных шпор, бобровым воротником шинели и ослепительно белыми перчатками, старик даже размяк:

— Ну, до этакого-то, брат, и Клочковы девки не дотягивали! Вот тебе и Кольцовы! — И он показал воображаемым клочковским девкам кукиш.

6

Кольцов хаживал в театр и прежде. Еще бывало соココ Сребрянским и семинаристами забирались они на галерею и наслаждались театральной неправдой, — яркими платьями, сатанинскими страстями, музыкой, причудливыми декорациями, и Феничка, покрывая шум и аплодисменты, кричал на удивление публики «браво!», и все в партере задирали головы кверху, чтобы разглядеть, кто это там кричит таким оглушительным басом.

Анисью театр поразил. Она раскраснелась и была необыкновенно хороша в своем простеньком, не купеческом, голубом платье, с высокой, по тогдашней моде, талией. Впервые, по совету сестры, уложила она свою прекрасную русую косу в высокую прическу, и Кареев и даже Алексей с изумлением увидели ее красоту не такой, какой они привыкли видеть, а совершенно иную — гордую и уверенную, не знающую себе равной.

— Королева! — шепнул Кареев Кольцову.

Они уселись, прислушиваясь к тому неопределенному, но всегда волнующему гулу голосов и настраиваемых инструментов, который предшествует поднятию занавеса.

Служители потушили свет, в зале стало темно, и только ряд свечей, скрытых рампой, освещал низ бархатного, разрисованного купидонами, занавеса.

Оркестр — несколько скрипок, контрабас и арфа — заиграл веселую польку. Купидоны поплыли кверху, и начался спектакль.

Комедия и актеры были плохи, и Кареев, который не раз уже видел эту пьесу, наверное скоро заскучал бы. Но он сидел, отвернувшись от сцены, где прыгали и кланялись какие-то франты с буклями и в чулках, и смотрел на Анисью. Ей, впервые попавшей в театр, все было интересно и удивительно. Она смеялась, хлопала в ладоши и радостными, широко раскрытыми глазами жадно глядела на пеструю толчею поющих и пляшущих актеров.

Один раз, забывшись и, видно, желая обратить внимание Кареева на сцену, она положила руку на обшлаг его мундира. Кареев вздрогнул и невольно наклонился к ней.

— Ах, как хорошо! — шепнула Анисья и снова, как давеча, благодарно и ласково поглядела на него и улыбнулась.

«Боже мой! — подумал Кареев. — Какая она прелесть!»

7

Весь следующий день Анисья ходила как потерянная. Театр не шел у нее из головы, в ушах все гремела музыка, перед глазами летали пухлые купидоны, ярко горели свечи рампы, кавалеры в туфлях с красными каблучками и необычайно красивые дамы танцевали менуэт.

— Что, Анисочка, — пошутил Кольцов, — никак не опомнишься?

— Ах, Алеша!.. Я и сказать не могу! Вот у нас все серая жизнь, все хлопоты, а не то ругаются — ну, ночь осенняя! А там... Ах, да разве расскажешь!

И до самого вечера она была молчалива и задумчива.

К обеду приехали Золотаревы. Сестра Анюта, смешливая, раздобревшая после замужества, рассказывала, как и они с мужем намедни тоже были в театре.

Василий Петрович неодобрительно выслушал ее и сказал:

— Драть бы вас за эти киатры!.. Примерно сказать — не господа...

— Да что же все драть да драть! — возразил Кольцов. — Вы по прежним временам не судите, нонче просвещение. Что плохого в театре? Вон и Башкирцев Иван Сергеевич в театры ездит, вы ж ничего ему не говорите...

— Экося!.. Башкирцев! Да ты сначала, как Иван Сергеич, суконную фабрику да подряды миллионные обломай — тогда, по мне, хошь кверху ногами ходи! Просвещение!.. — гмыкнул Василий Петрович. — Наше дело — где барыш, там и просвещение... Выдумает, прости господи!

Все замолчали. Золотарев хотел навести разговор на торговые дела.

— Барина Паренагу видел надысь, — сказал он голосом робким и тонким, не вяжущимся с его огромным ростом. — Сказывал, рощу возле Углянца может продать. И цена сходная...

— Что ж, купи! — насмешливо буркнул Василий Петрович.

Золотарев сконфузился и густо покраснел. У него не было своего капитала, он глядел из тестевых рук, и тесть его ни во что не ставил.

Анюта обиделась за мужа и поджала губы.

— Вот даст господь карахтер! — вздохнула она, когда Василий Петрович ушел. — И как вы тут живете?

— Да как и вы жили! — улыбнулся Кольцов. — Ай забыла?

— Ничего такого, сурьезный коммерсант, — робко сказал Золотарев. — Не любит глупостев...

— Сиди уж!.. — Анюта презрительно махнула рукой. — Тебе батенька на голову горшок помойный выльет, а ты еще кланяться станешь! Вот что, — обернулась она к Анисье, — приходите-ка нонче к нам, Новый год встречать будем, гаданье затеем, а? И Александра Николаича приводите, — значительно поглядев на Анисью, добавила она. — Придете?

— Ну что ж, — сказала Анисья и покраснела.

8

Золотаревы жили в небольшом новом доме на кольцовском лесном дворе. Кругом были навалены дрова с бесконечным лабиринтом узеньких проходов между штабелями. Широкая и пустынная Лесная улица, по сути дела, была началом поля, по ней редко ездили горожане, одни обозы тянулись к Девицкому выезду. Недалеко стояли кузни, и было слышно, как кузнецы стучали молотами, визжали подравшиеся лошади и ругались озябшие мужики. И улица, и двор, и кузня, и одинокий дремлющий с алебардой будочник — все было скучно, неуютно, недаром же Анюта не хотела тут жить. Батенька приказал, пришлось смириться, но как она ни старалась, все в доме Золотаревых было неустроено, холодно и не обжито.

Кольцовы с Кареевым пришли в сумерки. Вечер был морозный и тихий. Из труб столбами поднимался синий на закате дым.

Анюта приготовила все для гаданья. Приносили петуха, смотрели в зеркало, топили воск и смеялись над причудливыми тенями восковых фигурок, но веселья не было.

Вдруг за окнами завизжали полозья, послышались бубенцы, конский топот, песни, крики и перезвон балалаек.



— Батюшки, да кто же это?! — ахнула Анюта и только вскочила бежать навстречу гостям, как в комнату ввалились ряженые. Впереди всех шел медведь в вывороченном полушубке. Черный цыган-поводырь в меховом колпаке вел его на обрывке и кричал:

— А ну, Миша, покажи, как пьяная баба пляшет!

Коза с головой на длинной палке, арап черный с золотым кольцом в носу, барабанщик, паяц с медными тарелками и так просто какие-то размалеванные, переодетые люди, и балалаечники с бубнами — все это ржало, визжало, топало, хрюкало, стучало в бубны и деревянные колотушки.

Наконец после всех, в черной маске, в широченной шляпе и с двумя кинжалами и пистолетом за поясом, держа за руку закутанную в чадру турчанку, вошел разбойник.

— Пей! Грабь! — закричал он страшным голосом.

Турчанка в пестрых штанах схватила бубен и пошла в пляс. Двое мужиков внесли ящик с шампанским и стаканами, хлопнули пробки, вино полилось рекой, грянули балалаечники.

В разбойнике сразу признали Башкирцева.

— Ну, Иван Сергеич! — хохотала Анисья. — Ох, батюшки!

— Да кто же это в штанах-то? — удивилась на турчанку Анюта.

— Гуляем, Алешка! Анисочка! Ваше благородие, Александр Николаевич! Гуляем! — кричал Башкирцев. — Варвара Григорьевна, — обратился он к турчанке, — будет плясать-то, как бы благоверный в санях не замерз.

— Варенька! — взвизгнула Анюта и кинулась тормошить турчанку.

Турчанка звонко рассмеялась и сняла чадру.

Варенька Огаркова была соседкой Кольцовых. Года три назад ее выдали замуж за старого купца Лебедева, и тот увез ее из Воронежа в Елец. Они были однолетками с Анютой и когда-то дружили.

— Откуда ты? Где муж? — спрашивала Анюта.

— В санях остался! Да ведь мы за вами, на минутку, собирайтесь! Вон Иван Сергеич затеял Новый год на даче встречать.

— Скорее, скорее! — торопил Башкирцев. — Айда по саням, не то и впрямь старичок-то наш застынет.

9

Выйдя от Золотаревых, рассаживались наспех, как попало. Башкирцев с Варенькой вскочили в розвальни с балалаечниками. Он оттолкнул кучера, сам взялся за вожжи и поехал передом. Кольцов, Кареев и Анисья очутились в небольших ковровых санках, в которых неподвижно сидел, закутанный в медвежью шубу, сухонький старичок. Это был Варенькин муж. Он недовольно посторонился, подбирая под себя полы огромной шубы, и что-то пробормотал.

— Ну, папаша, держитесь, катать буду! — разбирая вожжи, весело сказал Кольцов. — Э-ей! Гильдейские! — крикнул он на лошадей, и сытая разномастная тройка, дружно взяв с места и раскатившись санями у ворот, вылетела на широкий простор Лесной улицы.

Восемь троек с лентами в гривах мчались к Дону по гладкой, хорошо укатанной и мутно поблескивающей под луной широкой дороге. Снежная пыль летела в лицо, на раскатах захватывало дух. В морозном воздухе звонко и весело заливались поддужные колокольцы и нежно приговаривали бубенчики.

Выехав за город, Кольцов стал обгонять Башкирцева. Ветер запел в ушах, сани кидало на раскатах. Анисья, испуганно прижимаясь к Карееву, смеялась и взвизгивала.

— Докажи, Алеша! — крикнул Кареев.

Варенькин муж, ухватившись за красный кушак кольцовского тулупчика, только покрякивал.

Наконец, понемногу забирая вправо, лошади поравнялись с башкирцевской тройкой.

— Иван Сергеич! — крикнула Анисья. — Обгоня-а-аем!

— Шалишь! — рявкнул Башкирцев и замахал кнутом. Вороной коренник рванул, подхватили пристяжки, и мощным скачком башкирцевская

тройка вырвалась вперед. Однако за вихрем снежной пыли и в азарте бешеной скачки Башкирцев проглядел крутой поворот дороги. Сани занесло далеко в сторону, лошади, неловко перебирая ногами, пошли вдруг задом и вбок, и большие розвальни с балалаечниками плавно перевернулись. Послышался Варенькин визг, смех и брань балалаечников и хриплый крик Башкирцева:

— Тпр-ру, тпр-ру, чумовые!

— Чорт бешеный! — раздраженно сказал старичок в медвежьей шубе. — Право, бешеный! Варюша! — визгливо позвал он.

Но Кольцов, не останавливая, гнал лошадей, в дикой пляске по сторонам дороги мелькали кривые, с растрепанными пучками сена вешки. Кованые копыта лошадей звонко застучали по льду, сани, легко скользя, помчались еще быстрее. Дорога шла по самой середине Дона. Вдали, на горе, чернела роща или сад и большой двухэтажный, с освещенными окнами дом. Это была дача Башкирцева.

— Ах, дивно! — пряча от снежного вихря лицо в бобровом воротнике кареевской шинели, тихо сказала Анисья.

Кареев нагнулся и заглянул ей в глаза. Она улыбнулась и потупилась.

— Анисочка!.. — прошептал Кареев.

Вокруг замелькали черные с голубыми длинными тенями деревья сада, совсем близко залились охрипшие цепные собаки.

— Приехали! — осаживая лошадей, весело сказал Кольцов.

10

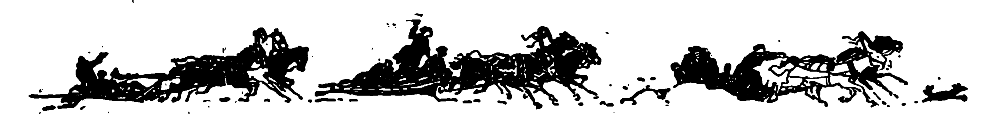
Иван Сергеевич Башкирцев любил жить широко и весело. После смерти жены он, правда, с год ходил, как про него говорили, «тронувшись», но потом встряхнулся, ожил и стал не в пример прошлым годам погуливать. Песельники и балалаечники у него водились испокон веков, и музыкантами своими и хором он был давно известен. Возле него кормились бродячие артисты, для музыки он ничего не жалел, и на прокорм, а главное — на пропой музыкантов и песельников тратил большие деньги.

В Воронеже, на дворе у Башкирцевых, еще только тройки запрягали, а сани с провизией и вином были отправлены и верховой с приказом топить печь уже скакал на дачу.

Когда съехались гости, в печи весело трещали дубовые поленья и тепло, сразу поплывшее от огня, колебало желтоватое пламя зажженных свечей.

В большой комнате — в зале, обставленной тяжелой самодельной мебелью, сдвинули два стола и покрыли их серыми, домашнего полотна, слежавшимися в четырехугольные складки, скатертями.

В доме пахло яблоками. В двух комнатах, накрытые соломой, лежали



груды антоновки, воргуля и еще каких-то твердых, созревавших только к пасхе яблок-«зимовок».

Егор Тимофеев, дачный управитель, сбился с ног, все устраивая. Не глядя на свои семьдесят лет, бегал трусцой, покрикивал на прислугу и все посматривал на Башкирцева: так ли?

В полночь, когда все встали с бокалами вина и Иван Сергеевич сказал: «Ну, дай бог и в тридцать шестом не хуже тридцать пятого!» — во дворе грянули выстрелы и окна озарились багровым дрожащим пламенем.

Егор Тимофеев поежился от удовольствия, — это была его выдумка: ночные сторожа пальнули из ружей и зажгли смоляные бочки.

— Молодец, Ера! — закричал Башкирцев. — Зови всех! Давай, ребята! — махнул он музыкантам.

Балалаечники со свистом и пристукиванием хватили по струнам, ударили в бубны. Пришли сторожа в огромных тулупах, с белыми от инея бородами.

— Делай! — вскрикнул Башкирцев и, подбоченясь, пошел, притопывая и подмаргивая. — Гуляем, Варвара Григорьевна!..

Варенька махнула платочком и поплыла серой утицей. Ее старичок поджал бритые губы и сердито отвернулся. «Я б тебе показал!.. — раздраженно подумал он про жену. — Я б тебе сказал словечко, кабы не векселя!»

Он был много должен Башкирцеву, и векселя были просрочены.

— А ты что ж, — шепнул Кольцов Анисье. — Покажи-ка Вареньке, как это делается...

Анисья покраснела, глянула на Кареева и, засмеявшись, пошла в круг.

— Пойдем, Алеша! — позвала она Кольцова.

Кольцов сделал хитрую выходку и, дробно постукивая подковками сапог, по кругу обошел сестру.

«Боже, как хороша!..» — с восторгом думал Кареев. Чтобы лучше видеть ее, он встал. Анисья, чуть касаясь пола, птицей неслась по залу; тяжелая коса с голубой лентой летела за ней, и белый платочек в руке мелькал, как голубок.

Гости повскакали с мест и стали хлопать в ладоши. Один старичок Лебедев сидел, отвернувшись, и что-то шептал.

Башкирцев вырвал у музыкантов бубен и чортом пошел кругами возле Анисьи.

— Жги, сестренка! — вскрикивал он. — Вот люблю, хорошо!.. Делай!..

Один за другим, точно в воронку водоворота, гости втягивались в пляс. Половицы стонали от топота многих ног. Стало жарко. За окнами пылали бочки.

Анисья выбежала из круга и, обмахиваясь платочком, усталая и сияющая, опустилась на стул.



— Душно! — шепнула она Карееву. — Пойдемте посмотрим, как бочки горят.

Она вскочила и побежала.

— Да оденьтесь же! Как можно! Простынете! — едва поспевая за нею, говорил Кареев. В сенях он схватил свою шинель и уже на ступеньках крыльца догнал Анисью. Поскрипывая каблучками по тугому снегу, она бежала к пылающим бочкам. Кареев накинул ей на плечи шинель.

— Чем не драгун! — глядя снизу вверх на Кареева, засмеялась она.

Они стояли, освещенные красноватым пламенем догорающей смолы. В темном пушистом мехе воротника ее лицо казалось особенно тонким и бледным, а глаза — огромными и таинственными.

Не думая о том, так это или не так и можно ли, Кареев обнял Анисью и крепко поцеловал ее в полуоткрытые, теплые губы.

— Ах! — вскрикнула Анисья. — Идемте, что ж это мы!

И, сбросив шинель на снег, побежала к крыльцу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна.

М. Ломоносов

1

Как-то раз Станкевич назвал книги своими лучшими друзьями. Кольцову глубоко в сердце запали эти слова. Он с детства был дружен с книгами. Увлекательные романы уводили его в иной, незнакомый ему, великолепный мир. Он восторгался стихами Ломоносова, Жуковского и особенно Пушкина, на них он учился писать свои песни.

Другие книги — учебники — были не так интересны, даже иногда непонятны, как, например, грамматика, в которой Кольцов плохо разбирался.

Однако и с этими книгами он был по-настоящему дружен и знал историю или географию не хуже любого гимназиста.

И все-таки тот язык, каким разговаривали у Станкевича, и те мысли, которые высказывались этим языком, были почти непонятны Кольцову.

Существовала на свете философия. Само слово дразнило и притягивало Кольцова. Сколько раз, ночуя в степи и глядя на бездонный мир звездного неба, Кольцов задумывался об этом огромном мире, о его движении, о его зарождении, жизни и смерти, или бессмертии — он точно не знал. В этом огромном мире, в ряде бесконечных маленьких миров, был и тот, в котором жил, дышал, сочинял стихи и пел или горевал он сам, Кольцов. Чтобы познать многообразный, великолепный мир с его звездами, солнцем, луной, кометами и воробьиными ночами, была книга — астрономия. Он купил ее и, читая, очень увлекся. Особенно ему понравилась черная, с белыми точками карта звездного неба.

Но тот маленький мир, в котором жил Кольцов, был так же разнообразен, как и большой. В нем были океаны, бури, горы, землетрясения, гроза и радуга, леса, цветы, звери, птицы и, наконец, люди — добрые и хорошие, красивые и безобразные, с их любовью, ненавистью, радостью, тоской и, главное, с постоянным желанием: как бы ни было тяжко — жить.

Как же охватить весь этот мир миров, чтобы все раздробленные и не всегда понятные явления соединить в одну мысль, в одно понятие?

— Все поставить на свое место! — сказал он однажды Сребрянскому.

— Экий прыткий! — засмеялся Сребрянский. — На этом, брат, сколько народу головы посломали!

Он принес Кольцову «Историю философии». Тот прочитал книгу и ничего не понял. Он привык землю считать землей, которую можно было пахать, ходить по ней или, наконец, вообразить ее шаром. Оказывалось, земля — тело, и понятие это было так отвлеченно и неосязаемо, что по этакой земле не то что гурт быков прогнать, а и сам пройти побоялся бы.

Понятие добра и зла, жизни и смерти, любви, божества — все было в тумане, обо всем говорилось такими словами, что понятия скользили, как рыбки-вьюны, и, не даваясь, выскакивали из рук.

Вон у Саши Кареева все было ясно и не подлежало сомнению. Крепостное рабство — дурно и подло. По-кареевски — рабство надобно было уничтожить, и не только рабство, но и тех, кто его защищал. Это Кольцов понимал, это было тесно связано с жизнью, с людьми, с его личным горем.

Русская земля лежала необозримыми полями, да вся была господская, а мужику некуда было телка выгнать.

По-кареевски — надо было отнять у господ землю и отдать ее мужикам и уничтожить не только господское право на землю, но и самих господ.

Кольцов понимал и это. И это было связано с жизнью и людьми, среди которых он жил, которых любил и желал, чтобы им было хорошо.

Кольцов помнил, как однажды он по отцовскому делу приехал к барину Малютину. Барин был на псарне, и Кольцову сказали, чтобы он шел туда. Своры борзых, гончих, легавых собак толпились вокруг длинного корыта, куда егерь из деревянной бадейки наливал густую теплую овсянку. Барин в дворянском картузе и голубой венгерке со шнурами ходил взад и вперед возле корыта и пощелкивал на нетерпеливых собак арапником. Господский управитель что-то докладывал барину. Поодаль на коленях стоял мужик без шапки в разодранной, грязной рубахе. Мужик этот срубил в господской роще дубок, и лесник его поймал. Кольцова поразило не то, что мужик срубил дерево и что его за это будут жестоко наказывать. Поразило другое: завистливый взгляд стоящего на коленях мужика. После неурожайного лета была голодная зима. Хлеб поели к рождеству. Потом стали есть лебеду и желуди, и от такой еды болело брюхо и была слабость в ногах. А тут бадейками выливали теплую и сытную овсянку в корыто для собак! Мужику было все равно, как его накажут, ему хотелось есть, и он рад был бы вместе с собаками, ежели бы ему позволили, кинуться к корыту.

Тут, на псарне у барина Малютина, понятия о добре и зле становились вещественными и наглядными.

Станкевич говорил, что природа есть Разумение, что все вокруг нас — жизнь, что жизнь действует разумно.

Это можно было понять и даже признать, пока это было словами. Но видеть, как псы вволю лакают овсянку, тогда как мужики едят лебеду и пухнут с голоду, и согласиться с разумностью этого было невозможно.

2

В Смоленском соборе ударили к поздней обедне. Мясники вытерли о фартуки окровавленные руки, скинули шапки и стали креститься.

Торговавший на базаре кольцовский малый на праздниках опился, упал на улице и поморозил руки. Кольцову пришлось итти в мясные ряды и становиться за прилавок.

Большим и широким, похожим на старинную секиру топором, гакая от натуги, Кольцов рубил замерзшие говяжьи туши. В окошке мясной лавки пестрел базар — ковровые шали, полушубки, седые от инея лошади, смоленская колокольня с часами, галки, бирюзовое небо.

Недавно Кольцов взял у Кашкина рукописный перевод книги Фихте «О назначении человека». Название было заманчиво, — это было как раз то, о чем он много думал. С большим трудом, возвращаясь по нескольку раз назад и перечитывая вновь, он одолел книгу и вчера ее кончил. Однако после Фихте назначение человека не только не стало ясным, но сделалось еще туманнее. «Неужто так и не дано мне понять?» — разрубая коровью тушу, огорченно думал Кольцов.

В лавку вошел Кареев. Он был свеж и весел.

— А, Саша! — радостно улыбнулся Кольцов. — Вот уж кстати, так кстати! Садись, дорогой! Да нет, сюда, а то шинель замараешь.

Он вытер фартуком табуретку и подвинул ее Карееву.

— Я на минутку, — сказал Кареев. — А почему кстати?

— Да вот, понимаешь, в назначении человека запутался, — и Кольцов рассказал, как много ждал от книги и как она, не дав ничего, кроме путаницы, обманула его.

— Вон, Николай Владимирыч сказывал, что книги — друзья. А по-моему, они и врагами бывают.

Кареев засмеялся.

— Знаешь что? — сказал он. — По-моему, нам эта немецкая философия не ко двору. В конце концов у них все сводится к богу.

— Оно бы ничего, да к богу-то не нашему!

— Ясное дело, к немецкому. Ну, да это пустое... — Кареев пристально поглядел на Кольцова. — Вечерком к Дмитрию Антоновичу зайди, — значительно сказал он.

— Что это? — улыбнулся Кольцов. — Ведь ты его не жалуешь?

— Да, разумеется, и по заслугам... Он сам и век бы мне не нужен, да человек у него сейчас больно хорош... Хотел бы я тебя с ним свести.

— Что за человек?

— Э, малой! — позвали Кольцова от окошка. — Отруби-кась с полпудика вон от задней-то части.

— Пожалуйте-с! — сказал Кольцов. — Так я приду! — кивнул он Карееву.

— Приходи обязательно! — Кареев взялся за ручку двери. — Там, может, и о назначении человека кое-что выясним! — с улыбкой прибавил он выходя.

3

По блестящему полу чистенького зальца, заложив руки назад за фалды поношенного сюртука, ходил некрасивый, с угрюмым, шишковатым лицом, человек. Это был Василий Иваныч Сухачев, литератор, проживавший в Одессе, где в дни далекой юности он встретился с Кашкиным и, сблизившись с ним, ввел его в известный дом.

В этом доме собирались молодые люди, проводя время за чтением таких опасных списков, как радищевское «Путешествие» и пушкинская «Вольность». Ветерок свободомыслия свистел тогда в юной голове Кашкина, не раз произносил он в том доме пылкие речи против самодержавства, в защиту угнетенного человечества, грозился умереть за вольность и братство и не сознавал по легкомыслию, что все это могло привести, да и привело его товарищей к печальному концу.

Вскоре после памятного декабря двадцать пятого года жандармы нагрянули в известный дом, и все молодые люди были взяты и посажены в крепость. Кашкин избежал этой участи. К этому времени он уже проживал в Воронеже и был владельцем книжной лавки. Ветерок вольнодумства улегся в его беспокойной голове.

Слухи об аресте друзей, дошедшие из Одессы, обеспокоили его, и некоторое время он тревожно ждал неприятностей. Он опасался, как бы друзья не оговорили его и как бы не пришлось менять чистенькое зальце с фортепианами на сырые и холодные, кишащие мокрицами стены Петропавловского каземата. Кашкин очень боялся мокриц и от одной мысли о них страдал невыносимо.

Однако все улеглось, его имя не упомянулось в следственных папках Третьего отделения. Друзей, собиравшихся в известном доме, признали непричастными к декабристам и выпустили из крепости, запретив им проживать в больших городах и учредив над ними полицейский надзор.

Все устроилось отлично. Кашкин успокоился, свободно вздохнул и перестал думать о мокрицах. Торговля шла бойко, он женился, стал сочинять стишки, слабость которых, впрочем, понимал и не самообольщался.

Наконец, когда на поверхности его житейского озерца не осталось ни одной рябинки и воронежское общество признало в нем почтенного негоцианта и просветителя, — ему даже захотелось побаловаться былым вольнодумством.

Он с удовольствием толковал с молодыми людьми о Рылееве, о цепях рабства, однако дальше дозволенного цензурой не заходил. При всем этом он исправно посещал Смоленский собор, говел и причащался и в дни царских тезоименитств вывешивал трехцветные российские флаги и зажигал смоляные плошки.

И вот вдруг, как снег на голову, появился Сухачев, за которым следила полиция, и остановился не на постоялом дворе, а велел ямщику ехать прямо к Кашкину.

Тишина чистенькой квартирки была нарушена громким и неприятным голосом нежданного гостя. Уютные комнаты наполнились запахом дешёвого

табака. Раздражала привычка Сухачева беспрестанно ходить из угла в угол. Кроме того, сухачевские сапоги были дурно сшиты, в каблуках торчали гвозди и царапали натертый пол.

Впервые за последние годы Кашкину представились отвратительные мокрицы, и он содрогнулся.

4

— Я тебе, Дмитрий Антоныч, удивляюсь! — громко, каким-то ненатуральным голосом говорил Сухачев. — Так погрязнуть в своем благополучии, так отрешиться от всего, чем жил... этого, брат, извини, не понимаю!

Кашкин нервно стучал пальцами по круглому, покрытому пестрой гарусной скатертью столику и, с усилием растягивая бледные губы, улыбался. «Весь пол исцарапает! — уныло думал он, глядя на ноги шагающего Сухачева. — Эк его угораздило приехать!»

— Да что же... Ты, Василий Иваныч, неверно обо мне судишь. Если я не кричу, не ношу за пазухой пистолета, так ты уж...

— При чем тут пистолет! Я не об том говорю, — раздраженно перебил Сухачев. — Я про то тебе хочу сказать, что в городе, где есть гимназия, семинария, войско, где, наконец, в среде чиновничества можно найти мыслящих людей, — ты не стремишься стать центром того направления, сторонником которого я тебя знал!

— Ну как же, у меня собираются... («Ох, что я говорю! — с ужасом подумал Кашкин. — Надо решительно отказаться, пресечь».)

— Я знаю: собираются! — насмешливо сказал Сухачев. — Кареев, Кольцов...

— Откуда ты знаешь? — изумился Кашкин.

— Ну, ну! — неприятно засмеялся Сухачев, видя растерянность друга. — Ты не подумай, что черная магия, — я в Одессе летом с Кареевым познакомился. Он дельный малый. Ты извини меня, Дмитрий Антоныч, я без твоего разрешения с дворником записочку утром послал и от твоего имени просил пожаловать.

«Слава богу! — вздохнул Кашкин. — Может, разговор на поэзию повернем».

— Да вот еще не забыть бы! — Сухачев сел на диван рядом с Кашкиным. — У меня к тебе, Дмитрий Антоныч, просьба...

«Господи, что ему еще нужно? — зябко поежился Кашкин. — Денег, наверное...»

— Я бы не стал утруждать тебя этой безделицей, да мне сейчас — край, ты уж извини, я по старой дружбе... Не найдется ли у тебя целковых этак двести? Завтра бы в путь, да вот обстоятельства проклятые держат!

— Что ж, я рад помочь, — доставая бумажник, сказал Кашкин. — Вот, пожалуйста... Никак стучат? — прислушался он. — Не они ли? Точно, они, я Кольцова по кашлю узнаю!

5

Однако разговор на поэзию не повернулся.

— Я вас знаю, — здороваясь с Кольцовым, сказал Сухачев. — Мне Александр Николаевич много о вас рассказывал и стихи ваши читал. Я даже несколько пьес с его слов записал.

— Вот какой ты, Саша! — Кольцов укоризненно поглядел на Карева. — А мне — ни слова!

— Да у меня были причины!

— Верно-с! — подтвердил Сухачев. — Я сам просил не распространяться. Обо мне лучше молчать, чем говорить. Я потому и на постоялый двор не поехал, меньше гласности. Я очень скромен, — засмеялся Сухачев, — и не терплю чужого внимания, особливо полицейского!

Кашкин подошел к окну и поправил штору. Он страдал. Насильственная улыбка, кривившая его губы, причиняла ему физическую боль. Мысли, одна тревожней другой, вертелись, как змеиный клубок. «Повернуть разговор! — мелькало в голове. — Да как повернешь? Вишь, и деньги взял, а все ломит напрямик... Или пойти распорядиться насчет закуски? Да, именно, надо позвать их к столу, а там...»

Он извинился и пошел к жене. Жена догадывалась, что гость неприятен Дмитрию Антонычу, как и ей, тем, что он много курит, сорит пеплом, громко говорит и царапает каблуками пол. Но она не понимала, да и не могла понять его тревожного состояния, потому что не знала, кто такой Сухачев.

Когда Кашкин пришел к ней, насильственная улыбка исчезла, но боль на скулах и щеках оставалась и причиняла ему страдание. Он сказал, что ему нездоровится, попросил жену собрать закуску и пошел назад. Его удивила тишина в гостиной. Подойдя к дверям, он убедился, что там говорили вполголоса. Кашкин, не входя в комнату, остановился послушать.

— Что ж, — говорил Сухачев. — Время проходит, люди меняются. Кто бы узнал сейчас в нем того пламенного вольнодумца, каким он был десяток лет назад?

Кашкин догадался, что речь идет о нем, и затаил дыхание.

— А нынче, — продолжал Сухачев, — нынче я вижу благополучного, почтенного негоцианта, раздобревшего от тихой и безмятежной жизни... Мысль о былых проказах приводит сейчас его в трепет... — Сухачев негромко засмеялся. — Мне доставило невинное удовольствие помучить его немножко: он ведь не знает, что я теперь чист и непричастен к делу, что полиция оставила меня в покое.

— Да это и для меня новость! — сказал Кареев. — Поздравляю! Какую же, Василий Иваныч, вы теперь изберете деятельность?

— Ну, в наш просвещенный век де́ла — край непочатый! Поеду в Москву, стану журнал издавать! О, милый друг, ты еще услышишь обо мне!

«Слава богу, пронесло, кажется!» — перекрестился Кашкин, вежливо кашлянул и вошел в гостиную.

— Пожалуйте, господа, к столу! — потирая руки, весело сказал он.

6

За столом Сухачев много и жадно ел. Кашкин был по-настоящему весел, то и дело подкладывал гостю лакомые куски и подливал вина. Дмитрия Антоныча радовало то, что Сухачев оказался неопасен, то, что он завтра уедет и перестанет громко разговаривать и царапать пол. Все было прощено Сухачеву, и даже, когда он, отличавшийся в еде, как, впрочем, и во всем, какой-то особенной неряшливостью, потянувши с блюда кусок заливной стерляди, уронил на чистую скатерть несколько морковных звездочек, — Кашкин предупредительно сказал: «Пустяки» — и посыпал пятнышко солью.

Кареев молчал, хмурился и катал хлебные шарики. Кольцов с заметным удивлением поглядывал на Сухачева.

«И что только Саша в нем нашел?» — недоумевал Кольцов.

Между тем Сухачев, налегавший на какой-то особенный рейнвейн, захмелел, стал хвастать, что он в Москве всех журналистов за пояс заткнет, что он создаст особое направление в журналистике, потом громко, с завыванием прочитал, выдав за свои, стихи Бенедиктова и, наконец, прикорнув в кресле, заснул.

Кольцов и Кареев распрощались с Кашкиным и ушли. На улице мела поземка. Ветер сметал с крыш жесткий, колючий снег и сыпал его за воротник.

Кольцову не хотелось расставаться с Кареевым; он чувствовал, что тот что-то хочет сказать ему, да не решается.

— Зайдем ко мне? — останавливаясь возле калитки, спросил Кольцов.

Кареев молча кивнул головой.

7

За окном кольцовской каморки посвистывал ветер. В окно дуло, и пестрая ситцевая занавеска слегка колебалась. Свеча горела неровно, то треща и вспыхивая, то угасая.

Кольцову показалось холодно, и он затеял топить печку. Кареев скинул шинель и повалился на топчан. Пока Кольцов возился с лучиной и разжигал дрова, Кареев все лежал и молча глядел в потолок. Наконец дрова разгорелись, в трубе весело загудело пламя.

— Ну что ж молчишь? — садясь возле Кареева, усмехнулся Кольцов. — Говори, что душу-то растравило.

— Ты меня, Алеша, прости. Обещал я тебе утром нынче хорошего человека показать, да обманул. А впрочем, я и сам обманулся! — добавил Кареев с горечью.

— Да я, брат, маленько стал в тупик, — признался Кольцов. — Я, Саша, по правде сказать, кой о чем и раньше догадывался, а как ты мне нынче сказал: с человеком, мол, сведу — ну, думаю, уж раз ты на него этак глядишь, стало быть — орел! А там дальше — больше, — вижу: ан орлато и нету, а так, воробей щипаный... Да как захмелел, да пошел околесицу

нести, да Бенедиктова за себя выдавать, — я уж тут и вовсе с толку сбился.

— Слыхал, давеча Василий Иваныч про Кашкина что говорил: «Время идет, люди меняются». — Кареев вскочил и стал ходить по каморке. — «Меняются»! — насмешливо повторил он. — Ну уж так измениться, как сам он изменился, — это просто непостижимо!

— Значит, тоже голову-то на плаху неохота класть! — заметил Кольцов.

— Ну что ж! — сказал Кареев. — Коли Василий Иваныч и впрямь отошел от святого дела, так это еще не значит, что и мы должны уйти! Добрые семена посеяны, и они прорастут, Алеша!

Кареев достал из сюртучного кармана потрепанную тетрадку.

— Вот, — сказал он, — вот она, Алеша, декларация тайного общества, в какое меня Василий Иваныч ввел! Он, царь-то, думает: повесил Рылеева — и ладно! Нет, не ладно! — ударив тетрадкой по столу, крикнул Кареев. — Вон ведь тут что записано...

Он перелистал тетрадку.

— Вот... «Не нам видеть пожары грядущих восстаний, но первые искры из кремня вырубили мы...» и дальше: «Клянемся, не уставая, поднимать на святое дело вольности всю мыслящую и честную Россию и, не щадя жизни, продолжать начатое нашими братьями 14-го декабря...» И — вот тебе крест! — я не отступлюсь от этих слов, и головы, ей-богу, не пожалею... потому что коли торжествует рабство, так на чорта мне и голова!

8

Проводив друга, Кольцов хотел записать несколько строк, пришедших ему в голову еще утром. Стихи получились плохие. Кольцов стал их поправлять, — нет, не давались! Он потушил свечу и лег на топчан.

Как ни туманно было все, о чем говорил Саша, Кольцов понимал и чувствовал правоту его большого дела. Однако Кареев сказал: «Не нам видеть пожары грядущих восстаний...» «Значит, плодами наших трудов, всем тем, что достанется ценою наших страданий и нашей жизни, будут пользоваться и наслаждаться другие? Выходит, и назначение человека состоит в том, чтобы жить не для себя, а для других? Для кого же? Для народа, конечно!» От этой мысли протягивалась нить к тому, что тогда в Москве, на подворье, говорил Белинский об искусстве, творимом для народа.

Человек представился Кольцову великим и прекрасным.

— Да, прекрасней человека ничего нет на земле! — вслух сказал Кольцов и вздрогнул. То, что он сказал, были стихи. Он вскочил с постели, высек впотьмах на ощупь огонь и зажег свечу. Раскрытая тетрадь лежала на столе. Он решительно зачеркнул то, что было написано вечером, и спеша, точно ловя летящие слова, написал:

Да, прекрасней человека
Ничего нет на земле...

И когда написал, сразу понял, что это получились последние две строчки будущего стиха, которые заключали мысль. Какие же первые?

Кольцов закрыл глаза. Огромные зеленые луга с пестрыми стадами раскинулись перед ним. Какие же первые? Ах, да вот они!

Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!

Получилось дельно, однако «да» надо было поправить на «но» — и тогда мысли первых и последних строк связывались и рождалась новая мысль, выпуклая и отчетливая:

Все творенья в божьем мире
Так прекрасны, хороши!
Но прекрасней человека
Ничего нет на земле!

9

Книжка стихотворений Алексея Кольцова была отпечатана. Станкевич, посылая ему первые десять экземпляров, поздравлял с Новым годом и первой книгой. Он писал, что о ней уже пошли разговоры и судят по-разному: одни говорят с восторгом, другие — с презрением, что Белинский хочет писать о Кольцове в «Телескопе» и что он в восторге от кольцовской народности в настоящем смысле этого слова.

Кольцов держал в руках эту тоненькую, в зеленой обертке, книжку, листал ее страницы и глядел на свои стихи, не узнавая их. Вот «Не шуми ты, рожь», вот «Кольцо», вот «Очи, очи голубые», которые он сочинил ночью, возле рыбачьего костра... Все это были такие простые песни, написанные им без всякого труда, почти без помарок.

Что было в них такого, из-за чего одни их хвалят, а другие ругают? Народные! Как же им быть какими-то другими, когда вот это писалось тогда, в Каменке, возле хоровода; это — верхом в седле, когда перегоняли скотину с приваловских лугов на бойню; это — ночью на Хопре, у рыбаков. Да их и в деревне поют, что ж такого? Мало ли чего не поют!

Как бы хорошо было увидеться сейчас со Станкевичем, с Белинским, с их московскими друзьями!.. Да как выберешься из Воронежа, когда деньденьской в базарной лавке приходится рубить коровьи туши!

«Эх, жизня! — вздохнул Кольцов, вспомнив, как говорил Сребрянский. — Ведьма, злодейка!»

Но неожиданно все устроилось отлично. Василий Петрович затеял тяжбу с помещиком Малютиным, дело пошло в Сенат и застряло. Время близилось к весне, землю, из-за которой была тяжба, надо было пахать, и Василий Петрович, правильно рассудив, что Алексей управится лучше, чем кто другой, велел ему ехать в Петербург.

Кольцов поспешно собрался и поехал.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Есть люди: досмерти желают
Вопросы эти разгадать.

А. Кольцов

1

Кольцову не было нужды задерживаться в Москве по тяжебному делу, но, желая повидать московских друзей, он решил пожить несколько дней в белокаменной столице.

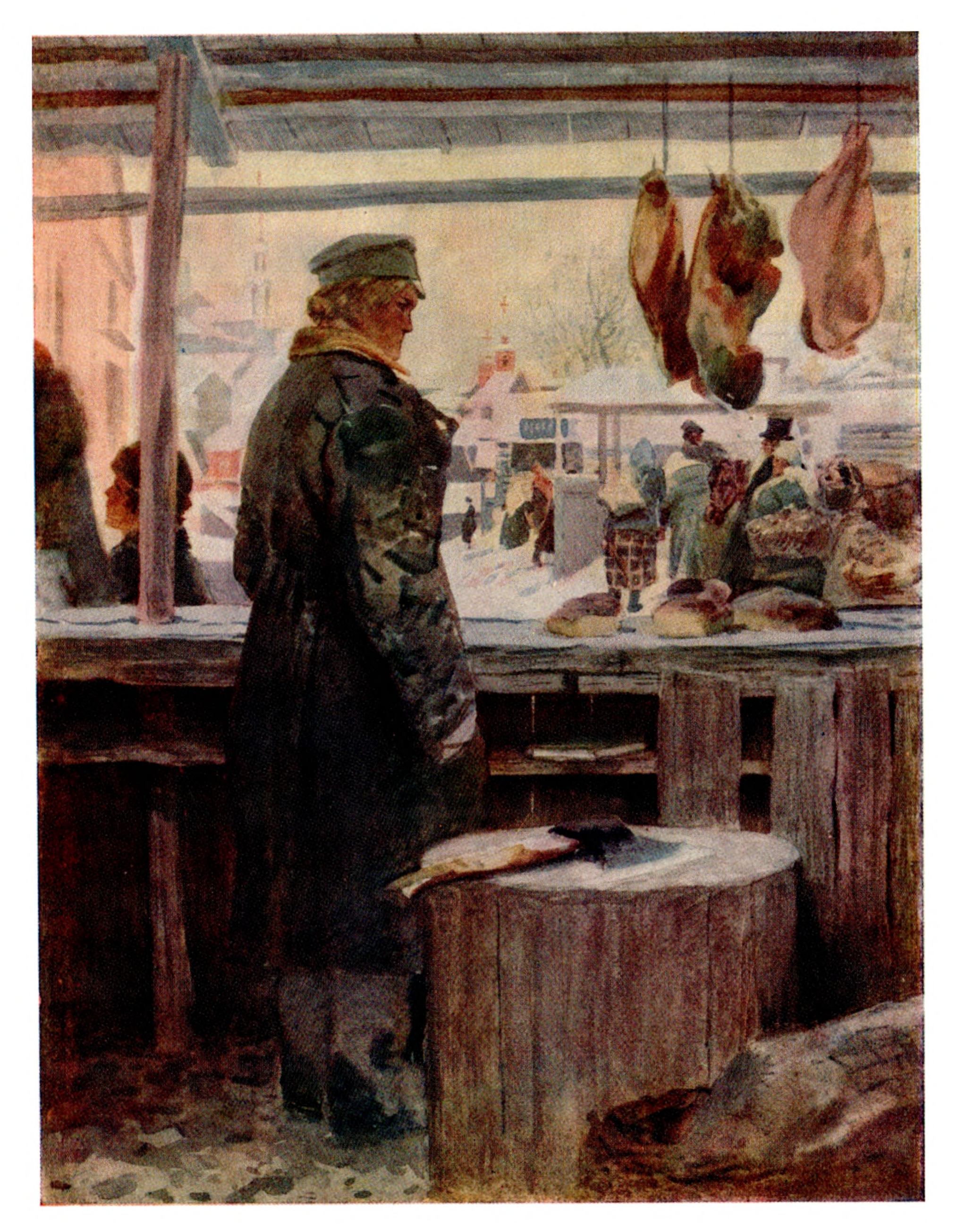
Кольцов сразу попал в ту литературную атмосферу, какая всегда царила в кружке Станкевича, а сейчас была особенно горяча. Почти в одно и то же время вышли две книжки стихов — Владимира Бенедиктова и Алексея Кольцова. В конце 1835 года газеты напечатали объявление, «доводящее до сведения г.г. читателей», о том, что в новом, 1836 году будет выпускаться журнал «Современник», издаваемый Александром Пушкиным. Ждали выхода в свет комедии Гоголя «Ревизор», содержание которой через Константина Аксакова было известно Станкевичу и его друзьям. Обо всем этом в Москве много говорили, книги же Кольцова и Бенедиктова были предметами особенно горячих споров. О них высказывались разные и противоположные суждения; причем те, что превозносили Бенедиктова, с презрением или дурно отзывались о Кольцове, те же, кто хвалил Кольцова (и среди них прежде всех Белинский и Станкевич), находили в Бенедиктове вычурность и неестественность.

Белинский написал и напечатал в «Телескопе» статьи о том и о другом, и статьи эти, в свою очередь, вызвали в Москве и Питере много горячих споров.

Станкевич, как и обещал, послал в Петербург Неверову книжку Кольцова и попросил своего друга написать и напечатать статью об этих стихах.

«А то наврет какой-нибудь неуч, — писал Станкевич. — Пиши беспристрастно, ты, верно, найдешь в них хорошее, а недостатков не скрывай; ты выскажешь их так, как может высказать человек, уважающий чувство, в какой бы форме оно ни явилось».

Неверов, как человек ограниченный (чего не понимал Станкевич), не сумел оценить Кольцова. Он увидел в Кольцове только лишь самоучку-прасола, песенника, в котором самое замечательное и интересное было разве то, что он гонял гурты, скакал по степи верхом и торговал салом.



К стр. 121

Все это, по мнению Неверова, стоило того, чтобы написать журнальную заметку, но не больше, и он недоумевал, чем тут восторгается Станкевич, и похвалы приписал порыву пылкой и увлекающейся натуры своего друга.

2

В передней Кольцова встретил Иван.

— Батюшки-светы!.. — расплылся он в радостной улыбке. — Земляку — нижайшее! Вот Миколаи Владимирыч рад будет!.. — Иван был выбрит, причесан и одет в сюртук и старые клетчатые панталоны со штрипками.

— А тебя не узнать! — весело сказал Кольцов, разглядывая Ивана. — Экой ты стал!

— Столичность! — ухмыльнулся Иван. — Это как полагается... А знатную вы книжечку составили, — сказал он, доставая из бокового кармана сюртука кольцовскую книжечку. — Я тут во дворе читал, так что народу посбежалось, право!

Иван в самом деле не расставался с книжкой Кольцова и часто читал многочисленной домашней прислуге его стихи. В дворницкой собирались кучера, лакеи, горничные, повара и казачки́. Приходил славившийся своей любовью к литературе очень вежливый, похожий на генерала, камердинер графа Шереметьева, который, впрочем, не одобрял сочинений Кольцова, говорил: «Что же это за возвышенность чувств? Одна грубость и невежество!» И, желая показать настоящую «возвышенность чувств», читал:

Вот молнии пламя над ним засверкало,
Перун свой удар ему в темя нанес —
Что ж? — огненный змей изломал свое жало,
И весь невредимый хохочет утес.

Однако людям кольцовские стихи нравились больше. Иван был горд, точно он сам их сочинил, и врал и хвастал, что кабы не он, так Кольцов и по сию пору гонял бы свиней.

— Знатная книжка, — повторил Иван, принимая от Кольцова шубу. — Вот и Миколай Владимирыч вами не нахвалится, а ведь уж он, сами знаете, учености непомерной...

— Спасибо, Ваня! — сказал Кольцов. — Книжечка эта — твоя крестница, помнишь тогда, в Удеревке-то?

— А как же! — засмеялся Иван. — Верно, моя крестница! Да вы идите прямо в комнаты, — добавил он. — Вот Миколай Владимирыч-то рад будет!..

3

Кольцов в нерешительности остановился. Из-за двери слышался хохот и еще какие-то звуки, похожие на топот: по комнате кто-то скакал.

Кольцов приоткрыл дверь — и замер от удивления: скакал Станкевич. Его длинные волосы смешно, в такт нелепым прыжкам, то поднима-



лись дыбом, то опускались на плечи, а фалды сюртука развевались, как крылья. Он скакал и размахивал кочергой...

На диване, в военном, без погон, сюртуке, сдержанно улыбаясь, сидел не знакомый Кольцову человек. Увидев Кольцова, он спокойно сказал:

— К тебе пришли!

Станкевич обернулся к двери, бросил кочергу и кинулся обнимать Кольцова.

— Вы, наверно, подумали, что я с ума сошел? — говорил Станкевич. — А? Нет, признайтесь, думали?

— Да я, признаться... — начал было Кольцов.

— Конечно, думал! — сказал человек в сюртуке. — И, клянусь, он был на волосок от истины!

— Мишель! — обратился к нему Станкевич. — Это Кольцов!

— Рад, всей душой рад! — пожимая Кольцову обе руки, сказал он и отрекомендовался: — Михаил Бакунин... Это очень хорошо, что вы приехали. Последнее время Николай усиленно занимался философией и, как видите, уже начал сходить с ума. Вы сами могли убедиться в этом.

— Я думаю, Николай Владимирович после занятий маленько размяться захотел, — улыбнулся Кольцов.

— Ну, конечно! — воскликнул Станкевич. — А вот ты, Мишель, не понял этого! Чертовски полезно после чтения всяких философских отвлеченностей, когда ум за разум заходит, — вот этак встряхнуться. Впрочем, — обратился он к Бакунину, — отвлеченности — твоя сфера, ты любую поэтическую строчку готов превратить в алгебраическую формулу. А мне попался томик Уланда. Чудо! И я, как старуха из «Волшебной флейты», пустился в пляс. И снова голова свежа, и сердце бьется, и я чувствую запах жизни!

— Ты совершенно безнадежен! — покачал головой Бакунин.—Ты поэт, Николай, не отпирайся; я знаю: ты пишешь плохие стихи.

— Да чем же плохие? — обиделся Станкевич.

— Скучные. В них и поэзия и философия; причем ни первую, ни вторую не угрызешь: сухари.

— Покорно благодарю! — раскланялся Станкевич.

— Не за что, любезный! Стихи надо писать, вот как он! — Бакунин указал на Кольцова. — Взял сухую палку, воткнул в землю, вдохнул в нее жизнь — и расцвела вишня! Читал вашу книжку, — обратился он к Кольцову, — и восхищался. Как и все, впрочем.

— Ну, уж и все! Чай, многие и поругивают!

— Я говорю о людях! — делая ударение на слове «людях», сказал Бакунин. — Выродки вроде Булгарина и барона Брамбеуса в расчет не принимаются! Что? — Коренастый, с упрямым лицом, Бакунин заложил руки за фалды сюртука и, гордо подняв львиную голову, вызывающе поглядел на Станкевича.

— Ну, не сердись, Мишель, — мягко сказал Станкевич. — Это я пошутил насчет алгебраической формулы... Не будем ссориться. Давайте-ка лучше поговорим, вспомним... Как это вы в метель тогда ко мне в Удеревку нагрянули? Чудо!

4

После обеда все пошли к Белинскому. Узенький глухой переулок был занесен снегом. Итти пришлось по тесным тропинкам, протоптанным возле заборов. Ветхий деревянный домишко, в котором жил Белинский, замело по самые окна.

Дверь открыл сам Белинский. Он сначала не узнал Кольцова и недовольно покосился на Станкевича: кого это ты еще привел?

— Не признали, Виссарион Григорьевич? — улыбаясь, спросил Кольцов.

— Батюшки! Алексей Васильевич, да вы ли это? — радостно воскликнул Белинский и обнял Кольцова. — Сюрприз, ей-богу, сюрприз! Вот славно, что приехали, ведь мы тут из-за вас копья ломаем!

Из темной крошечной передней Белинский ввел гостей в такую же крошечную комнатку, всю заваленную книгами и связками газет. На грубой, покрашенной под красное дерево конторке, были разбросаны исписан-

ные без помарок мелким почерком листы. На диване, покрытом заштопанным холщовым чехлом, лежал молодой, лет двадцати, человек с широким, добродушным, немного татарским лицом. При входе гостей он вскочил; его маленькие медвежьи глазки испуганно, исподлобья поглядели на вошедших. Это был Константин Аксаков. Когда ему назвали Кольцова, он воскликнул: «А! Вот таким я его и представлял!» — обнял и троекратно, со щеки на щеку, расцеловал Кольцова.

— По русскому обычаю! — сказал он. — Вы наш, вы русский!

Белинский засмеялся:

— Я намедни Шевырева встретил; он говорит: «Откуда это вы еще какого-то Кольцова выкопали? Барон Дельвиг отличные русские песни сочиняет, а это так, подделка, наверно...» — «Помилуйте, — говорю, — Степан Петрович, какая подделка? Настоящий народный поэт». — «Нет, — говорит, — не верю. Это вы все сами написали для мистификации».

— Вот навязали вы себе обузу на шею! — засмеялся Кольцов.

— Шевырев — болван! — резко сказал Бакунин. — Чего ему надо?

— А вот, — Белинский порылся в кипе газет, — в «Северной пчеле», что наш всеподлейший Фаддей строчит... Да где же это? Вот!

Белинский поднял палец кверху.

— «Можно было бы подумать, что поэт в самом деле селянин, если бы иногда не вырывались у него стихи, вовсе не приличные важной осанке пахаря. Он поет любовь на манер нашей элегической молодежи...» Каково? — Белинский швырнул газету.

— Говорил я вам, Алексей Васильич, что книжка ваша шуму наделает! — сказал Станкевич. — Это как камень в болото.

— Да что им дались мои песни? — удивленно сказал Кольцов. — Убейте, не пойму!

— Как что? — Белинский заложил руки за спину и выпрямился. — Остзейский барон, полунемец, помещик Дельвиг поет русские песни. Это прекрасно, против этого никто не желает возражать: русские песни поет барин, он, будьте покойны, знает, что спеть! Но вот вдруг появляется чудесный певец, сам народ поет в его песнях. Кто же этот новый певец? Мужик, мещанин! Такому — да с его талантом — дай волю, он чорт знает что запеть может! И вот тут-то господа Булгарины и Шевыревы, как настоящие лакеи, начинают лезть из кожи, чтоб опровергнуть народность поэта-мужика. Они кричат о подделке, о мистификации, они обеспокоены! Слышите ли? О-бес-по-ко-ены! — разбивая слово на слоги, произнес Белинский.

— Да чего ж им беспокоиться? — спросил Кольцов.

Белинский отрывисто засмеялся.

— До сей поры, — сказал он, — в поэзии нашей народ в чистых лапотках ходил, веселые хороводы важивал да за господскую щедрость и доброту благодетелю барину в ножки кланялся. А голос народного горя,

тоски народной и — как бы вам сказать? — народного чаяния, что ли, безмолвствовал в поэзии. И что же? Вдруг слышим:

Мне ли, молодцу,
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!

— Понимаете? Ведь этот добрый молодец не от хорошей жизни о булатном ноже заговорил! Ведь он и барина своего поджечь может!

— А что? И подожжет! — захохотал Бакунин.

— Да, но русская душа, удаль-то русская как слышится! — воскликнул Аксаков.

— Это так велико, — серьезно сказал Станкевич, — что мы еще и представить себе не можем.

— Нет, почему же? — пожал плечами Белинский. — Можем. Через сто лет эти кольцовские песни весь русский народ петь будет!

5

Вечером у Станкевича собралось много народу.

Пришли новые, не известные Кольцову люди: переводчик Кетчер, веселый и насмешливый, подписывавшийся Фитой, поэт Клюшников, сотрудник «Молвы» и «Телескопа», и студент Московского университета Мишенька Катков, еще очень молодой человек в новеньком студенческом мундире, кстати и некстати принимающий самые мрачные позы.

В этот вечер шумели, спорили и много говорили о Фихте. Фихте был новостью. Кольцов, запутавшийся в Воронеже в «Назначении человека», жадно прислушивался к разговорам, однако ему было трудно разобраться в вихре непонятных слов и философских терминов, и он огорченно и с некоторым раздражением думал о том, что не глупее же он, в самом деле, этих образованных людей, и неужто же нельзя о таких интересных и значительных предметах говорить так, чтобы было всем понятно?

Кольцов хотел поведать, как он сам пытался разобраться в «Назначении человека» и как он запутался и не понял этого назначения. Однако ему было стыдно признаться в своем невежестве, и он долго не решался вступить в разговор, но, наконец, поборов в себе чувство ложного стыда, откровенно рассказал о своем столкновении с лукавым Фихте.

Бакунин взялся было изложить Кольцову основные идеи книги, но Клюшников засмеялся и, обратясь к Кольцову, сказал:

— А вы думаете, они сами разобрались во всей этой отвлеченной премудрости? Ведь это про кого-то из наших друзей сказано:

Перечитавши все тома,
Он окривел и стал калека.

Но понял, лишь сойдя с ума,
Что сумасшедшие дома
Суть назначенье человека!

Все рассмеялись. Станкевич от смеха не мог вымолвить ни слова.

— Нет, правда, — сказал Кольцов. — Вот я читал «Литературные мечтания» — и там о великой вечной идее, об ее отражении во всем, в природе — это я очень понимаю и чувствую. А тут — заблудился. Одно вижу: все идет к богу, да только не нашему, не русскому. Вот оттого мне и трудно понять. — Кольцов обвел всех светлым взглядом и улыбнулся.

— Милый вы мой! — воскликнул Станкевич. — Да вы чудесно формулируете свое отношение к Фихте! Это очень правильно: не русский бог!

— И что ж тут путать напрасно! — воскликнул Кольцов. — Что напрасно мудрствовать? Помните, Виссарион Григорьевич, тогда еще, в прошлый раз, мы с вами на подворье о человеческих путях разговаривали? Для чего ж цельную книжку сочинять, коли человеческое-то назначение в двух словах — живи для народа, и все отсюда и выйдет: и труд, и любовь, и искусство...

— Это очень верно, — сказал Белинский. — Там, где мысль укладывается в два слова, мы часто путаемся сами и других запутываем. Перед лицом единой и вечной идеи — единой мысли, вечного бога...

— И Фихте — песчинка! — докончил Клюшников.

— Песчинка! — воскликнул Белинский.

6

Неделя, проведенная Кольцовым в Москве, промелькнула пестрой и шумной вереницей встреч, разговоров, зрелищ.

Мишенька Катков водил Кольцова по Москве, показывал достопримечательности и, впадая в менторский тон, много рассуждал об искусстве. Он напускал на себя то мрачную задумчивость, то рассеянность, то напыщенную важность. Все это делало его смешным и часто забавляло Кольцова.

Однажды Боткин зазвал всех к себе. Он жил на Маросейке, в большом и удобном старом доме. Дом стоял в саду. Осыпанные пушистым снегом деревья заглядывали в окна.

В доме было тесно от мебели, и хотя комнаты Васеньки Боткина были обставлены по-европейски, все-таки в доме властвовала старинная, покупечески тяжелая мебель.

Друзья шумно спорили. Белинский издевался над способностью Мишеля Бакунина превращать в философские отвлечения самые обыкновенные, простые вещи.

— Тебе дай волю, — смеялся Белинский, — так ты и зубочистку свою возведешь в некую философскую систему!

Боткин, одетый по-домашнему, в цветной, вышитой бисером шапочке, расхаживал по комнатам, очень, видимо, довольный удачно импровизированным вечером.

Кольцову стало весело. В отчаянных, до хрипоты, спорах друзей, в их звонком хохоте, во всей этой молодой компании московских умников было столько задора и удали, что ему и самому захотелось сказать что-нибудь задорное и удалое. Он присел возле заваленного рукописями и безделушками письменного столика и поискал глазами бумаги. Кругом были исписанные листы и тетради, которые брать было неудобно. В корзине под столом валялся белый лист почтовой бумаги. Это было начатое и брошенное письмо. На одной стороне, под словами «милостивый государь, Иван Андриянович», пестрели какие-то циферные расчеты.

Кольцов разгладил рукой почтовый листок и начал мелко-мелко писать. Стих лился свободно, слова, как живые, соскакивали с кончика пера.

Через полчаса он подошел к спорщикам.

— А я, господа, песенку сочинил, — улыбаясь, сказал он и прочитал «Лихача-кудрявича»:

Честь и слава кудрям!
Пусть их волос вьется;
С ними все на свете
Ловко удается!

— Эх, русская душа! — воскликнул Константин Аксаков. — Братцы, качать Кольцова!

— Качать! Качать! — закричали друзья.

Все кинулись к Кольцову.

— Пропал, Алексей Васильевич!.. — засмеялся Белинский.

Боткин затеял катанье на тройках, шумной ватагой ездили на Воробьевы горы. Там, в избушке лесника, варили жженку и смотрели на Москву, поблескивавшую в лунном свете золотыми маковками бесчисленных церквей.

Лес был в снегу, деревья стояли убранные инеем, как елецкими кружевами. Синие длинные тени на снегу переплетались со стволами сосен, в чаще молоденьких елочек краснело окошко лесниковой избы. Кольцов прочитал «Домик лесника». Кетчер возился с шампанским, замораживал его, потом бегал искать в сугробах бутылки и, не находя их, чертыхался на весь лес.

В другой раз Константин Аксаков потащил всех к себе обедать. Кольцов немножко робел. Ему предстояло побывать в настоящем барском доме, где за обедом прислуживают лакеи и где, конечно, будут дамы и нужно будет что-то говорить самому и отвечать на вопросы совсем незнакомых людей.

Аксаковы жили в Москве по-деревенски, то-есть большим домом со службами и сараями, огромным количеством дворни, шутов, приживалок, с бессчетным количеством гостей, с русской баней в старом, запущенном саду и вообще со всей той бестолковой и шумной неразберихой, с которой жили богатые и хлебосольные помещики того времени. Константин провел гостей к себе наверх (он жил на антресолях). Из окошка была видна Смоленская площадь: базар, огромные весы для возов, клочья зеленобурого сена на рыжем снегу.

Вскоре на антресоли поднялся старик Аксаков. Он уже знал Кольцова и по его книге и по восторженным рассказам Константина. Так же, как и Константин, он обнял и по-русски расцеловал Кольцова и так хорошо и ласково поговорил с ним, что Кольцов перестал робеть.

За столом сидело не меньше тридцати человек. Кольцов знал, что в дворянских домах много говорят по-французски, и боялся этого, однако у Аксаковых все говорили по-русски, и страхи Кольцова рассеялись окончательно. Его представили гостям, среди которых были знаменитый актер Щепкин, молодой художник Кирюша Горбунов и тот самый профессор Шевырев, который сомневался в подлинности Кольцова.

— Читал и знаю вас до знакомства и уже полюбил! — сказал Щепкин, пожимая своей мягкой большой рукой руку Кольцова. — Слава богу, нашелся и у русского народа певец, не все ж немцам-то!

— Вот, — указывая на Кольцова, сказал Белинский Шевыреву, — вот, Степан Петрович, тот самый Кольцов! И, доложу я вам, нисколько не похож на мистификацию, а самый реальный человек.

Старик Аксаков рассмеялся.

— Очень приятно, — пробурчал Шевырев в бороду. — Экие вы шутники-с! — обернулся он к Белинскому.

За обедом много говорили о новой комедии Гоголя. Сергей Тимофеевич называл ее гениальной.

— Сдается мне, — сказал Белинский, — что кончились «руки всевышнего», что настоящий русский театр народился.

— Поскорей бы только заполучить комедию! — воскликнул Щепкин. — У меня на этого подлейшего дурака городничего руки чешутся! Подумать только: настоящая Россия на сцене — когда это бывало? Велик Гоголь, и какие мы-то с вами счастливчики, что рядом с ним живем!

— Русским ветром потянуло! — сказал Константин. — Вот ведь тоже какие громадины вымахивает. — Он указал на Кольцова. — Силач!..

— Верно! — живо отозвался Белинский. — Только кое-кому этот русский дух поперек горла становится...

7

В театре давали французскую оперу «Цампа, морской разбойник». Кольцов, никогда не бывавший в опере, с нетерпением ждал поднятия занавеса.

В театре было мало народу; это создавало неприятное впечатление. На потолке висела, шипя и капая маслом, большая масляная лампа. Раек скрывался в полумраке. Станкевич уже два раза слушал эту оперу и хвалил ее.

— Оно так, — говорил Белинский, — да все бы лучше, коли была бы не французская...

Наконец лампу подтянули в люк, в зале наступила темнота и заиграла музыка. Увертюра состояла из нескольких наивных и печальных мелодий,

иногда прерываемых тревожным барабанным грохотом и ревом труб. Арфы понравились Кольцову: они переливались, как морские волны.

Медленно поплыл кверху занавес. Кольцов ахнул: перед ним сверкало солнце и до самого горизонта раскинулось синее море с пенящимися гребешками набегающих волн. Живописные руины, обвитые плющом, дерновая скамья, двое любовников — все было прекрасно, и сердце замирало от предвкушения чего-то неизвестного, необычайного.

Но ничего необычайного не случилось. Красивый граф, обольщенная девушка, морские разбойники, много танцев и выстрелов, оживающая статуя и, наконец, — счастливые любовники и танцующие поселяне. Все было пошло, глупо и в самых драматических местах смешно.

Однако оркестр и превосходно написанные декорации очаровали Кольцова. То, что можно было сделать музыкой, игрой актеров и руками художника, его поразило. Море, скалы и пираты — все это было совершенно чуждо ему, но так прекрасно! С необычайной яркостью ему представилась другая декорация: поле, рожь, переливающаяся под ветром золотыми волнами, бесконечная русская даль, русский богатырь глядит из-под руки вперед, девушка в сарафане у колодца, с коромыслом... Или хоровод, как в Каменке, весна, длинные вечерние тени...

Домой шли пешком. Мягкий снежок лениво, точно во сне, падал на тихие московские улочки. Облепленные белыми подушками снега, дремали ночные извозчики.

Станкевич громко восхищался оперой, напевая арию Цампы:

Что ты, мой дружочек,
Вянешь, как цветочек!

Белинский зябко кутался в старенькую шинель.

— Нет, что ни говори, Николай, — вдруг сказал он, — не такую оперу хочется мне услышать... Все это — пираты, море, скалы — все так, да жизни-то нету! Пылкие страсти, как хлопушки, а огня-то нет, холодно.

— Верно! — обрадовался Кольцов. — Я вот иду и думаю: а что бы не море, а поля наши, не Цампа-разбойник, а русский богатырь простецкий, народный — в лаптях да с сошкой. Микулушка, эх! вот бы такую оперу!.. И музыка чтобы наша, русская, чудесная! Правда, Виссарион Григорьевич?

— А что! И будет! Мы еще, друзья, послушаем русскую оперу!..

Наутро Кольцов, провожаемый Станкевичем и Белинским, уехал в Петербург.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Где время то, когда по вечерам
В веселый круг нас музы собирали?

В. Жуковский

1

В Петербурге было суетливо и неприветливо. Стояли морозы с тем пронизывающим, шалым ветром с моря, который пробирается сквозь меховую шубу и заставляет петербуржцев — и без того вечно спешащих и занятых чем-то — спешить еще больше.

Кольцов шел по огромной, как поле, площади, посреди которой возвышались строительные леса каменной громады Исаакиевского собора. На деревьях, узорных решетках оград, на фонарях лежал толстый слой инея. Редкие пухлые снежинки мелькали на сером печальном фоне неба и города.

Навстречу Кольцову, с потертым портфелем подмышкой, засунув руки в карманы, трусцой бежал старенький чиновник.

— Скажите, почтеннейший, — остановил его Кольцов, — как мне пройти к Сенату?

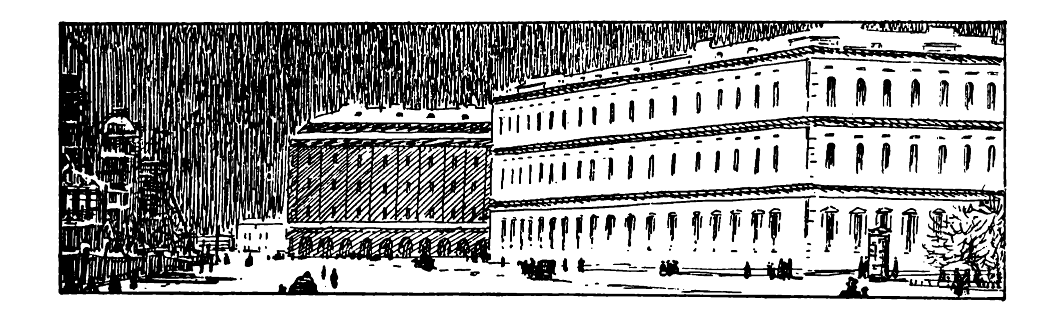
— Прямехонько-с! — на бегу буркнул чиновник.

В этом городе все спешили. В Москве стоило бывало спросить у прохожего дорогу, и тот останавливался и пространно объяснял, где повернуть направо, где — налево и как еще можно пройти покороче, да еще иной интересовался, откуда и по какому делу в белокаменной. А тут: «прямехонько-с!» — крикнул на бегу, и только его и видели...

Петербург не понравился Кольцову. Город был огромный, великолепный, но неуютный. С письмом от Станкевича он пошел прямо к Неверову, но не застал его дома. Кольцов знал, что Неверов если не дома, так в министерстве просвещения, да ему показалось совестно и назойливо итти к Неверову туда, и он решил разыскать Сребрянского.

Сребрянский жил в Измайловском полку, на третьем этаже огромного мрачного дома.

Растрепанная, пьяная баба провела Кольцова через тускло освещенную грязную кухню. Пригибаясь под развешанным бельем, Кольцов прошел в темный, пахнущий кошками коридор и постучал в низенькую, обитую рваной клеенкой дверь.



— Войдите, — сказал из-за двери незнакомый хриплый голос.

Сребрянский лежал на постели. Увидев Кольцова, он встал.

— Никак Алеша? — удивленно сказал он.

Друзья обнялись.

— Ну, что ты? — спросил Кольцов, усаживаясь на кровать рядом со своим другом. — А я твой голос не узнал — хрипишь. Вид, знаешь, у тебя!..

— Да, видик неважный, — согласился Сребрянский. — Читал, читал, — криво улыбнулся он, — Белинский о тебе пишет. Это, брат, понимать надо!

— Ну, что там! — отмахнулся Кольцов. — Вот, Андрюша, позволь тебе, как учителю и наставнику...

Он порылся в мешке и вынул книжечку.

— Тут вот я надписал тебе от всего сердца!

Сребрянский равнодушно полистал книгу.

— Спасибо, — сказал он. — Ну, какой я учитель!

Кольцов внимательно поглядел на друга. Тот сидел, тяжело дыша, сгорбившись, опустив руки на колени.

— Тебе лечиться надо, Андрюша... — ласково сказал Кольцов. — Экой ты стал...

— Что говорить! — горько усмехнулся Сребрянский. — Упущенного здоровья не воротишь... Сожрал меня сей город каменный!

2

С тяжелым чувством шел Кольцов по туманным, прямым и широким улицам Питера. Равнодушно глядели большие окна домов, спешили равнодушные люди, равнодушно падал мокрый снег.

«Что с ним сталось? — думал Кольцов о Сребрянском. — Где его пылкая речь, звонкий смех? Да он и ростом-то словно ниже стал. Эх, Андрюша!..»

Были уже густые сумерки, когда Кольцов пришел к Неверову.

Неверов принял Кольцова ласково, но с той присущей ему чопорностью, которая больше смахивала на сухость и которая, как панцырь, обле-

кала все его существо. Синие очки придавали особенную мертвенность его узкому бритому лицу.

— Я вас уже знаю, — ровным голосом сказал Неверов. — Знаю и по письмам Николая Владимировича, да и по вашей книжечке. Вообще, — Неверов покривился деревянной улыбкой, — вообще же для вас это может быть приятной неожиданностью: вас знают в Петербурге. Мой друг Краевский на-днях сообщил мне, что ваши песни известны Василию Андреевичу Жуковскому и он о них дал весьма лестный отзыв. На то время, — продолжал Неверов, — которое вам понадобится пробыть в Петербурге, вы можете поселиться в моей квартире. Не благодарите, — привстал он, — это удобно и для меня, ибо я располагаю написать о вас биографическую статью. Таким образом, вы у меня будете всегда под рукой, и я, как живописец, стану писать с вас литературный портрет. Это также будет полезно и для вас, любезный Алексей Васильевич, — добавил Неверов, — ибо у меня иногда собираются литераторы, знакомство с которыми может быть для вас и полезно и поучительно.

Неверов потер руки, указал Кольцову его комнату и ушел к себе в кабинет.

3

В канцелярии одного из сенатских департаментов, пригнувшись к закапанным чернилами и сургучом столам и бойко строча гусиными перьями, сидело десятка два чиновников. Деревянная длинная загородка отделяла их от посетителей.

— Виноват-с! — робко сказал Кольцов чиновнику. — К кому обратиться по делам о земельных арендах?

Не поднимая головы, тот махнул рукой в пространство.

Кольцов подошел к другому чиновнику.

— Почтеннейший! — сказал Кольцов. — Мне по земельным арендам...

Чиновник что-то усердно писал, не замечая его. Кольцов покашлял в кулак и снова обратился:

— Почтеннейший!

Господин в шубе нараспашку и в меховом картузе взял Кольцова под руку и отвел в сторону.

— Вы, наверное, впервые здесь, — сказал господин в картузе. — Так вот-с... Чиновник, каналья, рта не откроет, пока вы ему рубля не дадите.

— Спасибо за науку! — улыбнулся Кольцов и, подойдя к первому чиновнику, положил возле его руки рубль. Чиновник накрыл его листом бумаги.

— Вам по арендам-с? — любезно обернулся чиновник. — По каким именно? По земельным? Из седьмого департамента? Ага! Так это вам к Афанасию Игнатьичу! Афанасий Игнатьич! — позвал он соседнего чиновника.

Афанасий Игнатьич обернулся на зов и снова уткнулся в бумаги.

— Виноват-с! — сказал Кольцов, кладя рублик.

— Угу! — кивая головой и смахивая под бумаги рублик, промычал Афанасий Игнатьич. Наконец он поднял голову и рыбьими глазами из-под очков поглядел на Кольцова.

— Фамилия? — спросил он.

— Кольцов.

— По седьмому департаменту?

— По седьмому!

— Не поступало! — бросил Афанасий Игнатьич и снова зарылся в бумаги.

«Ну, — думал Кольцов, выйдя из Сената, — тут мне рога-то пообломают... Экая крепость неприступная!»

Он медленно брел по Невскому. Водоворот людского движения засосал его. Вереницы экипажей, сани, кареты с ливрейными лакеями на запятках, на визжащих и не вертящихся от мороза колесах, бесконечное количество людей и лошадей — все это стремилось в двух противоположных потоках, и во всем этом было такое холодное безразличие, что Кольцову стало жутко.

Какой-то франт, небрежно бросив «пардон!», толкнул Кольцова.

Звероподобный кучер заревел: «Пади!..» — и Кольцов едва успел увернуться от храпящих и дышащих морозным паром вороных рысаков.

«Эх, — вздохнул Кольцов, — в буран на Волге легче было!.. Но, видно, теряться нечего!»

И Кольцов, толкнув кого-то, сказал «пардон!» и смело начал прокладывать себе путь среди людского потока.

4

Кольцов пожаловался на свои неудачи Неверову. Тот тихо рассмеялся.

— Недаром я говорил вам о полезных литературных знакомствах. Завтра у меня будет Андрей Александрович Краевский. Это молодой журналист, но он далеко пойдет. Сейчас он редактирует «Литературные прибавления» к «Инвалиду». Я советую вам не пренебрегать знакомством с этим человеком, — значительно добавил Неверов и увел Кольцова в свой кабинет.

— Вчера, — сказал Неверов, — я говорил вам о своем намерении написать о вас биографическую статью. Для этого мне необходимо знать вашу жизнь. Говорите о себе, ничего не утаивая и не пропуская.

Неверов сел в глубокое кресло и, сложив на коленях сцепленные в пальцах руки, закрыл глаза, что, впрочем, за синими очками не было видно.

Кольцов растерялся. «Чисто на исповеди!» — подумал он и стал описывать ему свою жизнь, в которой, по его мнению, не было ничего любопытного и поучительного. Однако когда Неверов попросил его рассказать о детских годах, Кольцов увлекся воспоминаниями о том, как он свалился с лошади, и о том, как он лазил по чужим садам, и даже о том, как, гоняя все лето по лугам и болотам, он заболел ногами и дома думали, что он «обезножеет».

— Только я скоро поправился, — засмеялся он. — Меня ничто не берет. Все, как на собаке, заживает!

Он говорил о поездках по делам, о скитаниях с гуртами, о красоте цветущих степей. Однако Неверова мало интересовала красота степи. Он больше записывал в тетрадь хронологические даты, но о встрече со Станкевичем выслушал внимательно, улыбнулся, и впервые в его улыбке Кольцову показалось настоящее человеческое чувство.

— Узнаю милого Николя! Среди ночи вскочить, позвать незнакомого человека и упиваться стихами до рассвета... Это необыкновенный и очень хороший человек! — строго закончил Неверов.

— Да я Николая Владимирыча ласку по гроб не забуду! — воскликнул Кольцов.

Он целый вечер подробно рассказывал Неверову о себе, но только о том, что касалось Дуни, он промолчал, и Неверову так и осталась неизвестной история горестной любви Кольцова.

5

Редактировавший «Литературные прибавления» господин Краевский, с которым Неверов свел Кольцова, был невысокий, широкоплечий, большеголовый человек с густыми, причесанными под мужика волосами и тяжелым, пристальным взглядом черных глаз. Он служил помощником редактора журнала министерства народного просвещения, был на виду у министра графа Уварова и стяжал себе славу «преученого человека».

Впрочем, толки об учености Краевского основывались на довольно посредственной статье, написанной по заказу графа Уварова и представлявшей собой компиляцию труда аббата Ботеня «О современном состоянии философии во Франции». Главная мысль этой статьи заключалась в необходимости подчинения философских знаний христианской религии и морали. Этот смехотворный «труд» господина Краевского не заслуживал бы, конечно, никакого внимания, если б не лестный отзыв о нем самого министра и соответствующий приказ, по которому «профессора философии и наук, с нею соприкосновенных», должны были руководствоваться этой статьей в своем преподавании.

Если литературная деятельность господина Краевского была довольно сомнительна, то его житейская ловкость, умение обходиться с людьми и цепкая деловая хватка представляли собой явления незаурядные. Он был принят в лучших салонах столицы. На литературных вечерах у князя Одоевского, где бывали придворные и важные сановники, господин Краевский значительно молчал и домолчался, как говорил Герцен, до того, что и там прослыл умнейшим и образованнейшим человеком. Он стал редактором «Литературного прибавления» и, пользуясь своими обширными знакомствами с литераторами, выпрашивал у них произведения безвозмездно.

— В ваших же, господа, интересах помочь живому делу! — убедительно говорил он, глядя на литераторов своими серьезными темными глазами.

И литераторы, помогая «живому делу», пополняли и кошелек господина Краевского.

Словом, это был журнальный делец, от которого уже начинали зависеть некоторые литераторы и который, по словам Неверова, обещал пойти очень далеко.

Встретившись с Кольцовым у Неверова, он обнял его за талию и с важностью прямо-таки генеральской сообщил, что Василий Андреевич Жуковский очень желает видеть воронежского певца и если почтеннейший Алексей Васильевич располагает свободным временем, то не далее, как завтра, в субботу, он, Краевский, просит Кольцова зайти к нему по указанному адресу для того, чтобы вместе отправиться к Жуковскому.

Он вырвал из книжечки листок, записал адрес и передал его Кольцову.

— Часам к шести прошу пожаловать! — сказал он, и больше во весь вечер Кольцов не услышал от него ни слова.

«Боже мой, все как во сне! — думал Кольцов, поднимаясь по темной лестнице на четвертый этаж дома в Фонарном переулке, где жил Краевский. — Давно ли я в степях или в бедной своей комнатке упивался творениями дивного Жуковского, и вдруг сегодня я увижу его самого, услышу его голос, буду сидеть рядом с ним!»

Кольцов пришел несколько раньше назначенного времени. Он застал господина Краевского за работой. Одетый в диковинный черный шелковый халат и в бархатном черном колпаке, похожий на средневекового искателя философского камня, господин Краевский сидел в своем маленьком кабинете, зарывшись в книги и рукописи. Он молча указал Кольцову на стул, продолжая что-то писать и яростно, по целым страницам, зачеркивать в толстой тетради, лежавшей перед ним на столе.

Наконец, взглянув на золотую луковицу и сказав «пора-с!», Краевский оставил Кольцова одного и пошел одеваться.

Через четверть часа они уже сидели на извозчичьих дрожках, и Краевский своим важным и значительным голосом говорил Кольцову о том, что мнения Жуковского, как воспитателя наследника великого князя Александра, имеют чрезвычайный вес, что с ними считаются при дворе и что если Кольцов сумеет у Жуковского умненько замолвить словечко о своих делах в Сенате, то одного слова, небольшой записки Жуковского или кого-нибудь из его сановных друзей будет вполне достаточно для того, чтобы любое дело в Сенате решилось в пользу почтеннейшего Алексея Васильевича.

— Да ведь совестно этак-то сразу и с просьбами... Я ведь Василия Андреича мало что не за бога почитаю... Поэт высоких и неземных чувств — и вдруг я со своими тяжбишками!

Краевский искоса из-под шляпы глянул на Кольцова и усмехнулся.

— Поверьте, — сказал он, кладя руку в белой перчатке на колено Кольцова. — Поверьте, любезный Алексей Васильевич, что и Жуковскому земные чувства не чужды и он человек не менее, чем мы с вами...

6

Дрожки остановились возле одного из величественных подъездов Зимнего дворца. Огромный, похожий на генерала лакей («Этакому встреться в Воронеже, еще и накланяешься!» — подумал Кольцов) пошел доложить о приезде господ Краевского и Кольцова.

Навстречу им по великолепной широкой лестнице с коврами и статуями в нишах спускался Жуковский. Он был в скромном, сером с бархатными отворотами сюртуке, серых панталонах, и весь он с его незначительным, слегка курносым лицом, бледной плешью, в зализанных височках, с тихим, ласковым голосом — весь он казался бы скромным и серым, как мышка, если бы не андреевская звезда, даже только половина ее, видневшаяся из-под бархатного отворота. Она ослепительно сверкала, переливаясь при свете канделябров игрой бриллиантов, она излучала свой свет, она была то могущество и та власть, которая заставляла людей преклоняться не только перед поэтическим гением Жуковского.

Краевский представил Кольцова. Жуковский ласково пожал его руку своей большой, белой и очень сухой рукой, слегка привлек Кольцова к себе и, улыбаясь, заглянул ему в глаза.

— Волшебник! — сказал он. — Что наделал своими песнями! Вот и Александр Сергеевич от них без ума... И нынче еще хотел быть у меня, чтоб встретиться с вами, да занемог, прислал записку: просит вас, когда вам будет угодно, запросто пожаловать к нему...

— Александр Сергеич?.. Меня?.. Пожаловать?.. — хрипло переспросил Кольцов. — Ваше превосходительство, эта честь...

— Полноте! — перебил Жуковский. — Полноте, мой друг, какое превосходительство, что за чины между певцами?

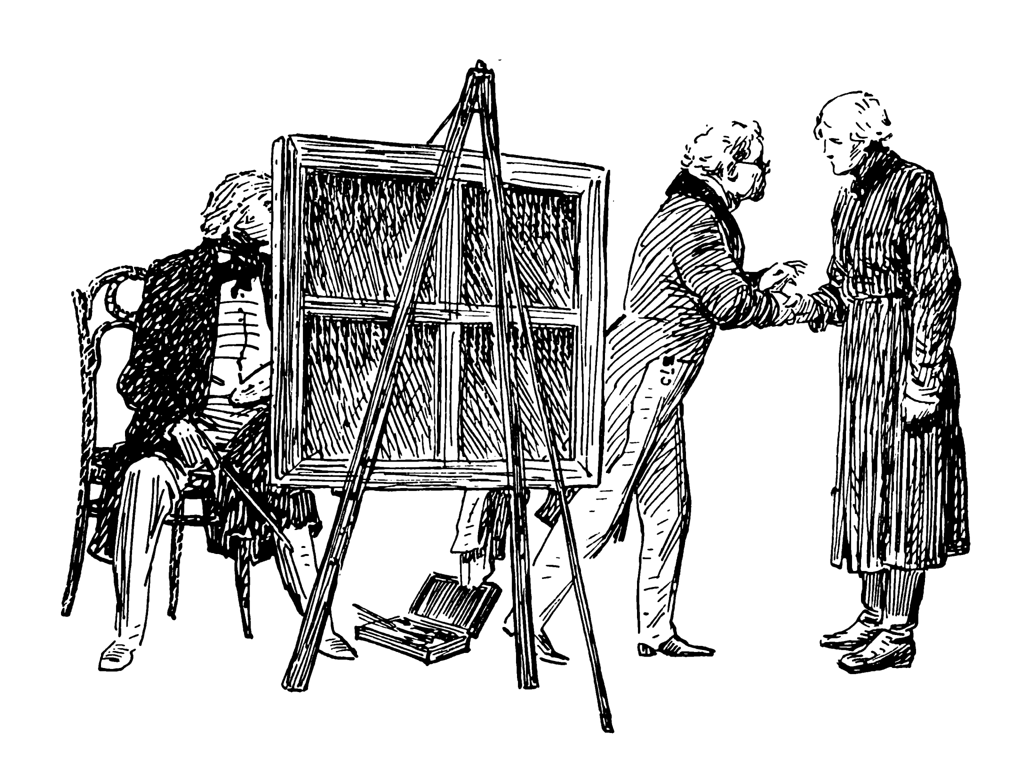
Они прошли ряд больших зал, стены которых отражались в зеркальном паркете. Ярко освещенные залы были так пустынны, а диваны, кресла и статуи так правильно и аккуратно расставлены, что, казалось, здесь жили не люди, а бесплотные, молчаливые, бесшумно скользящие по паркету тени.

В огромном, уставленном книжными шкафами кабинете Жуковского собралось несколько человек его друзей. Двое из них — сухонький чистенький Плетнев и большой, нескладный, в очках на крошечном носике, с толстым лицом, выражавшим одновременно надменность и добродушие, князь Вяземский — сидели на красном сафьяновом диване. Высокий, с красивым и грустным лицом князь Одоевский рылся на книжной полке. Посредине комнаты стоял небольшой мольберт, из-за которого виднелись одни, в узеньких клетчатых панталонах, ноги художника. Пожилой, с седыми височками человек что-то говорил и на что-то указывал художнику. Его круглое розовое лицо со сверкающими очками сияло добродушием и веселостью. Это был художник Венецианов.

— Добрейший Андрей Александрович, — вводя Кольцова в кабинет, сказал Жуковский, — нам нынче сувениром привез воронежского певца. Вот он, Кольцов Алексей Васильевич, прошу любить и жаловать! Князь Петр



К стр. 152



Андреевич! Князь Владимир Федорович, господин Плетнев, художник Венецианов Алексей Гаврилыч...

Одоевский рассыпал книги, подошел к Кольцову и пожал ему руку. Вяземский привстал с дивана и поклонился. Старик Венецианов сдвинул на лоб очки и весело воскликнул:

— Ну, Алексей Васильевич, утешил старика!.. Чистая жемчужина твои песни! Да позволь, позволь, я с тобой попросту, по-стариковски! — Венецианов обнял и расцеловал Кольцова, достал платок, вытер очки и снова нырнул за мольберт.

— Аполлон! — закричал он оттуда. — Ведь угол-то задний у тебя опять жестко, без воздуха... Дай-кось я сам!

Уступив место учителю, художник встал. Это был еще очень молодой человек с открытым и смуглым лицом, на котором веселыми искорками сверкали маленькие черные глазки. Он поклонился Кольцову и стал за спиной Венецианова.

— Мы все, — с любезнейшей улыбкой сказал Жуковский, усаживая Кольцова на диван, — мы все, и слуга ваш покорный, наслаждались прелестными песнями вашими...

Кольцов был смущен. Да и как было не смутиться при виде всех этих сиятельств, звезд, зеркального паркета и, главное, стольких незнакомых и

очень важных господ, имена которых были прославлены и о знакомстве с которыми он не мог и мечтать.

Больше всего его озадачила сдержанность и сухость, с какой поклонился князь Вяземский. «Да оно иначе и не может быть! — подумал Кольцов. — Им любопытно, что я мужик, шибай, а вот сочиняю песни. Да ведь что ж, я не навязывался, меня позвали...»

Он исподлобья поглядел на Краевского. Тот молча, с безразличным видом сидел в кресле напротив и раскуривал сигару.

— Что привело вас, любезнейший Алексей Васильевич, — с добродушной улыбкой спросил Одоевский, — в северную столицу нашу?

Кольцов кашлянул в руку.

— Дела тяжебные заели, ваше сиятельство, — сипловатым голосом сказал он. — Что и в Воронеже можно б прикончить — ан нет! Палата в Питер переслала...

— Как трудно певцу жить в мире грязных и пошлых дел, — вздохнув, сказал Жуковский. — Вместо вдохновенной беседы с музами тратить время на крючкотворство...

— Да ведь что ж сделаешь-то? — развел руками Кольцов. — Из-за куска хлеба бьемся с родителем... Бедному человеку за кусок-то зубами землю грызть приходится!

— А где ваше дело? — спросил Вяземский.

— В седьмом департаменте-с! — сказал Кольцов. — И хоть слухом пользовался, что директор тамошний господин Озеров душа-человек, а поди-кась пробейся к нему сквозь чиновников, — куда там! Стена и стена!

— Позвольте, это какой Озеров? — наморщив лоб, спросил Вяземский. — Не Петр ли Иванович?

— Так точно-с!

— Ну, добрейший Алексей Васильевич, — Вяземский коснулся руки Кольцова, — в таком случае мы, кажется, в силах пособить вам. Я напишу письмецо Петру Ивановичу, он не откажет.

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство, — вставая с дивана, поклонился Кольцов. — Совестно мне докучать вам своими делами, но уж ежели так, то напишите письмецо прямо к нашему воронежскому вице-губернатору господину Шашковскому, — все в его руках дело...

— Извольте! — сказал Вяземский. — Очень понимаю и рад услужить.

— Нет, господа, я прямо и не знаю, как мне вас благодарить! Да и чем бы я мог... — начал Кольцов.

— Полно, полно, Алексей Васильевич! — улыбнулся Жуковский. — Прочтите-ка лучше нам новые стихи. Холодно и пасмурно в северной столице, а песни ваши, как полуденный ветер!

7

Степь, волнующаяся, как многоцветный океан... Она то блеснет ковыльным серебром, то вдруг запестрит ромашкой, и в россыпи этих белых звездочек перельется в буйную траву, разбежится под гору. С огром-

ной высоты виднеется она — беспредельная, с голубой причудливой лентой реки...

Голос Кольцова звучал покоряюще:

Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана,
Вся птичками летучими —
Певучими полным-полна;
Поют они и день и ночь.
То песенки чудесные!
Их слушает красавица
И смысла в них не ведает,
В душе своей не чувствует,
Что песни те — волшебные:
В них сила есть любовная...

Кольцов пел, полузакрыв глаза. Жуковский сидел, откинувшись на спинку дивана. Его лицо выражало бесконечное наслаждение, губы слегка шевелились.

Любовь — огонь; с огня пожар...
Не слушай их, красавица!
Пока твой сон — сон девичий,
Спокоен, тих до утра дня;
Как раз беду наслушаешь:
В цвету краса загубится,
Лицо твое румяное
Скорей платка износится...

И вот могучие волны степи разбежались и ударились о ветхий плетень хуторка. Опершись на изгородь, стоит черноглазая тоненькая девушка в венке из ромашек. Большими печальными глазами она смотрит вдаль.

Стоит она, задумалась,
Дыханьем чар овеяна;
Запала в грудь любовь-тоска,
Нейдет с души тяжелый вздох:
Грудь белая волнуется,
Что реченька глубокая —
Песку со дна не выкинет;
В лице огонь, в глазах туман...
Смеркает степь; горит заря...

Кольцов замолчал. С бессильно опущенными руками он стоял посреди огромного дворцового кабинета, боясь поднять глаза и дивясь своей смелости.

Вяземский снял очки, протер их, снова надел и вздохнул.

— А вы заметили, господа, — восторженно воскликнул Одоевский, — ветер по кабинету прошел.

Стоит она, задумалась,
Дыханьем чар овеяна... —

прошептал Жуковский, покачал головой и вдруг, точно очнувшись от забытья, сказал:

— Я докладывал о вас государю, и Николай Павлович соизволил выразить желание вас принять. Завтра, в десятом часу утра, приезжайте ко мне!

8



По красному, прижатому медными прутьями, стекавшему, как диковинный водопад, ковру Кольцов и Жуковский поднимались по дворцовой лестнице.

Шпалеры камер-лакеев почтительно кланялись Жуковскому. Он был в мундире, шитом золотом, с лентой и звездами, в белых замшевых штанах. В согнутой левой руке он держал шляпу с ослепительным белым плюмажем.

Кольцов шел рядом с Жуковским. Его кафтан, густо напомаженные волосы и пестрый шейный платок с чудовищной булавкой вызывали удивленные взгляды придворной челяди.

На площадке широкой лестницы Жуковский взял под руку Кольцова.

— Будьте почтительны, — тихо сказал он, — но без подобострастия. Свидание ваше с государем значительно: он видит в вас представителя народа.

— Должен ли я что-нибудь сказать? — спросил Кольцов.

— Если государь задаст вам вопрос, — ответил Жуковский.

Они вошли в зал. Со своими огромными колоннами он казался бесконечно высоким. Хоры терялись в косых лучах солнечного света из верхних окон.

Вдоль колонн, отражаясь в зеркале паркета, протянулась вереница фрейлин и придворных дам. Одна из них — носатая старуха с огромным черепаховым лорнетом в костлявой руке — особенно поразила Кольцова своим обнаженным безобразием.

Важные господа со звездами и в лентах стояли напротив дам. Здесь было столько золота, все так играло блеском драгоценных камней, что хотелось зажмурить глаза.

Жуковский несколько раз останавливался и разговаривал о чем-то с некоторыми из этих блестящих господ. В зале стоял ровный гул приглушенных почти до шопота голосов: с минуты на минуту ждали выхода государя. Наконец гул разом оборвался — в зал вошел Николай. Выпячивая ватную грудь и высоко поднимая крутой, начисто выбритый и вымытый подбородок, он медленно пошел вдоль вереницы придворных. Его холодные, выпуклые, точно стеклянные, глаза безразлично глядели прямо и немного вверх, ни-

сколько не оживляя, а, наоборот, еще больше увеличивая мертвенность гладкого фарфорового лица.

— Ваше величество, — глубоко кланяясь и делая шаг вперед, сказал Жуковский. — Вы соизволили выразить желание видеть Кольцова.

Жуковский сделал жест рукой в сторону Кольцова и снова поклонился и попятился назад.

— А! — бесцеремонно беря Кольцова за подбородок, равнодушно воскликнул государь. — Просвещенный без наук природой!

— Какое счастье, — склонился один из свитских господ, — владеть народом, весело слагающим песни!

— А! — вытаращил бесцветные глаза Николай. — Пиши, Кольцов! Солдатскую песню напиши! — неожиданно заключил он, отвернулся и пошел дальше.

— Певец? Какой певец? — сердито спрашивала глухая старуха с лорнетом. — Да где же он поет-то? — допытывалась она, разглядывая в лорнет Кольцова. — Нынче и хористов уже стали государю представлять, — громко сказала старуха и, отведя лорнет от Кольцова и презрительно поджав злые губы, заключила: — Невидный какой!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«...Бывало в тесной моей комнатке поздно вечером сидел один и вел беседу с вами, Пушкиным...»

(Из письма Кольцова к Жуковскому.)

1

Кольцов с утра бродил по Петербургу. Несколько раз он выходил на Дворцовую площадь. Возле недавно поставленной — длинной, с ангелом, — Александровской колонны учили солдат. Вытягивая носки сапог, солдаты в высоких киверах шагали по площади. Резкие голоса дудок свистели, как плети. Кольцов уходил с площади и снова, как в заколдованном круге, возвращался назад, не решаясь итти к Пушкину.

Наконец, пересилив себя, он вышел на Мойку. Вот он, длинный и скучный фасад дома князя Волконского.

Кольцов замирал от мысли, что вот тут, за этой серой стеной, в нескольких шагах от него живет Пушкин.

Кольцов так изучил дом, что, закрыв глаза, мог представить себе эти шесть центральных колонн с пятью окнами между ними и дальше—по десять окон от центра до концов здания. Чуть дальше, по каналу, виднелся горбатый мостик. Мужик стоял, облокотившись на парапет набережной. Шел сбитенщик, ехал извозчик в синем армяке, в чудно́й шапке с железным номером, болтавшимся на спине.

Визжа колесами, к чугунным фонарям возле дверей подъехала карета. Из огромного подъезда вышла красивая дама в собольей шубке. Лакей опустил подножку и распахнул дверцу кареты. Дама вскочила в карету, кучер пошевелил вожжами, и карета понеслась в сторону Невского.

Кольцов вздохнул и побрел прочь. По улицам бегали фонарщики, зажигая фонари. Наступал вечер. Итти к Пушкину все равно было поздно, и Кольцов, досадуя на свою робость, пошел домой.

Так два дня подряд приходил он к заветному дому на Мойке, не решаясь войти в него. Он коченел от холода, забывал про еду, но никакая сила не смогла бы оттащить его от этого длинного скучного дома, куда входили и откуда выходили люди, смеясь, громко разговаривая и, вероятно, не придавая дому того значения, которое придавал Кольцов.

Наконец, прикусив до боли губу, с отчаянно бьющимся сердцем, он вошел в сени пушкинской квартиры.

Высокий седой лакей сказал, что Александр Сергеевич нездоровы и никого не принимают. Кольцов смутился и хотел уйти.

— Да вы не господин ли Кольцов? — спросил старик.

— Да, — робко сказал Кольцов.

— Тогда пожалуйте! — улыбнулся старик и, приняв у него шубу, проводил в комнаты.

В небольшой гостиной его встретила очень красивая черноволосая женщина. Кольцов узнал в ней ту, что намедни садилась в карету. Это была Наталья Николаевна.

— Господин Кольцов? — сказала она, идя навстречу и откровенно рассматривая его. — Александр Сергеевич ждал вас еще позавчера. Он нездоров, правда, — говорила Наталья Николаевна, идя с Кольцовым к дверям кабинета, — но он вас ждет...

— Право, я уйду лучше, — пробормотал Кольцов. — Александр Сергеевич больны, а я буду их беспокоить...

— Нет, нет, — касаясь руки Кольцова, очаровательно улыбнулась Наталья Николаевна. — Александр! — сказала она, приоткрыв дверь кабинета. — К тебе Кольцов... Идите! — прошептала она, слегка подталкивая Кольцова к двери.

2

Услышав о приезде Кольцова, Пушкин передал ему через Жуковского приглашение прийти. Однако Кольцов не показывался. От заехавшего к нему Жуковского Пушкин узнал о представлении Кольцова царю и поморщился.

— О царедворец! — сказал он Жуковскому. — И надо тебе это было делать?

— Поверь, Александр, — сказал Жуковский, — это было надо Кольцову... для его дела, — добавил он.

Пушкин последние дни в самом деле чувствовал недомогание. Скорее всего это было от усталости. С первым номером «Современника» было много возни. Ему пришлось перечитать груду рукописей, он никому не доверял и все, что подавалось в журнал, прочитывал сам. Краевский, правда, помогал ему в хлопотах по типографии, — в эту сторону дела Пушкин почти не вникал, — но когда стали поступать первые гранки, он снова читал их сам, засиживаясь ночами при свечах.

В кабинете стоял беспорядок. Стол был завален рукописями, еще влажными типографскими гранками и книгами. Несколько книг и связки бумаг валялись около стола на полу. Никаких украшений не было на стенах кабинета — только книжные полки поднимались до потолка.

Пушкин сидел за столом в халате, из-за которого виднелся белый воротничок рубахи, распахнутой на смуглой груди. Он был небрит, на веках глаз лежала краснота, обычная у людей, переутомивших зрение.

Пушкин что-то писал и отбрасывал исписанные листки в сторону. Иногда они падали на пол, и он не всегда поднимал их. Наконец перо сделало кляксу. Он поднес к глазам перо, поглядел и, швырнув его на пол, взял из вазочки новое. Новое перо было хорошо, да мысль прервалась, и Пушкин, задумавшись, стал на полях рисовать рогатых человечков.

3

Заслышав шаги, он живо повернулся в кресле, вскочил и быстро пошел навстречу робко стоявшему в дверях Кольцову.

— Ну, здравствуй, любезный друг! — протягивая обе руки и улыбаясь, сказал Пушкин. — Давно хотел увидеть тебя!

Он усадил Кольцова в кресло, сам сел против него, весело поглядел, потер руками колени и засмеялся.

— Вон ты какой! Да не стесняйся, ты думаешь я и в самом деле болен? Вздор, вздор! Это я так всем говорю, чтоб не мешали. А тебя ждал! Что же не приходил?

Кольцов не отводил восторженных глаз от Пушкина. К его удивлению, тот страх, что так настойчиво в течение двух дней жил в нем, исчез бесследно.

— Я, Александр Сергеевич, — сказал он просто, — царя не сробел, а к вам итти как надумаю — сердце заходится!

— Вот спасибо! С царем сравнил! Ну, милый мой, царь не в пример страшнее. Слыхал я, Жуковский тебя к нему таскал?

— Позавчерашний день были...

— Ну и чем тебя порадовал царь? Небось сказал: пиши, Кольцов?

— Как вы угадали? — удивился Кольцов.

— Я все знаю! — весело сказал Пушкин. — Он, царь-то, в тебе, понимаешь ли, символ народности видит!

— Да, верно! Там один какой-то еще и сказал государю: народ, ваше величество, счастлив, он песни слагает...

— Ах, болваны! — Пушкин вскочил и стал ходить по комнате. — Ведь народность-то она, знаешь ли, в чем? Мужики с перепоротыми задами, но в кафтанах праздничных встречают с хлебом-солью своего барина, — народность! Девки крепостные в сарафанах пляшут на лужайке перед барским балконом, пляшут и знают, бедняги, что для того они тут пляшут, что какую-то из них выберет себе барин и приведут ее к нему на постель! И это народность! Листок фиговый она, эта их народность!

Пушкин остановился перед Кольцовым. Его смуглое лицо покрылось румянцем, в глазах сверкнули бешеные огоньки.

— Вот и тебя привели! — воскликнул Пушкин. — Мужик, благодарный монарху, стихи от сладкой жизни сочиняет... А уж так ли, милый друг, сладка она, жизнь-то, у тебя?

— Какое сладка!.. — печально сказал Кольцов. — С малых лет из куля в рогожку моя жизнь пересыпается.

Пушкин стал расспрашивать о Москве, и вскоре Кольцов совершенно

освоился. Он с увлечением рассказывал о литераторе, принявшем его за мистификацию, и о том, как его представили этому литератору.

— То-то воображаю, какую он рожу скорчил! — смеялся Пушкин. — Нет, милый друг, ты им не по сердцу пришелся. В твоих песнях такие нотки прозвучали, каких до сих пор и не слыхивали.

Кольцов рассказал, как судит об этом Белинский.

— Вы с ним прямо как сговорились! — воскликнул Кольцов.

Пушкин много расспрашивал о Белинском.

— Этот отчаянный человек наделает хлопот нашим литературным чиновникам! — сказал Пушкин. — Ну, да и поделом! Ведь после «Литературных мечтаний» Булгарин и сон потерял! Вот бы к нам в «Современник» Белинского, славно бы мы с ним в четыре руки заиграли!..

— Он, Александр Сергеевич, и из Москвы достанет!

— Достанет! — воскликнул Пушкин. — Этот достанет!..

4

Скитания по степи, ночлеги у чумацких костров, длинные гуртовые дороги показались Пушкину поэтичными, и он сказал об этом Кольцову.

— Да, оно так, — вздохнул Кольцов, — кабы не расчеты да дрязги торговые, будь они неладны! Ведь — что греха таить! — в нашем деле подчас и обманывать приходится...

— Что ж делать! Обратная сторона медали всегда нехороша. А ты думаешь, со Смирдиным за строчку торговаться сладко? Ох, брат, как нехорошо! А приходится, ничего не сделаешь... Но песен, — воскликнул Пушкин, — песен-то понаслушался!

— Да, песни у нас хороши! — сказал Кольцов. — В песне народ своей настоящей жизнью живет. Все в ней, как в зеркале. Вон, когда холера была, послушали б, какие песни пели, — сердце разрывается!

— А всё пели? — спросил Пушкин.

— Пели. Но как стоном стонали те песни... Да, песни у нас хороши!.. — задумчиво повторил Кольцов. — Взять хоть нашу «Степь» воронежскую, старинную. Славно пели ее мои дружки-семинаристы!

— Эх ты степь моя, степь широкая, —

вполголоса запел Кольцов, —

Поросла ты, степь, ковылем-травой...
По тебе ли, степь, вихри мечутся,
На тебе ль орлы по пескам живут...
На тебе ли, степь, два бугра стоят,
Без крестов стоят, без приметушки,
Лишь небесный гром в бугры стукает.

Кольцов поглядел на Пушкина. Тот сидел с широко раскрытыми глазами, улыбка теплилась на его губах.

— Лишь небесный гром в бугры стукает, — прошептал он. — В этой одной строчке поэзии на целый том хватит! Лишь небесный гром в бугры стукает... — повторил Пушкин. — Нет, подожди, это надо записать!

И под диктовку Кольцова Пушкин записал «Степь».



— А ты, милый друг, записываешь ли песни? — спросил он у Кольцова.

— Да нет, не приходилось, — ответил Кольцов.

Пушкин вертел в руках листок с записанной песней.

— По тебе ли, степь, вихри мечутся... — пробормотал он. И вдруг, повернувшись к Кольцову, сказал:

— Вот что, Алеша, — ты не обижайся, что я тебя так зову. — Вот что, давай договоримся: будешь записывать песни и присылать мне. Впрочем, не только песни, —всё записывай: сказку, песню, пословицу, прибаутка подвернется или анекдот какой — давай и прибаутку с анекдотом!

— Да зачем же? — спросил озадаченный Кольцов.

— Печатать будем! Ведь это россыпь золотая!

— А ежели соленая будет побрехушка? — усмехнулся Кольцов.

— Ничего, давай и соленую! — рассмеялся Пушкин.

Посидев еще немного, Кольцов стал прощаться.

— Подожди, — сказал Пушкин, взял с полки небольшую книжку, обмакнул перо и, что-то написав на титуле, подал Кольцову.

— Это тебе на память! — сказал он.— Прощай, нет, до свиданья!.. Приходи, когда вздумаешь! — крикнул Пушкин вслед Кольцову. — Обязательно приходи!

5

Сумерки уже наступили. На улице в туманной серенькой мгле тускло горели фонари. С моря тянул влажный вётер, шевелил волосы. Кольцов вдруг вспомнил, что вышел от Пушкина, забыв надеть шапку. Он радостно засмеялся, надел шапку и под фонарем развернул книгу. Это были стихотворения Пушкина. Длинным, косым, непередаваемо изящным почерком на титульном листе чернела надпись: «Милому другу Алексею Кольцову — Александр Пушкин».

— Святыня! — тихо сказал Кольцов, поцеловал надпись и бережно спрятал книжку за пазуху.

Ему хотелось громко запеть, обнять близкого друга, да нет, что друга — всех обнять! Вон старушка в салопе ковыляет — экая славная старушка! Вон

фонарщик зажег все фонари, идет домой — и фонарщик хороший малый! А вон извозчик, старичок, наверно озяб, бедняга, дожидаючись седоков.

— Эй, извозчик! В Измайловский полк!

Перед глазами на сгорбленной спине извозчика болталась желтая бирка с номером.

— Дед! — позвал Кольцов извозчика. — Ты Пушкина знаешь?

— Александр Сергеича-то? — обернулся старик. — Как не знать, второй год возле их фатеры стоим... Ничего... Хороший барин, простецкий...

— Дед, я у него сейчас в гостях был!

— Ась?

— В гостях, говорю, у Пушкина был! — закричал Кольцов.

— А-а-а... Ну что ж... Ничего... — закивал головой извозчик. — Оно для субботнего дня ничего, можно... вино и елей разрешается.

Кольцов засмеялся. «Вино? — подумал он. — Тут, брат, без вина пьян станешь! Господи, да вот же счастье привалило-то!»

6

У Сребрянского сидел Феничка. Порожняя бутылка валялась под столом. На столе, между книгами и черепом, лежали огурцы, в луже рассола мокли корки хлеба.

— Алеша! — равнодушно глянув на Кольцова, сказал Сребрянский. — Опоздал, брат: опрокинули бутыленцию.

— Согрешихом! — сокрушенно прорычал Феничка. — Согрешихом беззаконновахом!

— Андрюша! — крикнул Кольцов с порога. — Милый мой, ведь я сейчас у Пушкина был!

— Врешь, поди, — вяло сказал Сребрянский. — Пыль пускаешь...

— Да нет, правда, экой Фома неверный! — Кольцов обнял Сребрянского. — Ей-богу, Андрюша! И ведь сам позвал! Ну, я робел, не сразу осмелился — и вот нынче набрался храбрости...

Сребрянский поднял голову и насмешливо поглядел на Кольцова.

— Эх, Алешка, да и врать же ты стал горазд! — сказал он.

— Экой чорт! — рассердился Кольцов. — Тебе говорю: был, значит — был! Да вот! — радостно спохватился он, вспомнив про книгу. — Вот, гляди!

Он вынул книжку и раскрыл ее на титуле. Феничка поправил свечу и, наклонившись через кольцовское плечо, прочитал:

— «Милому другу Алексею Кольцову — Александр Пушкин»!

— Теперь веришь? — торжествующе воскликнул Кольцов.

Сребрянский взял книгу, прочитал подпись и положил голову на руки.

— На, возьми, — протянул он книгу, не глядя на Кольцова. — Возьми свое сокровище, замкни его на ключ! Как замыкал Кашкин... Куда ж нам до вас: Пушкин, Кольцов...

— Да что с тобой, Андрюша?! — тихо сказал Кольцов. — Родной мой, да что ты?

— Пьян! — буркнул Феничка.

— Пьян?! — вскочил Сребрянский. — Фенька, это я пьян? Скотина! Да как ты смел?!.

Сребрянский оперся руками о стол. Темные глазные впадины, худые, смертельно бледные щеки со ржавчиной неровного румянца, волосы, упавшие на лоб, — все это было так страшно и так не похоже на прежнего Сребрянского, что Кольцов вздрогнул.

— Что — пьян! — усмехнулся Сребрянский. — Эка штука, всякий дурак пьяным напиться может... Нет, ты вот попробуй, друг, себя осмысли! Ос-мы-сли! — крикнул он и закашлялся.

Он долго и мучительно кашлял, плевал в грязный платок и, видно, хотел говорить. По щекам его текли слезы. Феничка принес воды, дал Сребрянскому. Стуча зубами о стакан, он с жадностью выпил воду и, обессиленный, повалился на постель.

— Лучше вы его оставьте! — шопотом сказал Феничка. — Это у него бывает. Гений! — всхлипнул Феничка. — Погибает гений наш семинарский! А вы оставьте его сейчас! — снова зашептал он Кольцову.

Кольцов надел шапку.

— Феофан Петрович, — сказал он вполголоса Феничке. — Деньги у вас есть?

— Какие наши деньги? — усмехнулся Феничка. — Ведь я-то, стыдно сказать, второй месяц у него на шее сижу! Да вы не беспокойтесь! — замахал он руками, видя, что Кольцов достает бумажник. — Мне завтра в капеллу велели приходить.

Кольцов положил на стол сотенную бумажку, пожал Феничке руку и вышел.

7

Несколько дней Кольцов ходил как потерянный, не зная, за что взяться и с чего начать. Радость от встречи с Пушкиным была омрачена обидой и болью за Андрея. Как могло получиться, что талантливый, умный и образованный Сребрянский превратился в горького пьяницу, не верящего ни в себя, ни в людей, ни во что?..

Андрей погибал, — Кольцов видел это, — но как, чем помочь ему, что нужно сделать для того, чтобы Сребрянский вернулся к жизни, — Кольцов не знал. Неверов, когда Кольцов рассказал ему про Сребрянского, только улыбнулся:

— Э, батенька! Этот город еще и не таких людей засасывал!

И начал своим ровным голосом говорить всем известные и скучные истины: что чрезмерное употребление вина вредно влияет на умственные способности, что человек должен иметь ясную и четкую цель своей жизни и прочее и прочее.

Неверов надоел Кольцову, и он никак не мог понять, что сблизило двух таких противоположных по уму и темпераменту людей, как Станкевич и этот чопорный магистр.

Однако среди петербургских литераторов Неверов был свой человек.

У него собирались писатели, поэты, журналисты, читали стихи, спорили. У Неверова Кольцов свел знакомство со многими литераторами.

Кольцов был новинкой, на него приходили посмотреть, его наперебой приглашали на вечера, обеды, в салоны. Этот интерес, впрочем, основывался только на том, что он был прасол, погонщик скота, мужик. На его талант и ум поглядывали свысока. Прославленный Кукольник при встрече с Кольцовым подал ему два пальца. Кольцов не заметил протянутой руки, усмехнулся и, как ни в чем не бывало, продолжал разговаривать с Краевским. При следующей встрече автор «Роксоланы» подал Кольцову руку и преподнес экземпляр «Торквато Тассо».

Книги дарили все. Кольцов набил ими мешок.

На одном из литературных вечеров, — это было у Плетнева, — Кольцов снова встретился с Пушкиным. Здесь были Одоевский, украинец Гребенка, молодой Тургенев и жандармский офицер Владиславлев, который писал благонамеренные повести и собирался издавать (с благословения шефа жандармов графа Бенкендорфа) свой альманах.

Пушкин попрежнему выглядел очень усталым или больным. Увидев Кольцова, он оживился, сел рядом с ним в стороне, возле камина и все время вполголоса, пока Гребенка читал какую-то свою украинскую повесть, болтал с Кольцовым. Пушкин очень смешно отрекомендовал Кольцову каждого из собравшихся. Про Гребенку, который писал повести в духе гоголевских «Вечеров», Пушкин сказал, что если бы сальная свечка вздумала подражать солнцу, то у нее все-таки было бы больше огня, чем у Гребенки.

— А этот жандармский журналист, — намекая на Владиславлева, спросил Пушкин, — не выцыганивал ли у тебя стихов для своего альманаха?

— Спрашивал, — улыбнулся Кольцов. — Я дал несколько пьес.

— Это хорошо. Если тебе когда-нибудь случится сидеть на съезжей, то через протекцию Владиславлева ты можешь получить отдельный комфортабельный чулан...

Чтение кончилось. Плетнев сказал, что повесть значительно выиграла бы, если бы не были опубликованы сказки Рудого Панька. Жена Плетнева спросила, что такое паляныця. Владиславлев выпятил грудь и предложил Гребенке отдать повесть в его альманах.

Гребенка замялся: он обещал ее Краевскому.

— Отдай, отдай! — громко сказал Пушкин. — Отдай, Евгений Павлыч, добром просят!

Все засмеялись. Владиславлев, пропустив мимо ушей замечание Пушкина, принялся раскуривать трубку.

Слуги принесли чай и бисквиты.

— Я не собирался нынче читать, — сказал Пушкин, — но у меня есть одна забавная безделка, я хочу, чтоб ты послушал, — шепнул он Кольцову. — Владимир Андреич! — крикнул он Владиславлеву. — Вот у меня не возьмете ли?

Жил-был поп,
Толоконный лоб... —

начал читать Пушкин. Читал он хорошо, немножко подделываясь под псковский говорок. Кольцов с восхищением глядел на него. «Великан! — думал он. — Где он научился этому мужицкому балагурству! Только, что ж, разве эти господа поймут!..»

— Озорная сказка, — сказал Одоевский, когда Пушкин умолк. — Ты, Александр, шутишь...

— Нет, не шучу нисколько! — пожал плечами Пушкин. — Так возьмете, а? — обратился он к Владиславлеву.

— Возьму-с! — прихлебывая чай, важно сказал Владиславлев. — И на обложке помещу ваше имя. А сказку печатать не буду-с! Извините.

— Вот спасибо, обрадовал! — насмешливо поклонился Пушкин и, сославшись на нездоровье, стал прощаться.

8

Когда он ушел, Владиславлев сказал:

— Препустая, однако, вещица... Кто бы мог ожидать от Пушкина?

Князь Одоевский покачал головой и грустно вздохнул:

— Я не узнаю Александра! Он стал разменивать свой гений на шутки. Мне больно за него...

— Да, — сказал Плетнев. — К сожалению, это так. Весь ряд его русских сказок, я бы сказал...

— Нет, почему же? — перебила его жена. — В них есть премиленькие места, и если б не эта вульгарность...

— Вот именно, вульгарность, — согласился Плетнев.

— Помилуйте, что вульгарность! — раздраженно сказал Владиславлев. — В них карикатура на такие святые для русского человека понятия, как религия, монарх! Возьмите «Золотого петушка»... За такие штучки высылать надо-с! И если бы это был не Пушкин...

— Позвольте, господа, — вступил в разговор Кольцов. — Я не согласен с вами. Как можно так говорить о величайших творениях народного гения? Да ведь это сама Русь в Александр Сергеичевых сказках. Это так ясно-с! Другая речь, что иной раз солоноваты они... Ну, да уж где ж сказка без соленого словца?

— Вот как? — насмешливо сказал Владиславлев. — Этак, знаете, и пересолить можно!

Желая замять неприятный спор, Плетнев попросил Кольцова прочитать стихи.

— Ну что вы! Увольте, — смутился Кольцов. — У меня и нет ничего. Да и как бы я стал читать свои безделки, когда тут только что Александр Сергеич читали!

Высокий красивый юноша в студенческом мундире, разговаривавший с князем Одоевским, обернулся к Кольцову и пожал ему руку.

— Нас не представили друг другу. Моя фамилия Тургенев. То, что вы сказали о сказках Пушкина, очень верно, и я с вами совершенно согласен!

9

Картина, которую в кабинете Жуковского писал венециановский ученик Аполлон Мокрицкий и которую поправлял сам Венецианов, называлась «Суббота у Жуковского». На ней был изображен кабинет Жуковского и те литераторы, которые собирались у него. В центре картины, на сафьяновом диване, сидели Пушкин, Крылов, князь Вяземский. Одоевский стоял поодаль, возле книжных полок. Хозяин, опершись на бюро, что-то говорил.

Когда Кольцов впервые побывал у Жуковского, Венецианову пришла мысль изобразить на картине и Кольцова. Он сказал об этом Жуковскому, и тот нашел мысль удачной.

— Это и в композиции станет очень хорошо, — говорил Венецианов. — Вот здесь, возле дивана, мы поставим Алексея Васильевича. Прекрасно будет! Что?

Он, поднимая на лоб очки, вызывающе поглядывал на Жуковского.

— Отлично, отлично! — сказал Жуковский. — Я извещу Кольцова, он не откажется позировать.

— Да я его у себя в мастерской и впишу!

Кольцова известили, и в ближайшее воскресенье он отправился к Венецианову.

Небольшая мастерская Венецианова была заставлена мольбертами, подрамниками с натянутым на них серым холстом, гипсовыми статуями, какими-то подмостками. В углу были свалены грабли, косы, брошен сноп ржи. На стульях и на полу валялись цветные платки, сарафаны, лапти и даже старый хомут. На подмостках стояла молоденькая девушка в синем сарафане и в лаптях. Опустив глаза и задумавшись, она покусывала соломинку. Молодые художники, заросшие бородами, с различных мест писали задумавшуюся девушку. Писал и сам Венецианов.

Увидев вошедшего Кольцова, он бросил кисти на табурет, вытер полой серого халата руки и пошел навстречу гостю.

— Вот хорошо, что пришел! — радостно воскликнул Венецианов, обнимая Кольцова. — А я уж сомневался: известили ли? Иди сюда... — махнул он в дальний угол мастерской. — Ты ведь не откажешь старику, постоишь часочек?

— Господи, Алексей Гаврилыч, да я хоть весь день стоять согласен!

Венецианов повернул мольберт к окну, и Кольцов увидел почти законченную картину.

— Неужто ж вы и меня сюда вписывать будете? — испуганно спросил он.

— Всенепременно! — воскликнул Венецианов. — Вот сюда!

И он щелкнул ногтем по пустому месту в центре картины, между диваном и бюро.

— Вот тут ты, дружок, и станешь! Что?

Он подбоченился и весело блеснул очками на Кольцова.

— Да мне, Алексей Гаврилыч, прямо совестно: больно уж честь высока!



Венецианов порылся в карманах, вытащил табакерку, понюхал, еще понюхал, с наслаждением чихнул и вытер огромным платком выступившие слезы.

— Честь! — сердито сказал Венецианов. — Кому честь? Это князю Петру Андреевичу с вот этим хлюстом (он ткнул табакеркой в Краевского) — им великая честь с тобой рядом быть... Ты сядь! — указал он Кольцову на диковинное деревянное кресло, сделанное из дуги, тележного колеса и еще каких-то предметов сельского обихода. — Ты сядь! — повторил он.

Кольцов сел. Венецианов стал против него, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

— Видишь ли, — сказал он, — у нас с тобой одна тема: мужик. И, заметь, мужик, не пляшущий в утеху барину, а работающий, как он есть, настоящий. Про меня чего-чего не писали! Вон в «Пчелке» еще намедни какой-то стрекулист в статейке тиснул, что господина Венецианова картины овчиной и дегтем воняют. А? Нет, Алексей Васильевич, рабовладелец никогда не простит художнику, если он мужика, то-есть раба его, вещь, изобразит не вещью, а человеком! Но мы-то с тобой, — воскликнул он, — мы-то ведь, по сути дела, и сами мужики! И мы-то очень хорошо понимаем, что мужик — не вещь! Да-с!..

Венецианов запальчиво огляделся кругом, поднял на лоб очки, засмеялся и, постучав пальцем по табакерке, снова понюхал.

— И это очень хорошо, что вот здесь, — он указал на картину, — центральное место будет занимать не князь и не граф, а мужик! Пора, давно пора искусствам нашим к жизни лицом своим повернуться, лицом!.. И вот, — Венецианов торжественно поднял палец, — и вот в музыке мы видим Глинку, на подмостках театральных — Щепкина, в поэзии — Кольцова...

— А в живописи, — звонко крикнул из-за мольберта Мокрицкий, — Венецианова!

— Да-с! И Венецианова! — сердито воскликнул художник. — Вот так-то, любезнейший Алексей Васильевич! — ласково потрепав Кольцова по плечу, заключил Венецианов. — А ты говоришь — честь!..

10

Дела были закончены. По одному из них в Сенате (благодаря вмешательству Одоевского) решили в пользу Кольцова, а по другому князь Вяземский написал письмо воронежскому вице-губернатору, и можно было ожидать благоприятного решения в Воронеже.

Приближалась весна. На бледном небе Петербурга все чаще показывалось солнце. Давно пора было ехать ко двору, да Кольцов со дня на день откладывал отъезд. Всякий раз находилась причина: то Гребенка получал посылку «з ридной Украины» и звал к себе на сало и паляныци; то Венецианов тащил в Эрмитаж, и там, замирая от восторга, они пропадали по целым дням перед Тицианом и Рубенсом; то Неверов, дописывавший биографию Кольцова, просил побыть еще немного, чтобы прочесть ему ее всю целиком; то слег Сребрянский, и Кольцов подолгу просиживал у него, ухаживая за ним и читая ему вслух.



Так шли дни, таяли деньги. Кольцов вывернул наизнанку кошелек и пересчитал мелочь. Можно было бы занять у знакомых, да просить было стыдно. Наконец он признался во всем Неверову. Тот сказал, что у него сейчас денег нет, но Краевский хоть и скуп, а даст, потому что имеет виды на Кольцова. Краевский в самом деле принес деньги. Кольцов поблагодарил и стал собираться.

Ему хотелось еще раз увидеть Пушкина. Он исправно приходил на субботы к Жуковскому, рассчитывая встретиться там с Пушкиным, но тот не показывался. Жуковский, улыбаясь, говорил: «Александр хандрит».

Из новых знакомых ему очень понравился Панаев, и Кольцов несколько раз побывал у него. Панаев был франт, весельчак; он много и добродушно смеялся, когда Кольцов рассказывал о своих питерских похождениях, о том, как свысока и по-барски принимают его кое-какие литераторы, видя в нем мужичка-простачка.

— Взять хоть Гребенку, — говорил Кольцов. — Слов нет, славный господин, но как посмотрит на тебя этак поверх головы — фу ты, боже мой! А ведь не глупее же я Евгений Павлыча!

Получив от Краевского деньги и назначив себе на завтра отъезд, Кольцов пошел к Пушкину. Ему давно хотелось подарить Пушкину свою книжку. Однако мысль эта показалась Кольцову дерзкой, и хотя он тогда же на титуле написал: «Великому солнцу поэзии русской А. С. Пушкину от Алексея Кольцова», но передать книгу до самого отъезда не решался.

Стоял теплый апрельский день. Над Петербургом сияло непривычно голубое небо. Нева почернела, с моря тянул резкий влажный ветер. С бьющимся сердцем Кольцов подходил к дому на Мойке и, может быть, как и

в первый раз, долго стоял бы возле, не решаясь войти, если бы из подъезда не вышел сам Пушкин.

— Алеша! — воскликнул он. — Ко мне? А я первый раз за две недели отважился из дому выбраться. Может, пройдемся? День-то какой!

Они пошли не спеша по набережной. Ветер играл полами пушкинской альмавивы, солнце сияло на глянце шляпы. Пушкин шел, разбивая тростью тоненький ледок на не оттаявших с утра лужах.

— Жаль, что уезжаешь, — сказал Пушкин. — Вот-вот первый номер «Современника» выпустим, в Москву повез бы, друзьям показать... Любопытно, что Белинский скажет!

— Одно, Александр Сергеевич, знаю: ждут в Москве «Современник», и с нетерпением ждут!

— Боюсь, слабоват будет первенец! — усмехнулся Пушкин. — Ну, да лиха беда — начало...

На набережной, возле спуска к реке, стояли, отдыхая, двое молодых ребят. Один был калашник, другой, судя по веревкам и крючьям за спиной, — грузчик. Калашник в лихо сдвинутом набекрень картузе поставил свой короб с калачами на камень и читал грузчику какую-то книжечку. Грузчик внимательно слушал, чтение, видно, нравилось ему, и он, выражая свои восторги, то и дело хлопал руками о полы заплатанного армяка.

— Давай послушаем. — Пушкин взял Кольцова за руку. — Мы как будто на Неву смотрим.

Они остановились недалеко от чтеца и стали глядеть на реку.

— «На по-ля... са-ды... на зе-ле-ные... люди сель-ские не на-смот-рят-ся...» — читал калашник.

— Эх, ты! — хлопал руками грузчик. — Вот, парень, это книжица!..

— А что? — Пушкин лукаво поглядел на Кольцова. — Ведь и в самом деле хорошая книжка!

— Александр Сергеевич, — волнуясь и краснея, сказал Кольцов. — Не погребуйте! От всей души, с великою любовью! — И он протянул Пушкину свою книгу.

11

В Москве еще лежал снег, держались морозы, а за Ельцом пошли черные поля, теплынь, жаворонок висел в нежном весеннем небе. От земли поднимался легкий пар, синели задонские холмы и лесочки. Дорога была трудна, потные лошади шлепали по вязкой глине, колокольчик кое-как лениво позвякивал. До Воронежа оставалось верст тридцать. На последней перед Воронежем ямской станции смотритель голенищем рыжего старого сапога раздувал самовар.

— Лошадей-то, сударь ты мой, — поглядев из-под очков на Кольцова, сказал он, — лошадей нету и нету. И скоро не жди. Вот посиди, чайку попей, — глядишь, и лошадки подоспеют... Не фельдъегарь, чай, не к спеху.

Смотритель наставил на самовар трубу, отошел к конторке и начал что-то записывать в большую служебную книгу.

Вскоре за окном послышался колокольчик и грохот подъезжавшего тарантаса.

Рослый офицер в забрызганной грязью шинели, гремя саблей, вбежал в избу и бросил на конторку свою подорожную.

— Лошадей, сударь... — начал было смотритель, но офицер, увидев Кольцова, бросился к нему и сжал его в богатырских объятиях.

— Саша! — обрадованно воскликнул Кольцов. — Вот так встреча! Чуть не разминулись. Ну как ты тут?

— Что я! — Кареев не выпускал Кольцова. — Что я! Ты как? Рассказывай, что в Питере? Пушкина видел ли?

— Ах, Саша! — сказал Кольцов. — И не только видел, а вот так, как с тобой, рядом сидел, разговаривал... Что за человек, Саша!.. Ведь он, гляди-ка, чем одарил меня!

Кольцов расстегнул кафтан и достал из-за пазухи мешочек. Бережно развязав шнурок, он вынул книжку и, развернув ее на титуле, подал Карееву.

— Святыня! — сказал Кольцов.

— Ну, Алеша! — вздохнул Кареев, прочитав надпись. — Это, брат, и слов нету... Святыня!..

Карееву подали лошадей.

— Прощай, друг! — обнял он Кольцова. — Ведь я тоже в Питер и, кажется, надолго, раньше зимы не жди. Будь здоров, родной!

Он поцеловал Кольцова и пошел к двери. Кольцов вышел его проводить. Уже сидя в тарантасе, Кареев крикнул:

— А ведь и я, может, Пушкина-то увижу! Вот бы счастье!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Всему конец — могила;
За далью — мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой.

А. Кольцов

1

Василий Петрович, когда Кольцов рассказывал о своей жизни в Питере, ничему не верил и насмешливо поглядывал на сына из-под бровей. Рассказ же о приеме во дворце встревожил старика.

— Ох, Алешка, ты бреши, бреши, да не забрехивайся! Дело не шуточное, языком трепать понапрасну нечего...

Однако дела в Сенате были решены хорошо, письмо к вице-губернатору от князя Вяземского было в кармане, значит, думал Василий Петрович, тут хоть и не без брехни, конечно, но что-то и было... «Ах, сукин сын! — сокрушался старик. — Цены б не было малому, коли б не эти песенки, шут их возьми!»

В Воронеже стали посматривать на Кольцова с некоторой боязнью. Кто ж его знает, с князьями запросто, вон, говорят, у царя был...

Василий Петрович смекнул, что такие слухи об Алексее в делах не повредят, и стал хвастать сыном где только можно. Однажды он зашел в лавку к купцу Мелентьеву. Тот усадил Василия Петровича и стал поить чаем.

— Да, — сказал Мелентьев, — вот ты все на сына жалился, а гляди — в гору пошел Алексей-то!

— Бога гневить не буду: Алексей — малый с головой... Как из Питера вернулся, так иде там!.. Песни его в книжке отпечатали, житие его описали, да верно так, леший его возьми!

— Ну, так ведь что ж. Сам государь-император за ручку здоровкался... тут уж чего!

— Там, брат, в Питере-то, — продолжал Василий Петрович, — вокруг Алешки и князья и графья взбегались: «Алексей Васильич, Алексей Васильич! К нам пожалуйте!» А он им: «Ладно, — говорит, — другим разом, сейчас, мол, недосуг: во дворец поспешаю!»

«Житие», о каком в мелентьевской лавке хвастал Василий Петрович, была та самая, сочиненная Неверовым, биография, которая была напечатана в одной из летних книжек «Сына отечества».

Неверов прислал Кольцову этот журнал, и старик позвал Анисью и велел прочитать ему вслух «Алешкино житие».

— Ну, паралич вас расшиби! — слушая, удивлялся он. — С чего это взялись за Алексея? Невелика птица, чтоб его жизнь описывать!

Статья Неверова ходила в Воронеже по рукам.

2

В квартире гимназического учителя Добровольского за ломберным столом сидели гости: преподаватель латинского языка Дацков, математик Долинский и Придорогин, молодой человек из купцов, собиравшийся поступать в Московский университет.

Супруги Добровольские хлопотали возле закусочного стола.

— Баста! — воскликнул Долинский, хмурый человек со сросшимися седоватыми бровями. — Финита ля комедиа! Получите-с!

Он положил на зеленое сукно проигрыш.

— Не повезло, Семен Яковлевич? — любезно спросил хозяин.

— Куда там! В пух и в прах просадился! — мрачно пробурчал Долинский. — Да с ними хоть не садись, право!

— Рискованно играете, — пряча выигрыш и показывая гнилые зубы, захихикал Дацков. — Нерасчетливо-с!

Часы пробили девять.

— Ну что ж это Иван Иваныч-то? — спросил хозяин. — Обещал быть, сулился свежий журнальчик принести — и вот тебе!

— Господин Волков — поэт-с! — ухмыльнулся Дацков. —А поэты народ известный... Все больше по звездам-с!..

— Ну, не скажите... — заметил Долинский. — Вон Кольцов у нас, возьмите: поэт, поэт, а я вчерась иду по базару, гляжу, а он с полков салом торгует...

— Коммерция! — вставил Придорогин. — Житейское дело...

— Да и какой он поэт? — размахивая чубуком, сказал Дацков. — Так шум подняли, потому что из необразованных. А я скажу — мелкая его поэзия, копеечная...

— А вы, Иван Семеныч, различаете поэзию на деньги? — улыбнулся Придорогин.

— Это я фигурально, конечно, — сказал Дацков. — В том смысле, что мелкие чувства. Возьмите хотя бы из новейших: Кукольник, князь Вяземский...

— Эка!.. Так то князь, — буркнул Долинский.

— Ба, ба! Вся гимназия налицо! — воскликнул Волков, входя в комнату. — Эмилия Егоровна! — Волков приложился к хозяйкиной ручке. — Семен Яковлевич! Иван Антоныч! Мосье Придорогину нижайшее!

Волков был вертляв. Фалды фрака словно летали за ним.

— Ну, господа, вот чудо, так чудо! — воскликнул он, усаживаясь в кресло.

— Что такое, Иван Иваныч? Не томите, рассказывайте! — раздались восклицания.

— Да вот-с! — Волков потряс книгой. — Вот-с, все про Кольцова нашего... И чем он, каким зельем опоил он их там, в столицах?.. Мало что песенки его пустячные в журналах тискают, так вот еще извольте-с! «Сын отечества» его жизнеописание помещает! Извольте послушать! «Вышед из училища, — читал Волков, — Кольцов начал помогать отцу, ездил с ним в поле для надзора за скотом и зимою ездил на базары с приказчиками для забора и продажи товаров». Каково-с! Или вот: «...ходя босиком по болотам и лужам, мальчик Кольцов до того испортил свои ноги, что почти лишился способности ходить...» А? «Четьи-минеи», да и только!

— Непостижимо-с! — развел руками Дацков.

— Ну-с, господа, — потирая руки, подошел Добровольский. — Оставим поэзию, перейдем к прозе. Пожалуйте к столу...

3

А Кольцов тем временем вторую неделю колесил по степи. На троицын день он остановился в большом придонском селе. Село раскинулось по горе над рекой. Широкая улица была убрана молодыми березками. Под ними сидели по-праздничному одетые бабы и девки. Кольцов вышел на крыльцо. Отсюда была видна улица, сбегавшая по горе, и голубая лента Дона с рукавами, озерами и заводями. Где-то пели протяжную песню. Кольцов пошел в ту сторону. Возле плохонькой избенки собрался народ.

Как у князя было, князя,
У князя Валконскова,
Собиралася беседа —
Беседа веселая,
Она пила и гуляла, —

низким, почти мужским голосом выводила краснощекая баба в кокошнике и в сарафане, с мощной шеей, увешанной снизками бус.

Она пила и гуляла, —

подхватили женские голоса, —

Она пила и гуляла,
Прохлаждалася,
Молодыми женами
Князья выхвалялися...

Кольцов молча поклонился старикам, присел рядом с ними на завалинку, достал тетрадку и стал записывать. Это было очень трудно, потому что хор часто опережал его, некоторые слова были неразборчивы. Приходилось оставлять пустые места.

— Списываешь, значит? — толкнув его клюкой, прошамкал древний дед.

— Списываю, дедушка! — ласково улыбнулся Кольцов.

— Ну, ничего, списывай! — сказал старик. — Ты им, сынок, ишо винца поставь, — они тебе не токма песню — сказки сплетут...

— Не хвались, Волконской князь,
Ты своей княгиней... —

стонали женские голоса, —

Как твоя ли та княгиня
Живет с Ваней-клюшником,
Живет-поживает
Ровно три годочка... —

подхватили певцы и замерли с подголоском, чтобы снова уступить место запевале.

Когда кончилась песня, все окружили Кольцова. Бойкая чернявая бабенка заглянула в тетрадку.

— Бабы! — всплеснула она руками. — Глянь-кось, крючкёв-то понаставил! Это что же будя? — обратилась она к Кольцову.

— Да вот хотел песню вашу записать, — сказал Кольцов, — да кое-чего не схватил. Вот кабы вы, милые бабочки, еще бы разок мне спели.

— Почему не спеть? — молвила краснощекая запевала.

— А винца поставишь? — смеясь, высунулась чернявая. — Так мы хучь и всю ночь, до свету!

Старики засмеялись.

— Ишь ты, Васёнка, разлакомилась! — погрозил ей палкой тот, что говорил с Кольцовым. — Бесстыжая, пра, бесстыжая!..

— Дядя Савелий! — окликнул Кольцов мужика, стоявшего на пороге избы. — А что б нам, и правда, горлушки пополоскать?

— Дюже пересохло! — не унималась Васёнка. — Першит, да и на!

— Будя брехать-то! — дернула ее за рукав запевала.

Как у князя было, князя, —

затянула она.

Кольцов снова склонился над тетрадкой.

4

Дядя Савелий принес два полштофа, жбанчик с бражкой и картуз с пряниками.

— Вчерась сварил, — сказал он, хлопнув по жбану, — забориста! Да что ж тут-то? Пожалуйте в избу, — обратился он к Кольцову. — Хоть и тесновато будет, ну да всем место найдем.

Бабы засовестились.

— Да уж мы лучше тута, — степенно поклонилась запевала.

— Ну, глядите! — сказал Савелий, наливая вино в стаканчик. — Была бы честь, правда, Васильич? Верно, старики?

Старики выпили, перекрестившись. Бабы стали жеманиться, — они жмурились, качали головами. Васёнка, наконец, сказала: «Ну, нешто пригубить!» — и выпила одним духом.

— Вот это пригубила! — засмеялись старики. — Ну, ей что, — вдовье дело!

Солнце стояло уже над садами. От Дона повеяло вечерней прохладой. Белые стены изб стали красноватыми.

Ты заря ль, моя зоренька,
Ты вечернее солнышко... —

потихоньку запела та, в кокошнике, —

Высоко ты всходило,
Далеко светило...

Пели вполголоса. Песня была печальная, она как бы замирала вместе с последними лучами заходящего солнца.

Через лес, через поле,
Через синее море...

— А ну вас! — плюнул Савелий. — Чисто по покойнику завели. А ну-кося! — Он притопнул ногой и зачастил:

Волвена, волвенушка,
Белая белянушка!..

— И-их! Их! Их! — вскрикнула Васёнка.

Как тебе зимою быть,
Как тебе холодною!

Бабы вскочили и пошли в дробном переплясе, приговаривая:

Я морозу не боюсь,
Я в куст схоронюсь!

— И-их! Их! Их! — притопывала черноглазая Васёнка.

— Чище! Чище! — вскрикивал Савелий. — Как, Лексей Васильич? Во как у нас! Мы, брат, тебе ишо и не то покажем! Чище! Чище! — прихлопывал он в ладоши.

— Эх, и душевный ты человек, Васильич! — Савелий достал кисет и сел рядом с Кольцовым. — Легко с тобой, право слово, легко!

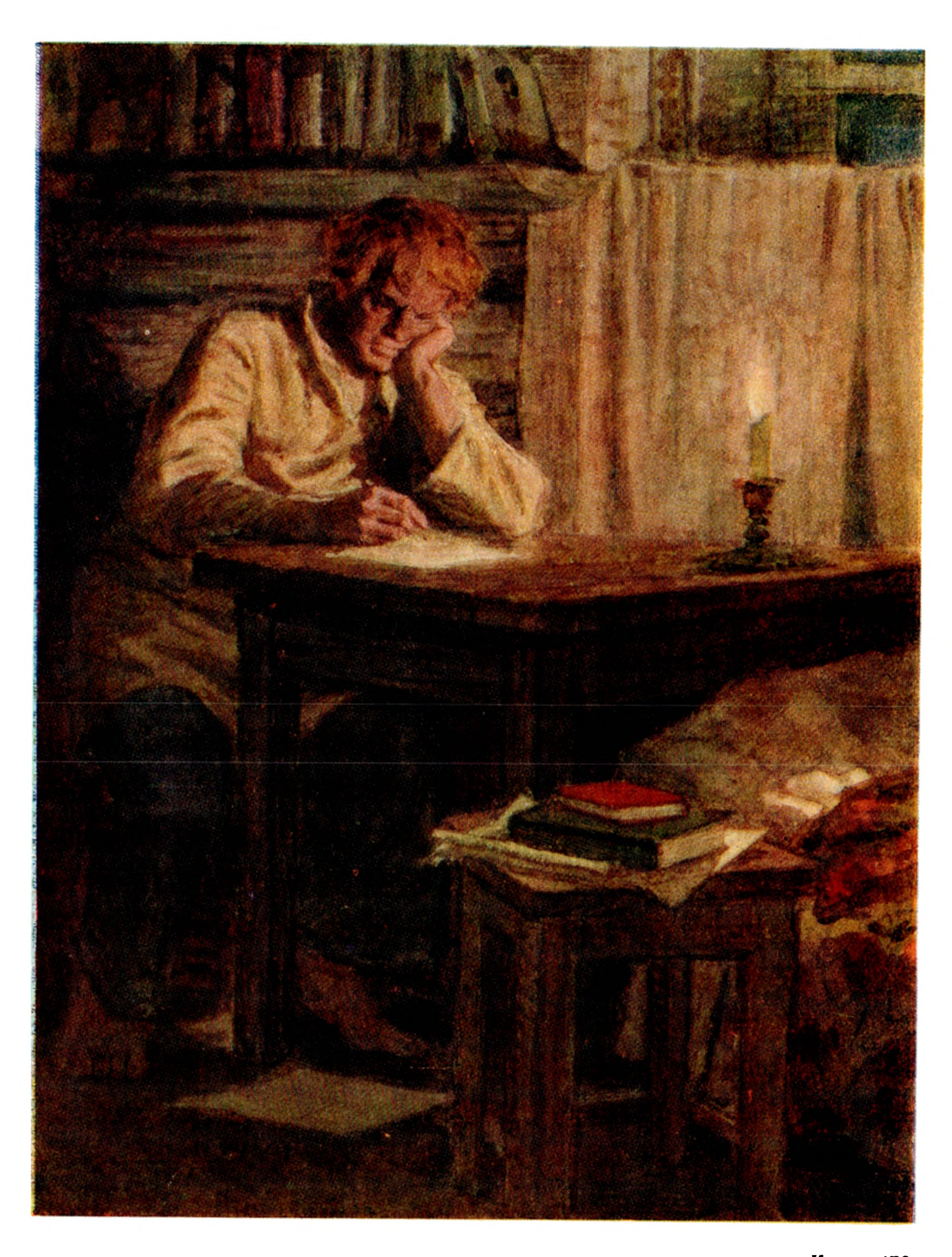
— При пире, при беседе, — прошамкал старик с клюшкой, — друзей-братьев много, при горе, при печали — нетути никóго... Что, Васильич, ай не так говорю?

5

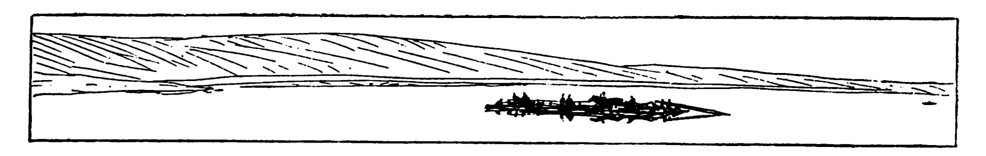
Утром Кольцов переправлялся на ту сторону Дона. Солнце только всходило. Над рекой клубились белые хлопья тумана. Стояла тишина. Было слышно, как шумит на перекате быстрое течение широкой реки. По крутым холмам противоположного берега сбегал к воде дубовый лес. Внизу, возле самой воды, белели четыре хатенки. Это был хутор Титчиха. Взошло солнце и развеяло туман. Паром медленно двигался. Казалось, он стоял на месте, только черная вода на глубине, по которой плавали, кружась, огненные баранки, слегка звенела и переливалась.

Кроме Кольцова, на пароме был и Савелий и та чернявая Васёнка, что вчера плясала и просила винца. Савелий ехал в лес за хворостом. Васёнка ночевала в селе у матери и возвращалась домой — в Титчиху.

— Небось шумит голова с похмелья-то? — подмигнув Кольцову, спросил у Васёнки Савелий.



К стр. 173



— Как же! — сверкнув зубами, засмеялась Васёнка. — По мне хучь ишо так-то!

— Вот он, Федька, тебе виски причешет!.. — сказал Савелий. — Эвось, он не тебя ли дожидается?

— Да, а что он мне, муж ай свекор? — вздернула плечами Васёнка. — Чисто, прости господи, арипей прицепился ко мне со своим Федькой!

Сказав это, Васёнка отвернулась и, точно ненароком, глянула на берег, к которому подходил паром. Там стоял молодой, с русой, чуть пробивавшейся бородкой парень в чистой рубахе, в сапогах и накинутом на плечи армяке. Савельева телега с грохотом съехала с парома; Кольцов под уздцы повел своего Франта. Васёнка звонко рассмеялась и, виляя бедрами, быстро пошла к хутору. Парень угрюмо поглядел ей вслед.

— Федор! — окликнул его Савелий. — Где рубить-то? Как анадысь — возле Мохового?

— Да, а то где же! — с досадой ответил Федор и, поправив на плечах армяк, медленно пошел за Васёнкой.

Некоторое время Кольцов и Савелий ехали вместе. Кольцовский Франт тянулся мордой к телеге и все норовил схватить из-за грядушки клочок сена.

— Этот Федор — лесник, — пояснил Савелий Кольцову. — Путается, значит, с Васёнкой. Присушила, что ли, она его, шут их знает! — покачал головой Савелий.

— Да ведь она вдова. Он бы женился, — сказал Кольцов.

— Женился!.. — усмехнулся Савелий. — А свою-то куда ж девать?

— Что ж у него, плоха баба, что ли? — спросил Кольцов.

— Какой плоха! Ты, Васильич, не поверишь, — краля! Васёнка против ей стручок и стручок! А вот прилип — и шабаш!.. Я так смекаю: приворожила, а? Ты как думаешь?

Кольцов засмеялся.

— Да ты не смейся! — обиделся Савелий. — А есть такое слово... Я верно знаю.

— Что? Слово знаешь? — спросил Кольцов.

— Кабы не знал, не говорил бы...

— Ну, скажи, коли знаешь.

— То-то вот, скажи! — добродушно засмеялся Савелий. — Ну, ладно, слухай, никому не говорил, а тебе скажу. Пойди в лес, — оглянувшись по сторонам, тихо сказал Савелий, — найди сухую шкуренку змеиную, на утренней зорьке надень ее на сухую осинку и так скажи: «Раб божий, пришейся ко мне кожей. Арц! Арц! Арц! Кто железный тын лбом пробьет, кто

медные листы языком пролижет, кто сорок тысяч замков кулаком собьет, тот раба божьего возьмет. Аминь!»

Кольцов записал в тетрадку заклинание.

— Спасибо, дядя Савелий! — сказал он. — Ну, я поскачу! — и, нагнувшись с седла, пожал Савельеву руку, тронул Франта каблуками и поскакал вперед.

6

И вот все лето, где бы ему ни приходилось бывать, Кольцов записывал песни, поговорки, пословицы, соленые шутки, анекдоты. В его сумке накопилось несколько тетрадок, написанных карандашом, с кривыми и дрожащими (если запись делалась на ходу, в седле) строчками, со стершимися или подмоченными дождем листками. «Ничего, — думал Кольцов, перебирая тетрадки, — зимою разберемся, приведем в порядок, да и к Александру Сергеевичу — в добрый час!»

Он написал Краевскому, что собирает песни и, если нужно, пришлет и ему.

«Ну, уж какая скука их собирать! — писал Кольцов. — С этими людьми, ребятами сначала надобно сидеть, балясничать, потом поить их водкою и пить самому с ними зачеред. Потом они затянут, а ты с ними пишешь и поешь. Только я за них взялся крепко: что хочешь делай, а песни пой — нам надобно!»

Краевский ответил, что будет печатать хорошие песни, и просил присылать.

Сам же Кольцов писал мало. Однажды в степи, на перекрестке двух дорог, он увидел одинокую могилу. Она еще не заросла травой, на белом камне грелась зеленая ящерица. На кресте, нахохлившись, сидел кобчик. Ветер ерошил его перья.

Кольцов вспомнил далекую могилку в царицынской степи, сердце сжалось. Он слез с коня и долго сидел возле креста. После он написал стихи:

Чья это могила,
Тиха, одинока?
И крест тростниковый
И насыпь свежа?
И чистое поле
Кругом без дорог?
Чья жизнь отжилася?
Чей кончился путь?

В сентябре отец послал его верст за пятьдесят от Воронежа с лесорубами. Стояла ясная осень. В лесу было тихо и пестро. Деревья рыжели лисьей шкурой, алели кумачом. На ямах заболоченной реки Усманки билась щука. По ночам были слышны неясные шорохи, хруст и легкий шум упавшего деревца. Старик артельщик говорил, что это болотные черти — шишиги. Это были бобры. Тихими холодными вечерами в логу выли годовалые волчата. Наконец вырубка кончилась, и в начале ноября Кольцов приехал в Воронеж.

7

Дела дома были плохи. Василий Петрович понес крупные убытки на продаже свиней и говяжьего сала и, едва выручив половину затраченных денег, залез в неоплатные долги. Кредиторы, почуяв, что дела Кольцовых пошатнулись, предъявляли векселя. Всего набиралось тысяч на двадцать, и уплатить их не было возможности.

Старик молчал, и сын молчал. Кольцов еще по приезде из Питера отговаривал отца от свиней и от сала, да старик сказал: «Не глупей тебя, сами с усами», — и Кольцов больше не вмешивался. Теперь, когда все пришло к такому плачевному концу, старик ничего не говорил сыну из гордости. Кольцов же не спрашивал и делал вид, что ничего не знает, хотя состояние отцовских дел было отлично ему известно.

Стоял декабрь, а снегу не было. С утра лил дождь. Серый и спорый, он мерно стучал в окошко, и жалобные холодные слезы текли по запотевшему стеклу.

Кольцов сидел в своей каморке и переписывал набело собранные им за лето песни.

Как у князя было, князя,
У князя Волконскова... —

написал Кольцов и вспомнил троицын день, березки, черноглазую Васёнку и то солнечное, радостное утро, когда они с Савелием ехали потихоньку над Доном вдоль опушки дубового леса.

Вспомнил, как записывал шуточную песню «Чувиль, мой чувиль». Подвыпивший пастух Афоня подошел, хлопнул его по плечу и засмеялся.

— Ты вот, Васильич, запиши, как летось у нас в Селявном к абединьке хлёстали!

И под общий хохот рассказал Кольцову целую кучу анекдотов — про попов, господ и начальство. Кольцов записал анекдоты. Сейчас он перечитал анекдоты и подивился, как в таких небольших рассказах уместилось столько злобы, похабщины и убийственной насмешки. «К абединьке хлешшуть», «Как мужик своего барина отучал грибы исть», «Полижу, полижу, да туды ж положу» — все они говорили о том, что начальство и господа глупы и жестоки, что попы жадны и бессовестны и что мужику хоть и тяжко под ними, да он один честен и умен.

Кольцов вспомнил слова Пушкина: «Колодезь неисчерпаемый — вот что народное искусство».

— Верно, что неисчерпаемый! — вслух сказал Кольцов. Он улыбнулся, взял перо и продолжал переписывать песню про князя Волконского и про его неверную княгиню, полюбившую своего раба.

8

Василий Петрович вошел, вытер ноги и, сказав: «Ну, анафемскую погодку господь послал!» — уселся на топчан.

— Все пишешь? — помолчав, спросил он.

— Как видите! — улыбнулся Кольцов.

— Писать — не пахать! — сказал старик. — Но, конечно, с писанья-то и ноги можно протянуть... Хотя я — ничего... не в осуждение...

Кольцов промолчал. Он видел, что отец пришел неспроста и что сейчас, покашлявши и поворчав, он начнет говорить про дела. Так оно и вышло.

— О-хо-хо! — зевнул Василий Петрович и перекрестил рот. — Врезались мы с тобой, сокол, со свиньями-то!

— Да ведь я говорил... — начал Кольцов.

— Говорил, говорил! — сердито передразнил отец. — Заладила сорока про Якова! Говорил, не говорил, а, почитай, двадцать тысяч убытков-то!

— Барыши с убытком на одном полозу едут! — улыбнулся Кольцов.

— Все так, все знаю, — сказал Василий Петрович. — Однако тут, брат, тюрьмой запахло... На старости лет оно будто и зазорно этак... Да ты что молчишь-то? — крикнул старик. — Сочувствия в тебе не вижу!

— Что же мне сочувствовать? — сказал Кольцов. — Кабы сделали по-моему, все бы хорошо было.

— Конешно! — язвительно ухмыльнулся старик. — Вы народ письменный, ума — палата, где ж нам, дуракам, с вами шти хлебать! А кто наживал все? — крикнул Василий Петрович. — Кто вас, чертей, вскормил, вспоил, на ноги поставил? А! Кто? Я тебя спрашиваю!

— Батенька! — резко сказал Кольцов. — Если вы ругаться со мной пришли, так это напрасно... Я вам сейчас и слова не скажу!

— Вы теперича, конешно, — не слушая его, продолжал старик, — вы, конешно, там с князьями да господами ла-ла-ла! А опять-таки, через кого ты дошел? Чей хлеб ел? Чьи по ночам свечки жег? Оно, не спорю, пустяк, свечка-то, да все денег стоит... Нет, ты погоди! — стукнул Василий Петрович костылем. — Погоди, дай скажу... Я не ругаться, сокол, я за советом пришел... А ты мне: «Говорил, говорил!»

— Да что ж я присоветую? — удивился Кольцов. — Тут один совет: деньги платить надо!

— Вот и да-то! — оживился отец. — Об этом и речь... Я, брат, чего придумал, — понизив голос, сказал он и, положив руки на костыль, поглядел на сына. Тот молча слушал. — Ты с завтрашнего дня хозяйствуй, — сказал Василий Петрович, — действуй, значит, по всем статьям, а я... я, брат, лучше уеду куда ни то... К тебе-то сунутся — ты не ответчик; спросят: где отец? — знать не знаю... А я в Землянск на то время подамся... Расчухал ай нет? — прищурился отец.

— Да как же... — начал было Кольцов, но Василий Петрович не дал ему договорить.

— Не выдай, сынок, тюрьма ить! — прохрипел он и, сгорбившись, вышел из комнаты.

Поздним вечером этого же дня из Воронежа через Девицкий выезд, в проливной дождь, завязая в грязи по самые ступицы, запряженная захудалой клячей, выехала убогая тележка. Накрытый с головой заскорузлым

веретьем, похожий на большую нахохлившуюся ворону, в ней сидел одинокий путник.

Лошадь шла шагом, телега скрипела, побрякивало привязанное к грядушке ведерко. Человек кряхтел и мотался на выбоинах дороги, зло хлестал лошадь и вполголоса ругал весь мир на чем свет стоит.

Это Василий Петрович убегал из Воронежа от долговой тюрьмы.

9

Кольцов стал хозяйничать.

Купцы, каким был должен Василий Петрович, подивились хитрости старика, посмеялись и, неделю-другую походивши к Кольцову, отстали.

— Хитер, старый пес! — восхищенно отозвался один, который имел самые крупные векселя. — Сам пропал, а с малого что спросишь?

— Придется, видно, подождать, — покачал головой другой.

— Найдем, парень! — весело сказал Кольцову третий. — Никуда не денется!

Наконец выпал снег, затрещали морозы, стал санный путь. Кольцов ездил по базарам то в Усмань, то в Нижнедевицк, то в Задонск, торговал лесом, расширил мясную лавку, ловко продал бутурлиновским чеботарям кожу и, заняв у Башкирцева три тысячи, к масленице расплатился с кредиторами.

На первой неделе великого поста появился отец. Он надел новый суконный тулуп, новую шапку, подпоясался цветным кушаком и в первое же воскресенье важно прошелся по торговым рядам. Купцы с веселой усмешкой встречали его. «А, пропащий!» — хлопали его по плечу и как ни в чем не бывало звали на пару чаю.

— Ты, Петрович, одначе, шустер! — смеялись купцы. — Эка что удумал: пропасть! Ну, скажи спасибо, сынок у тебя башковит — все выправил, а не то, брат, не миновать бы тебе долговой ямы!

Василий Петрович посмеивался, пил чай и говорил:

— Бога гневить не стану: малый у меня вострый!

10

Поздно ночью Кольцов сидел в своей каморке и переписывал в тетрадь пословицы и поговорки. Тетрадь была разделена от «А» до «Я», — на какую букву начиналась пословица, на ту она и записывалась в тетрадь.

Сам того не замечая, тихонько, по складам, вслед за написанными словами, он шептал:

— А-та-льются вол-ку ко-ровьи слез-ки...

Свеча моргнула и затрещала. Кольцов отложил в сторону перо и пальцами снял нагар.

Работа шла к концу. Все, что он собрал летом, было записано в чистые тетради. Оставались одни пословицы. Сегодня он кончит и их. Завтра будет почта. Веселые, резвые тройки с хмельными, отчаянными ямщиками

повезут кольцовские тетрадки в Петербург, Пушкин разорвет пакет и улыбнется.

«Ай да Алеша!» — ласково скажет он.

Кольцов прислушался. В сонной тишине двора за окном, опушенным голубоватым инеем, послышался колокольчик, завизжали полозья, что-то крикнул ямщик, хрипло и злобно залаял цепной кобель Мартынко.

«Кто бы это?» — удивленно подумал Кольцов.

Весь облепленный снегом, вошел Кареев.

— Здравствуй, Алеша! — сказал он. — Ты извини, что я этак — в полночь... Я ведь прямо с дороги...

Он вытер мокрое от снега лицо.

— Пушкина убили... — тихо сказал Кареев, глядя на вздрагивающее пламя свечи.

Кольцов вскочил. Тетрадки упали на пол.

— Да как же?.. Саша, милый, да как же это?!.

— Оскорбленная честь! — дернул плечом Кареев. — Дуэль...

Кольцов опустился на стул и закрыл руками лицо.

— Страшную ты весть привез, Саша... — прошептал он. — Пушкин помер... Боже мой!

— Все говорят, — глядя куда-то в сторону, медленно произнес Кареев, — все говорят, что Пушкина Дантес какой-то убил... Неверно это! Ты знаешь, Алеша, кто убил нашего Пушкина? Знаешь? Нет? Так я скажу тебе! — стукнув кулаком по столу, крикнул Кареев. — Царь убил! Царь! Царь!.. На другой же день после убийства по столице полетели беленькие листочки со стихами... Нет, ты послушай! Это Лермонтов сочинил...

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Кареев достал из кармана вчетверо сложенный лист.

Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья:
Судьбы свершился приговор!
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет...

И вдруг, когда Кареев произнес слова «его убийца», Кольцов вздрогнул, и ему ясно представилось, какими жестокими стеклянными глазами поглядел на него царь, когда Жуковский привел его во дворец.

Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет!

— Саша, — сказал Кольцов, — я видел его... В нем жалости ни к кому нет! Это верно, — он Пушкина убил...

11

А в Воронеже все шло своим чередом: на медленный скучный звон брели чиновники говеть в Смоленский собор; бакалейщики сбывали к постному столу обывателя провонявшую соленую рыбу.

Однажды учитель латинского языка Иван Семеныч Дацков заметил, что гимназист Нелидов, вместо того чтобы слушать объяснение нового правила спряжения, читал какую-то бумажку.

Иван Семеныч подкрался к увлекшемуся Нелидову и ловко выхватил у него из рук небольшой, мелко исписанный листок серой бумаги.

— Без обеда-с, господин Нелидов! — прошипел Иван Семеныч. — Три дня без обеда-с! — и положил бумажку в задний карман мундира.

В учительской он вспомнил про легкомысленный поступок Нелидова, достал из кармана бумажку и стал читать.

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой...

Иван Семеныч быстро пробежал глазами стихотворение и ужаснулся: в нем потрясались основы самодержавия!

— Прекрасно-с, господин Нелидов! — с негодованием прошептал Иван Семеныч. — Отлично-с!

Он приказал позвать провинившегося гимназиста и учинил ему допрос.

Нелидов сначала отпирался, но когда Иван Семеныч намекнул на полицию, оробел и сказал, что стишок этот он переписал у гимназиста Ключарева. Ключарев был дерзок и, поглядев с презрением на Нелидова, отперся решительно.

Тогда Иван Семеныч доложил о происшествии директору и показал ему кляузный стишок.

В этот же день классные надзиратели произвели обыск в ранцах гимназистов и нашли еще восемнадцать списков лермонтовского стихотворения.

Все найденные списки были представлены господину начальнику губернии, и тот приказал немедленно приступить к дознанию. Вскоре выяснилось, что подобные списки злокозненных стихов ходили не только в гимназии. Они были всюду: в казармах драгунского полка, в семинарии, в столах молодых, известных, впрочем, своим образом мыслей чиновников. Даже отец ректор, возвращаясь однажды из семинарии домой, нашел в кармане своей рясы целых четыре списка. Все эти листочки, из которых добрая половина была написана одним и тем же почерком, препровождались из разных мест в губернское жандармское управление, где их в короткий срок набралась претолстая папка, на которой отличной писарской каллиграфией было выведено:

Дело

о злокозненных стихах
некоего поручика Лермонтова
и об дерзком распространении оных
в городе Воронеже.

Дацков был обласкан начальством и получил наградные, а гимназиста Ключарева за дерзость исключили из гимназии без права поступления в другое учебное заведение.

12

Смерть Пушкина была для Кольцова личным горем. Молчаливый и прежде, он стал еще молчаливее. Он написал к Смирдину и попросил выслать ему самый последний портрет Пушкина.

Через месяц от Смирдина пришел пакет. Дрожащими руками Кольцов разорвал бумагу и вздрогнул: Пушкин, похожий и в то же время непохожий, с непривычно приглаженными кудрями, лежал в гробу. Это была литография, сделанная тотчас же после смерти Пушкина.

У Кольцова дрогнули губы. «Друг! Друг!» — прошептал он.

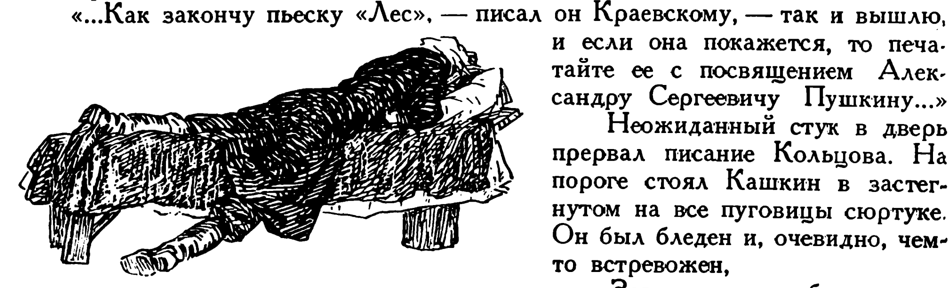
Что бы Кольцов ни делал, мысли возвращались к одному: к Пушкину. До мельчайших подробностей Кольцов вспоминал о трех встречах с ним. «Столько ласки, столько привета он дал мне!.. Ведь он и Алешей меня, как брат, называл!..»

Какая-то еще неясная, печальная, но грозная песня звенела в ушах Кольцова. Возникали смутные образы; они проносились в воображении то как мрачные тени, то как ослепительные зарницы. Несколько дней преследовала Кольцова эта еще не сложенная песня. Он измучился, пытаясь уловить ее. Дома он сказался больным, да он и был похож на больного и никуда не выходил из своей каморки. Беспокойство, тревога, ощущение таинственных шумов, какие всегда предшествовали рождению стиха, овладели им. Наконец блеснул образ: могучий дубовый лес на Битюке, зеленые исполинские кроны, в которых жило и пело множество птиц, горделивые, кое-где пронзенные солнечными стрелами, шапки изумрудной листвы. Слово — живое слово! — вдруг прозвучало в тишине. Это было то самое точное и нужное слово, которое пришло, преодолев все неясные шумы. Тревога исчезла, и первые строчки стиха послушно легли на бумагу.

13

Поздно ночью Кольцов писал письмо Краевскому. Стихи были готовы, он хотел послать их в Питер, да в одном месте ему показались неверными две строчки, он не нашел сразу, как поправить, и решил пока не посылать.

«...Как закончу пьеску «Лес», — писал он Краевскому, — так и вышлю, и если она покажется, то печатайте ее с посвящением Александру Сергеевичу Пушкину...»



Неожиданный стук в дверь прервал писание Кольцова. На пороге стоял Кашкин в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Он был бледен и, очевидно, чем-то встревожен,

Заперев за собою дверь

и оглянувшись по сторонам, как бы желая убедиться, что в комнате никого нет, он в изнеможении опустился на стул.

— Вчера ночью... — шопотом сказал он, — вчера ночью жандармы взяли Кареева...

— Как?! — воскликнул Кольцов. — Сашу взяли? Да за что же?..

— Тише, милый друг, — приложив палец к губам, сказал Кашкин. — Значит, за дело, коли взяли... И я зашел сказать тебе, что ежели есть в твоих бумагах письма кареевские или — чего боже упаси! — его рукой переписанные лермонтовские стихи, так сожги немедля!

— Как же так — сжечь? — поднялся Кольцов. — Письма друга сжечь? Да я самым последним подлецом почитал бы себя, коли б сжег! А вы-то, Дмитрий Антоныч! — воскликнул Кольцов. — А вы-то! Ведь и вас связывала с Сашей дружба... Как же вы так можете говорить!

— Да вот так-с! — криво улыбаясь, сказал Кашкин. — Государственным преступникам я не друг-с! И прошу, — визгливо крикнул Кашкин, — и прошу забыть про встречи наши! Мало ли кто у меня в лавке не бывал-с!

— Да нет! Что я, сплю, что ли? — Кольцов сжал кулаками голову. — Сашу взяли... Чудесного человека заковали в железа, а вы... отрекаетесь! Да не вы ли показывали нам Рылеева стихи? Не вы ли о вольности с нами говорили? Ведь помню же я!

— Ничего-с! — вставая со стула и берясь за ручку двери, сухо сказал Кашкин. — Ничего-с я вам не показывал и не говорил. А если вы уж так памятливы, то мой вам совет: хоть вы и персоной теперь стали, — усмехнулся Кашкин, — мой вам совет: позабудьте! Прощайте-с!

Кольцов бросился к двери. Он хотел окликнуть Кашкина, что-то сказать, но махнул рукой и остановился.

— Так вон ты какой!.. — глядя на плохо притворенную дверь, за которой скрылся Кашкин, медленно сказал Кольцов.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Серые тучи по небу бегут,
Мрачные думы душу гнетут!
«Тучи промчатся, солнце блеснет;
Горе не вечно, радость придет».

Н. Станкевич

1

Летом 1837 года Воронеж вдруг начали белить, красить, подметать и всячески прихорашивать. Чинили дощатые тротуары, мыли стекла, золотили орлы на двух каменных столбах у заставы, обрезали и подчищали деревья.

6 июля на всех воротах, балконах и даже уличных фонарях были развешаны российские государственные флаги.

Множество конных и пеших жандармов с султанами, в парадных мундирах скакало, ходило, кричало и «осаживало назад» любопытствующих горожан.

Звонари и махальщики сидели на колокольнях Смоленского собора и Митрофановского монастыря. Звонари расправляли колокольные веревки и из-под руки всматривались в даль — по направлению к Московской заставе.

Мальчишки, споря с грачами, облепили деревья.

Наконец утром 7 июля, стоя в тележке, по Большой Московской улице промчался полицмейстер. За ним, один за другим, на тяжелых, екающих селезенкой лошадях проскакали три жандарма. У заставы поднялась пыль. На колокольнях грянули с переборами во все колокола.

В город въехали кареты и коляски великого князя Александра Николаевича и сопровождающих его лиц. В карете, запряженной белой шестерней. с вензелями «А» и золотыми орлами на дверцах сидели цесаревич Александр и Жуковский. Наследник был утомлен. В этой длинной поездке по России оказалось больше неудобств, чем комфорта. Вялый, бледный, начинающий полнеть двадцатилетний царевич с откровенной скукой и безразличием поглядывал из окошка кареты на умытые и прибранные воронежские улицы. По обеим сторонам дороги стояли воронежцы и кричали «ура». Александр нехотя прикладывал руку к белой офицерской фуражке.

— Город Воронеж, ваше высочество, — Жуковский сделал плавный округлый жест, — представляет собой интерес как один из крупнейших центров хлебной торговли в нашем отечестве.

Александр кивнул головой.

— В историческом отношении, — продолжал Жуковский, — город Воронеж известен как колыбель славного флота российского.

— Да, да, — рассеянно сказал Александр.

— Кроме того, ваше высочество, здесь расквартирован сто двадцать восьмой драгунский полк.

— А! Это интересно! — сказал Александр.

— И наконец, — поклонился Жуковский, — здесь живет замечательный певец русский, стихотворец Алексей Кольцов.

— Кольцов? — наморщив лоб, переспросил Александр. — Не слышал.

— Я имел честь, — снова поклонился Жуковский, — в прошлом году представлять Кольцова его величеству...

— А! — кивнул цесаревич, выпятил грудь, надул щеки и вдруг неожиданно стал похож на отца.

2

Арест Кареева и ночной разговор с Кашкиным не выходили у Кольцова из головы. Невозможно было представить, что веселый, живой, чудесный Кареев сидит сейчас в темной и тесной камере мрачного тюремного замка или, ухватившись руками за толстую ржавую решетку маленького окошка, смотрит в заречную даль. По реке снуют лодки, проплывают плоты, плотовщики вечерами поют печальные протяжные песни... «Слуша-а-й!..» — кричат ночью тюремные часовые. Эх, Саша! Но как прав, как тысячу раз прав был он, давно переставший верить прекраснодушной болтовне Кашкина! Время и дела показали, что такое Кашкин, чего стоят его разглагольствования о вольности и правах человека.

У Кольцова появилась привычка шагать по темной комнатке из угла в угол. (Каморки между сараями уже не существовало: она была определена под кладовую. Кольцов жил в небольшой комнате мезонина.) Однажды, когда он этак расхаживал, не находя себе покоя, к нему пришла Анисья. Со времени ареста Кареева, когда она, обняв брата, проплакала целый вечер, сестра не заходила к Кольцову.

— Алеша, я у тебя посижу, — сказала она, взяла гитару и стала перебирать струны. Она трогала струну и прислушивалась к долгому звенящему звуку; иной раз пальцы брали аккорд... Вдруг неожиданно прозвучала мелодия сочиненного ею романса «Погубили меня твои черны глаза». Этот романс они часто пели вдвоем с Кареевым. Анисья бросила гитару, уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Кольцов сел возле сестры.

— Да за что ж это, Алеша!

Кольцов давно догадался, что Анисья и Кареев полюбили друг друга, и радовался этой любви. Он понимал горе сестры, оно соединялось с его собственным горем. Слова утешения не шли на ум, да и что можно было сказать?



— Я понимаю! — прошептал он. — Анисочка, милая ты моя!..

— Да нет, ты подумай, — поднимая заплаканное лицо, сказала она, — ведь этак, как мы живем, можно ли так жить? Болото стоячее!

Она положила руки на плечи брата. Слез уже не было. Сухие глаза горели страданием, и страшная внутренняя боль чувствовалась в них.

— Вон сестры потонули в болоте, — продолжала Анисья, — и мы с тобой потонем... Да нет, ты не потонешь, ты вырвешься, а я... Эх, Алеша! Я ночей не спала, только о том и думала, что меня Александр Николаевич из этого болота вытащит. А он... — Анисья снова заплакала. — Ну, что мне теперь делать? Я знаю, его сошлют... Да ведь не княгиня ж я Трубецкая, чтобы за ним в Сибирь ехать!

После этого вечера Кольцов долго не видел Анисью: рано утром на следующий день с нянькой Мироновной она ушла на богомолье.

Страшное чувство одиночества охватило Кольцова. Одно, что было ему радостью и утешением, — это хорошие, сердечные письма его московских и петербургских друзей и особенно Белинского. Однако письма были редки, друзья далеко, а рядом изо дня в день существовали ленивые, грязные, злые люди.

После отцовского вранья о монаршей милости воронежцы, то-есть знакомые Кольцовым купцы, мещане и чиновники, думали, что Алексею — раз уж он удостоился этой монаршей милости — выйдут чины, ордена и, может, даже земли. Прошел год, а чинов и поместий Кольцовым не давали. Соседи стали пошучивать, и не раз Алексей слышал за спиной ехидный, словно выплюнутый с семечковой шелухой, смешок: «Сочинитель!»

Поэтому, когда, вскоре после приезда в Воронеж цесаревича, во двор кольцовского дома вошел одетый в полную парадную форму жандарм, соседи ухмыльнулись, подмигнули друг другу и сказали:

— Допрыгался сочинитель.

3

Василий Петрович, увидев жандарма, оробел. Жандарм вынул из-за обшлага мундира пакет и спросил, где Алексей.

— Давай, давай, голубчик, я передам! — засуетился Василий Петрович. — «Ох, что это еще Алешка натворил?!» — мелькнуло в голове.

— Велено в собственные руки, — строго сказал жандарм.

Кольцов сидел у себя в мезонине. Он слышал, что в Воронеже встречают наследника, но ему не хотелось видеть соседей, и он не выходил за ворота. То, что с царевичем приехал Жуковский, он не знал.

Он остолбенел от изумления и радости, когда вскрыл дрожащими руками пакет и увидел на листочке почтовой бумаги знакомую подпись Жуковского.

«Любезный Алексей Васильевич! — писал Жуковский. — Сегодня и завтра пробуду в Воронеже. Почел бы за счастье видеть вас у себя вечером в доме Тулинова, на Большой Дворянской. Ваш Жуковский».



Перед белым, двухэтажным, с колоннами домом губернского предводителя дворянства Тулинова толпился народ и стояло множество экипажей.

В ярко освещенных окнах мелькали тени танцующих. На улицу доносились звуки веселой музыки.

В великолепных сенях тулиновского дома Кольцова встретили важные лакеи и, видимо предупрежденные хозяином, тотчас провели его в залу. Он остановился в дверях, пораженный обилием свечей, гремящей с высоких хоров музыкой и особенно множеством нарядных дам. В первой паре танцующих, об руку с хозяйкой дома, шел высокий, с бледным полным лицом молодой человек в военном мундире. Он очень старательно выделывал замысловатые фигуры танца, то-есть поворачивался, кланялся своей даме или кружил ее, и снова кланялся и поворачивался, но при всем старании лицо его оставалось равнодушным, и было видно, что все это ему надоело.

По тому, как перед ним расступались танцующие, Кольцов понял, что это царевич. «А ведь он мог бы спасти Кареева», — подумал Кольцов. Наконец он увидел Жуковского. Тот, обходя танцующих, шел навстречу.

— Здесь шумно и скучно, — сказал Жуковский, обеими руками пожимая руки Кольцова. — Идемте ко мне.

Он взял под руку Кольцова и, говоря с ним и ласково улыбаясь ему, повел его через всю залу к маленькой двери, откуда поднималась лестница на второй этаж.

Возле двери синей вицмундирной стайкой стояли учителя. Кланяясь, они расступились перед Жуковским и Кольцовым.

— Видал?.. — Долинский многозначительно толкнул в бок Дацкова.

— Залетела ворона в барские хоромы, — пробормотал Дацков.

4

Утром 8 июля к воротам кольцовского дома подкатила нарядная коляска. Чернобородый огромный кучер в диковинной клеенчатой шляпе, в синем, с золотыми пуговицами и позументом кафтане осадил двух лебединой белизны лошадей и, перегнувшись с облучка, отстегнул кожаный фартук. Из коляски вышел улыбающийся Жуковский.

— Вы готовы? — обратился он к встретившему его Кольцову. — Вот прекрасно! И день чудесный какой! А я удрал! — рассмеялся Жуковский.— Мне так захотелось побыть в стороне от надоевшего шума... Я вот и альбом с собою захватил. Нынче мы будем гулять, беседовать, рисовать — хорошо? Только вы сперва напоите меня чаем. Страх, как чаю хочется!

В столовой горнице шумел самовар. Василий Петрович и Прасковья Ивановна с поклонами встретили важного гостя. Жуковский был весел и прост. Он поцеловал ручку растерявшейся Прасковье Ивановне, поговорил со стариком о трудностях коммерции, похвалил город Воронеж и, выпив два стакана чаю, стал прощаться.

— Ваше сиятельство, батюшка! — кланяясь в сенях, сказал Василий Петрович. — Уж мы, сударь, темные люди и не знаем, как вас и благодарить за честь да за ласку вашу... Денно и нощно станем поминать ваше сиятельство!.. Да кланяйся, мать! — толкнул он жену. — Растерялась, ваше сиятельство, — шутка ль сказать — этакая честь!..

— Ах, да полноте! — поморщился Жуковский. — К чему это? Я рад дружбе с вашим сыном. Ведь он у вас сокровище. Не правда ли? — беря под руку смущенного Алексея, улыбнулся Жуковский.

— Ночей недосыпал, куска недоедал, — стукнул себя в грудь Василий Петрович. — В великих заботах и в трудностях, но воспитал, ваше сиятельство!

С непокрытой головой, кланяясь и бормоча слова униженной благодарности, старик проводил Жуковского до ворот. И когда тот вместе с Алексеем сел в коляску и кучер, тронув резвых лошадей, пустил их шибкой рысью по Большой Дворянской, покрикивая на прохожих, отец все еще стоял у калитки и, глядя вслед коляске, бормотал:

— Не то я на старости лет спятил, не то они там, в Питере, все ума решились! А что ему в Алешке, господи, твоя воля!

5

На тихом зеленом островке, окруженный старой дубовой рощей, стоял кирпичный петровский цейхауз.

Тут было тихо. В кустах попискивали синички, да в зарослях хмеля, обвившего угол цейхауза, сонно выводила свою трещотку зеленая кобылка. Сквозь деревья мелькала голубая, с отражением пухлых облаков река.

Жуковский рисовал старый дуб. Не отрывая глаз от альбома, он говорил:

— Этот дуб не был ли свидетелем великих деяний Петровых? Венценосный плотник, быть может, отдыхал в тени сей могучей листвы...

Кольцов стоял за спиной Жуковского и смотрел, как белый бумажный лист покрывается тонкими штрихами остро отточенного карандаша. Зеленая шапка листвы, корявый, обвитый плющом ствол, давно расщепленный молнией, черный уродливый сук, выдающийся высоко в небо, — все было верно, похоже, да мелкие и аккуратно положенные штрихи делали и самый дуб мелким и аккуратным. «Ведь это и не дуб вовсе, — подумал Кольцов.— Такой можно в горшок посадить».

Жуковский закрыл альбом и встал.

Перевозчика возле лодки не оказалось, он спал в кустах. Кольцов растолкал его. Солнце уже касалось крутых воронежских гор. Звонили к вечерне. На одном из холмов чернел тюремный замок. Возле Успенской церкви Жуковского ждала коляска.

— Василий Андреевич, — садясь в коляску, сказал Кольцов. — Весь день хочу сказать вам, да все не осмелюсь.

И он рассказал Жуковскому печальную историю Кареева.

Жуковский внимательно выслушал.

— Любезный друг, — сказал он. — Видит бог, как я скорблю вместе с вами и всей душой хочу, чтобы приятель ваш был освобожден. Да просить об этом цесаревича невозможно: он не занимается делами политических преступников. Остается одно: государь. Я обещаю вам доложить о господине Карееве его величеству. Да, подумайте, как смерть Пушкина взволновала молодежь! Ах, Александр, — покачав головой, вздохнул Жуковский, — ты и в могиле такой же мятежный, каким мы тебя знали в жизни!

6

Флаги убрали, хвойные ветки, развешанные на домах, пожелтели, дворники перестали мести улицы.

При встрече с Кольцовым чиновники поспешно снимали картузы.

— Алексею Васильевичу!.. — почтительно кланялись судейские приказные, те, что неделю назад и глазом не вели при встречах с Кольцовым. Соседи звали в гости. Отец спросил: «Не надо ль денег, а то, что ж, не стесняйся, не чужие!»

«Слава!» — улыбаясь, думал Кольцов.

Наступил сентябрь. По улицам полетели желтые листочки. Пришло письмо от Сребрянского.

«Милый друг Алеша! — писал Андрей. — Чуть ли не последнюю зиму буду зимовать: заела проклятая болесть. Что бы ни было между нами и как бы я плох к тебе иной раз ни был, — прости и не осуждай: «ерофеич» да злоба моя на судьбу-лиходейку — их вини... Только лучше тебя и милее не знал я, да и помру — не узнаю человека!»

Кольцов вздохнул. Письмо было и хорошо и плохо: хорошо — в своем искреннем душевном чувстве, в словах дружбы и любви; плохо — в тоскливой безнадежности и в нескрываемом предчувствии смерти.

Кольцов написал Сребрянскому сердечное, полное стихов, письмо, советовал бросить на время учение, поехать в деревню, отдохнуть.

Горькое чувство, навеянное письмом Сребрянского, не покидало.

Однажды вечером к Кольцову пришел маленький черноволосый офицер. Он назвал себя Темниковым и рассказал, что Кареева приговорили к ссылке в места не столь отдаленные.

— Этого надо было ожидать, — раздраженно сказал Темников. — Честному человеку у нас один путь—Сибирь. Да вот кривлянье это, идиотские ритуалы, комедии с разжалованием и лишением дворянства — это чорт знает как мерзко!

Кольцов от него узнал, что перед отправкой в Сибирь Кареева ждало публичное издевательство с чтением на площади приговора, с ломанием над ним шпаги, то-есть со всеми теми средневековыми ритуалами, которые назывались судебной церемонией.

— Да, может, еще отменят приговор, — сказал Кольцов. — Вот Жуковский обещался попросить государя...

— Государя!.. — усмехнулся Темников. — Вы верите в успех этой просьбы?

— Не знаю... Ведь Жуковский так близок к государю.

— Он-то близок, — вставая и накидывая плащ, сказал Темников, — да вот государь далек! Прощайте-с! — протянул он руку Кольцову. — Я знаю вас и люблю. Мне Саша много о вас говорил, и ежели что, так я ваш друг, и вы располагайте мною как угодно...

Он поклонился и исчез так же неожиданно, как и появился.

7

Пошли мелкие холодные дожди, наступила окаянная осень.

День был темный, по мутному небу, цепляясь за крыши домов, ползли низкие, с беловатыми краями тучи.

Утром на Старо-Конную площадь, за соляными амбарами, пришли плотники, сколотили дощатый помост и вымазали его черной краской.

Часа в три дня привели солдат и поставили их четырьмя шеренгами вокруг помоста. Забили барабанщики, на площадь побежали люди. Никто не знал, зачем выстроили помост и пригнали солдат.

— Казнить, слышно, будут, — объяснял седоватый мещанин в картузе и чуйке.

— Да за что ж казнить-то? — спрашивала рыхлая женщина в шерстяном платке.

— Уж, стало быть, есть за что! — весело отозвался кудрявый купчик.

— Ох, господи! — перекрестилась женщина. — Хоть и злодей, а все жалко...

— Позвольте, позвольте, господа, — протискиваясь вперед, приговаривал прыщавый, надушенный резедой чиновник. — Пропустите дам, господа!

Две краснощекие поповны захихикали.



— Ах, какой вы! Мы не дамы, мы — девицы.

— Это неважно, мамзель. Позвольте!

— Да ты что пхаешься? — сказал угрюмый мастеровой в рваном полушубке. — А то я тебя пхну!..

— Хам! — взвизгнул чиновник. — Как ты смеешь так с благородными господами?

— Ладно, — равнодушно сказал мастеровой. — Тут все благородные.

Барабанщики перестали бить. Раздалась команда.

Притиснутый к сырой стене соляного амбара, Кольцов напряженно глядел на черный, возвышавшийся над головами людей помост. Стук барабана еще резко отдавался в висках. Какие-то люди ходили возле помоста, что-то делая и о чем-то говоря.

— Везут! Везут! — закричали мальчишки с крыш соляных амбаров.

Из-за бульвара выехали двое верховых жандармов. Следом за ними, запряженная тройкой разномастных клячонок, гремя колесами по крупным камням мостовой, показалась ветхая ямская телега с дырявым рогожным верхом.

Возле помоста снова ударили в барабаны. Телега подкатила к солдатам и остановилась. На помост взошел палач. Он скинул армяк и, засучив рукава яркой кумачовой рубахи, поплевал на руки.

Со связанными на спине руками, поддерживаемый жандармами, из телеги вышел Кареев. Всегда румяное лицо его теперь было покрыто той нехорошей бледностью, какая бывает у больных и арестантов. Темная пушистая борода делала его еще бледнее. Улыбаясь, он посмотрел кругом, точно искал кого-то.

— Эх, пропасти на вас нету, умны больно стали! — сердито сказал кудрявый купчик. — Еще ощеряется!

На помост поднялся военный чиновник со шпагой подмышкой и в очках. Следом за ним жандармы с обнаженными палашами ввели Кареева и поставили среди помоста. Чиновник махнул рукой, и барабаны умолкли. Тогда он достал бумагу и начал громко читать.

На площади стало тихо. Резкий, скрипучий голос чиновника отдавался эхом во всех концах площади.

— По указу его императорского величества...

азу... о... аса... итва... — отозвалось у соляных амбаров.

— ...бывший дворянин Кареев Александр Николаев...

ыши... яи... аее... аса... ааев... — откликнулось возле Смоленского собора.

Галки встрепенулись и черной тучей взвились над колокольней.

— ...лишается дворянского звания и всех прав, с препровождением на жительство...

— Да куда ж, батюшка, куда? — не расслышав, допытывалась рыхлая женщина у седого мещанина.

— А на кудыкино поле! — сердито огрызнулся тот.

Чиновник отдал палачу надпиленную шпагу.

— А ну, постой, ваше благородие! — сказал Карееву палач и, подняв над его головой шпагу, переломил ее и бросил на помост.

— Вот те и благородие!.. — усмехнулся купчик.

Кареева свели с помоста и посадили в телегу. Два жандарма с обнаженными палашами очень неудобно пристроились по бокам. Пошел дождь. Ямщик поднял воротник армяка, разобрал вожжи, обернулся к Карееву:

— Эх, и невеселый ноне седок у меня! — И хлестнул разномастных кляч.

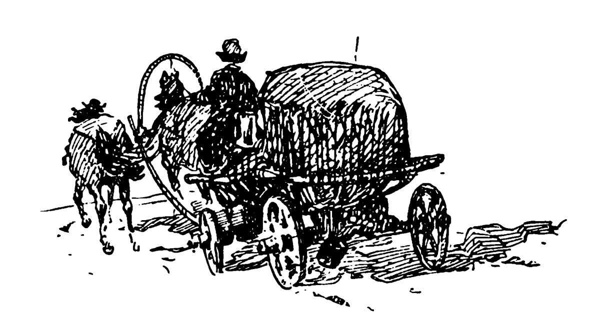
Телега запрыгала по ухабам Большой Московской улицы.

Дождь все усиливался. Не замечая его, Кольцов стоял, глядя вслед убегавшей телеге. Из-за рогожного верха были видны только клинки жандармских палашей. Горластая стайка мальчишек бежала возле колес.

— Саша, милый ты мой!.. — прошептал Кольцов. — «Вот и Жуковский, — с обидой подумал он, — обещал попросить государя, да, видно, забыл... Или государь не помиловал?»

Кольцову вспомнилась дворцовая лестница, красный водопад ковра, белое, чисто вымытое лицо Николая, его ледяные глаза...

— Да за что же? — вскрикнул Кольцов, глядя в это страшное, неживое лицо царя. — За что?!.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОСЕНЬ ЧЕРНАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поля, поля мои родные!
Что я за вас бы не отдал?
Лета, лета мои былые!
Кто с вами счастие умчал?

А. Сребрянский

1

Здоровье Сребрянского становилось все хуже. Изнурительный кашель и лихорадка окончательно подорвали его силы. Занятия в Медико-хирургической академии требовали много времени и труда, а Сребрянский почти не занимался. Он все больше лежал или дремал, обессиленный жестокими приступами кашля, или, зябко кутаясь в ветхую шинель, бродил по Петербургу, обдумывая свою статью.

Сребрянский с детства любил музыку. В их семье все были музыкальны. Отец отлично играл на гуслях, а мать, братья и сестры любили петь и пели очень хорошо. Сам Андрей еще мальчиком лет семи-восьми пел в церковном хоре, а потом, уже семинаристом, бывая у Кашкина, научился играть на фортепиано.

В Петербурге Сребрянский часто ходил в оперу, слушал знаменитых итальянских певцов. Впервые он задумался о музыке как об искусстве. Та любовь к музыке, что жила в нем с детства, была бездумна, она была для него постоянной необходимостью, как хлеб, вода, воздух. Теперь эта любовь окрепла, стала осмысленной.

Он задумал написать статью о музыке и начал было ее, да то нездоровье, то неотложные занятия в академии не давали ходу его перу, и статья подвигалась медленно. Наконец он забросил учебники, академические лекции и с жаром засел за статью. Через две недели статья была закончена. Сребрянский прочитал ее Феничке, и хотя тот многого не понял, прослезился и сказал:

— За душу берет!

Сребрянский отнес статью в «Литературные прибавления». Краевский встретил его с барской надменностью, во всем своем великолепии, говорил мыча и растягивая слова. Сребрянского передернуло от такого приема, он хотел было сказать, что он друг Кольцова, да покраснел, закусил губу и промолчал. Краевский, пробежав глазами статью, не понял и не оценил ее и, как литературный торгаш, вывел заключение, что подобные статьи не прибавят журналу подписчиков. Он вернул статью Сребрянскому и очень холодно простился с ним.

Сребрянский махнул на все рукой и запил.

2

Пивная лавка помещалась в подвале. Ее низкие, с темными пятнами сырости сводчатые потолки скрывались в мутных облаках табачного дыма и испарений мокрого платья.

Несколько извозчиков с железными бляхами на спинах поверх армяков. какой-то молодец из Гостиного двора, солдат с деревянной ногой, рыженький юркий мужичонка в рваном подряснике и две женщины курили, галдели, требовали пива и целовались.

За грязной стойкой возвышался с плоской, как блин, равнодушной рожей буфетчик.

Тщедушный маленький старичок с растрепанными седыми волосами и со скрипкой подмышкой робко говорил буфетчику:

— Ну что ж, Степан Афанасьич, а? Ну, брат, старому артисту... стаканчик портерцу-то, а?

Буфетчик, делая вид, что не слышит, молча перетирал стаканы.

— Право, Афанасьич, — жалобно продолжал старик, — уж ты тово... и я бы, значит... а? Уж я тебе отплачу, право...

— О, чорт! — вздохнул буфетчик, с сердцем наливая портер.

Старик положил скрипку на стойку, бережно, дрожащими руками принял стакан и, запрокинув голову, медленно выпил. Потом поглядел на гуляк мутными слезящимися глазами, взял скрипку и, став в привычную позу, ударил смычком по струнам.

3

В глубине портерной, в темном углу, сидели Сребрянский и Феничка.

Сребрянский пил третий день. Его длинные, светлые, давно не чесанные волосы свешивались на бледный потный лоб. Он сидел, уронив голову на руки. Измятая шляпа валялась на полу. Временами Сребрянский поднимал голову и исподлобья глядел на Феничку.

Феничка был пьян. Первое время он ходил за Сребрянским и, сокрушенно качая головой, оберегал своего друга. Хмельной Сребрянский был задирист. Он порывался скандалить, лез драться, но мощная Феничкина десница во-время отводила удары и предупреждала скандал. В полночь он волоком тащил Сребрянского домой, заботливо раздевал его и укладывал в постель, а утром бежал в ближайшую портерную, приносил Андрею Порфирьичу опохмелиться, и снова начинался день безрадостных скитаний по пивным лавкам и грязным трактирам Петербурга.

Так продолжалось два дня, а на третий Феничка не удержался и запил сам. Когда тихим январским вечером забрели они с Сребрянским в пивную лавку, Феничка стал жаловаться на свою неудавшуюся жизнь.

— Вот и решил я, — говорил Феничка, — поеду-ка назад, на воронежские наши родные поля, в деревеньку... Дьяконствовать буду, пчел разведу. У нас, брат, в Задонском уезде, сады какие — страсть!

— Фенька! — вскакивая и наступая на шляпу, крикнул Сребрянский. — Что он играет? Ведь это же наша, воронежская! Помнишь, как певали мы ее, Фенька?!

4

В пивной лавке сделалось тихо. Компания гуляк, буфетчик, трое половых — все замолчали, слушая хмельную импровизацию старого артиста. Старинная воронежская песня разлилась под закопченными сводами. Старик играл, закрыв глаза. Он то взмахивал головой, то опускал ее, прижимаясь щекою к деке, и седые длинные волосы падали на скрипку. Улыбка застыла на его губах.

Сребрянский размахивал руками, дирижируя воображаемым хором. Он начал было подпевать, да закашлялся, сел, обессиленный, и долго не мог сказать ни слова.

— Кончено, Феничка! — наконец прохрипел он. — Финита! Сдохну, друг, под забором — и крышка! И чорт с вами со всеми! Всех ненавижу!

— Не кричите, господин! — строго сказал половой, подходя к столику. — У нас приличное заведение, а ежели кричать — идите на улицу да и кричите!

— Намедни, — не слушая полового, продолжал Сребрянский, — беру «Современник», открываю — и что же? Стихи Алексея Кольцова... Ну-ка, ну-ка, думаю... Фенька, — опять закричал Сребрянский, — ведь это ж мои стихи!

Свобода, свобода!..
Где ж рай твой веселый?

Следы твои страшны,
Отмечены кровью
На пестрой странице
Широкой земли!
И лютое горе
Ее залило,
Ту дивную землю,
Бесславную землю!..

— Это я написал! Я! — Сребрянский в исступлении застучал кулаком по столу. — Феничка! — всхлипнул он, запуская пальцы в растрепанные волосы. — Фенька! Пойми, друг!..

— Господин! — снова подошел половой.

— Андрюша! — Феничка положил руку на плечо Сребрянского. — Ты пьян, брат Андрюша... Пойдем!

Сребрянский поднял заплаканное, утомленное лицо.

— Я? Да, я... пьян... — запинаясь, произнес он. — Я тут... что-то врал тебе... спьяну... Это все вздор! Зависть и злоба — демоны темные! Лекарь намедни сказывал: ехать в деревню надо, вон из Питера. Ну, уеду, а что толку? Все одно подыхать. Эх, брат, — воскликнул Сребрянский, — не удалась наша жизнь!.. Пойдем, Феня...

Феничка поднял с пола шляпу, отряхнул ее и надел на голову Сребрянского.

На улице была ночь. Медленно-медленно падали пухлые хлопья снега. Одинокими красноватыми глазками мерцали уличные фонари.

Феничка молча обнял Сребрянского. Тот дрожал, у него стучали зубы. Костлявые холодные пальцы лихорадки гладили его по спине.

Когда друзья подошли к дому, Сребрянский остановился.

— Постой, Феня, — тяжело дыша, сказал он. — Я, брат... Насчет Кольцова-то... все врал! Спьяну врал! Со злобы, с тоски... Ведь он, Алешка-то, золотой человек, — понизив голос, почти прошептал Сребрянский. — Ведь он мне намедни... денег прислал... на дорогу... чтоб я в свою Козловку... к мамаше... на молочко! А я, брат, эти денежки-то... ах!

Сребрянский закрыл руками лицо и, низко опустив голову, зарыдал.

Утром он не смог подняться с постели — у него был жар, и Феничка отвез его в академический госпиталь.

5

К концу 1837 года у Кольцовых накопилось столько больших и малых неразрешенных тяжб, что Алексею пришлось срочно выехать в Питер.

После того как Жуковский побывал в кольцовском доме, Василий Петрович крепко поверил в «Алешкину силу». Рассудив, что «Алешка все выправит», Василий Петрович стал довольно откровенно прижимать и мошенничать по своим торговым и, главное, арендным делам, или «завираться», как говорили про него в Воронеже.

— Вы бы полегше, батенька, — как-то сказал Алексей отцу. — Этак ведь и вклепаться можно...

— Да, ай его сиятельство господин Жуковский не заступится? — подмигнул старик. — Ведь и то, сокол, рассуди: как торговому человеку без обману прожить?

— Я за ваши плутни просить не буду! — резко сказал Кольцов.

— Будешь! — усмехнулся отец. — Тебе не просить нельзя...

И он показал Кольцову дела: счета, долговые расписки и письма — все было сделано стариком на имя Алексея.

Кольцов прожил в Москве две недели, всякий вечер бывая в театрах и концертах. Вместе с Белинским они видели Мочалова в «Гамлете». Все время, пока играли увертюру, Белинский потирал озябшие руки: его пробирала дрожь.

Кольцов спросил, отчего он так тревожится.

— Какой раз гляжу Мочалова в «Гамлете», и всякий спектакль боюсь,— тихо сказал Белинский. — Мочалов — это недосягаемые взлеты и падения. Каков-то он будет нынче?

Наконец занавес пополз вверх. На сцене несколько воинов читали хорошо выученные роли. Потом появилось нелепое чучело — оно оказалось тенью отца Гамлета. Воин пожелал показать зрителям его призрачность и сделал вид, что пронзил его алебардой. Кольцову сделалось смешно, он толкнул коленкой Белинского и вопросительно поглядел на него.

— Ничего, ничего, — шепнул Белинский. — Вот подождите, сейчас...

Но вот появился Мочалов. В черном траурном платье, с лицом, полным человеческой скорби, он отделился от пестрой толпы придворных и остановился на краю сцены. Зал грохнул от рукоплесканий. Белинский сидел бледный, сжимая руку Кольцова. А тот глядел на сцену и не верил своим глазам: минуту назад он видел холщовые колеблющиеся колонны и тряпичные небеса; ему был смешон воин, тыкающий алебардой в чучело, нелепыми казались актеры, твердо выговаривающие свои роли. И вдруг небо стало настоящим, глубоким, мрачные колонны старого замка угрюмыми великанами уперлись в темный потолок. Что же случилось? Сцена была пуста. Один, кажущийся всем безумцем, прижимая к груди руки, стоял несчастный принц.

Как? Месяц... Башмаков она еще не истоптала,
В которых шла за гробом мужа,
Как бедная вдова в слезах...

Кольцов глянул на Белинского. Тот сидел, счастливый, откинувшись на спинку кресла. Еле заметная улыбка дрожала на его губах.

«Каков Мочалов?!.» — торжествующим взглядом спросил Белинский.

«Ах, да что ж тут спрашивать!» — вздохнул Кольцов.

6

Как и в первый раз, после цветастой Москвы с ее голубым инеем, яркими рассветами и запахом жареных пирогов, Петербург показался серым, скучным и недоброжелательным.

Московский попутчик уговорил Кольцова остановиться в номерах на Литейном.

Кольцов быстро переоделся и пошел искать квартиру петербургского журналиста Полевого. Еще в прошлом году Белинский послал ему большую статью о Гамлете и Мочалове. Полевой не ответил. Вдруг начало статьи появилось в «Северной пчеле». Это было неожиданно: Белинский не рассчитывал и не желал печататься у Булгарина. Кольцов должен был найти Полевого, обо всем расспросить его и подробно описать Белинскому все то, что скажет Полевой.

Была суббота. Торговля заканчивалась раньше, чем обычно. Кольцов зашел в первую попавшуюся книжную лавку и спросил адрес Полевого. Хозяин посмотрел в узкую длинную книжку и назвал улицу и дом.

В сумерках Кольцов добрался до этой улицы. Однако дома с таким номером, какой был указан книгопродавцем, на улице не было вовсе. Кольцов зашел наудачу в несколько домов и спросил у дворников Полевого. Никто из них не знал такого жильца.

Было совсем темно, когда Кольцов постучался к Сребрянскому. Его встретил Феничка и сначала не узнал, а узнавши, обрадовался и засуетился. В комнате было темно. Сальный огарок, оплывая, тускло освещал грязный стол с разбросанными на нем нотными рукописями.

— Это я переписываю, — сказал Феничка. — Все-таки, знаете, неплохо: по три копейки с листа...

— А где Андрюша? — спросил Кольцов.

— Что ж, Алексей Васильевич, — Феничка отвернулся и смахнул слезу. — Плох наш Андрюша. Лекари говорят, как бы не помер... ведь он...

— Я знаю: он писал, — перебил Кольцов. — Тут, Феофан Петрович, признаться, я, стало быть, сплоховал... Эх!.. — Кольцов стукнул кулаком по коленке. — Да ежели по совести сказать, в ту пору, как Андрюшино письмецо получил, денег не оказалось.

— Да нет, деньги-то от вас во-время пришли, — сказал Феничка. — Тут другая оказия получилась...

И он рассказал Кольцову печальную историю последнего запоя.

— А статья-то, — спросил Кольцов, когда Феничка кончил свой безрадостный рассказ, — статья-то, Феофан Петрович, где?

— Вот она, эта проклятая статья! — сердито сказал Феничка, ероша волосы.

Он порылся в бумагах и книгах, кучей сваленных на полу, нашел статью и подал ее Кольцову.

Кольцов расспросил, как ему найти госпиталь, где лежал Сребрянский, простился с Феничкой и медленно побрел к себе в номера.

«Неладно у меня в Питере начинается, — думал он, шагая по длинным темным улицам. — Ну, да голову вешать не приходится. Прикончу с делами, сам отвезу Андрюшу в Козловку. Эх, город каменный, — вздохнул Кольцов, — сожрал ты Андрюху!»

7

Книгопродавец сказал Кольцову неверный адрес, и он два дня бился, разыскивая Полевого на той улице, где тот не жил. Когда же, наконец, Кольцов получил точное название улицы и нашел квартиру Полевого, хозяина не оказалось дома. Так случилось и раз и два. Однако свидание с ним было нужно и важно для Белинского, и поэтому Кольцов положил хоть месяц ходить и дожидаться, но все-таки увидеть Полевого и все у него разузнать. Так, точно охотник, терпеливо выслеживающий дичь, Кольцов по нескольку раз на день стучался к Полевому, и всякий раз сердитая, заспанная старуха спрашивала из-за двери: «Кого надоть?», а узнавши, говорила отрывисто: «Дома нетути», — и отходила, шлепая туфлями.

Кольцов дважды побывал в госпитале у Сребрянского. Страшное ощущение близости смерти, так поразившее Кольцова в эти два свидания, не покидало его.

И, может быть, потому, что Сребрянский был особенно хорош и кроток при этих встречах и так ласкова была его милая, добрая улыбка, — может быть, именно поэтому Кольцову особенно ясно представилась близость смерти несчастного, умного и талантливого друга.



Когда Кольцов, одетый в затрепанный госпитальный халат, в первый раз вошел в большую холодную палату, где стояло пять железных убогих кроватей, служитель подвел его к одной из них. Кольцов отвернулся и заплакал: в заросшем грязной светлой бородой костлявом человеке он узнал Андрюшу. Все, что осталось от Сребрянского, были его лучистые глаза. В них сияла радость. Он с трудом приподнялся, и друзья обнялись.

— Слава богу! — прошептал Сребрянский. — Все-таки довелось свидеться... А я боялся...

Он не договорил и стал громко, задыхаясь, кашлять.

— Ты молчи, — так же шопотом ответил Кольцов. — Тебе вредно говорить...

Сребрянский, все еще кашляя, улыбнулся:

— Да ты что... шепчешь-то?.. Я не умею громко... говорить. А ты дуй вовсю!.. Ну, рассказывай!

Он положил свою прозрачную руку на рукав Кольцова и закрыл глаза.

Кольцов рассказал о своих делах, о воронежских знакомых, о печальной судьбе Кареева, о Кашкине.

— Кто бы мог подумать, — горячо сказал он, — про Дмитрий Антоныча! Так отвернуться от друга! А Саша! Вот, Андрюша, как ветром полову, пораскидала нас жизнь-злодейка!

— Ведьма! — не открывая глаз и силясь улыбнуться, прошептал Сребрянский. — Ведьма... карга чортова!.. А так все-таки, ежели по совести... ах, хороша... проклятая!..

Пришел служитель и сказал, что пора, а то лекарь ругаться будет.

Кольцов поднялся, стал прощаться, спросил, не надо ли чего. Сребрянский сказал, что нет, ему ничего не надо, вот разве хлебнул бы «ерофеича» на радости.

— Ну, да что говорить о пустом! — нахмурясь, оборвал он. — Нагнись-ка, Алеша...

Кольцов нагнулся.

— Ты не печалься... — прошептал Сребрянский. — Все плохое кончилось... навсегда! Здесь, — он приложил руку к груди, — здесь осталось одно светлое... и незабываемое...

Он вздохнул и, обессиленный, упал головой на жесткую соломенную подушку.

Кольцов шел из госпиталя; снег хлестал его по лицу, и он вытирал варежкой щеки, мокрые от снега и слез.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«В Питере живем, и добрым людям вечера даем».

(Из письма Кольцова к Белинскому.)

1

Когда Кольцов вошел в кабинет Полевого, тот вскочил с кресла и, запахивая на груди засаленный малиновый халат, рассыпался в извинениях за свое неглиже, обругал дуру-бабу за то, что она не предупредила его, предложил Кольцову трубку, чаю и, когда тот отказался от того и от другого, успокоился, сел напротив Кольцова и, склонив голову набок, приготовился слушать.

Кольцов передал ему письмо от Белинского. Полевой разорвал конверт и стал читать. Читая, он то качал головой, то пожимал плечами и бормотал:

— Ах, кипяток! Ах, горячая головушка! Фу ты, боже мой!..

Кольцов с удивлением рассматривал знаменитого журналиста. Издатель закрытого полицией «Московского телеграфа» представлялся ему не таким. Величественная осанка, гордо поднятая голова, орлиный взор — ничего этого не было. Были быстро бегающие глазки, неприятные ужимки, суетливость и, наконец, засаленный халат и ноги, обутые в плисовые, с меховой оторочкой полусапожки.

— Ну-с, — закончив чтение письма, сказал Полевой. — Виссарион-то Григорьич думает небось, что я и забыл про него: мол, с глаз долой — из сердца вон! Не так ли?

— Да, признаться, он маленько обижается на вас, — улыбнулся Кольцов.

— А вот и не за что! — воскликнул Полевой. — Не за что-с! Ведь кабы вы знали, любезный Алексей Васильевич, — я кажется та́к вас называю? — кабы вы знали, что это такое хлопоты питерские, да устройство дел, да недосуг!.. И я все собирался, все нонче да завтра, — да и вот по сей день...

— И как это вы управляетесь? — усмехнулся Кольцов.

— Что же делать? Крайность! — развел руками Полевой.

— Ну, Николай Алексеич, а статья Виссариона Григорьича? — спросил Кольцов. — Что со статьей?

— Да вот-с статья! — Полевой подбежал к конторке и порылся в рукописях. — Вот-с она! — воскликнул он, извлекая из вороха бумаг толстую тетрадь. — Это не статья — это махина-с! Как ее печатать? Я было думал, в «Пчеле» и уже тиснул начало, да глядь — ба! — валит еще продолжение, этак номеров на тридцать! Да еще и цензура: тут выражение, там выражение, — а ведь вы знаете Белинского, — без него выбросишь — убьет! — засмеялся Полевой.

— Так, стало быть, не будете печатать?

— Душой бы рад, да видите...

— В таком случае, любезный Николай Алексеич, — вставая, сказал Кольцов, — позвольте статью, я перешлю ее Виссариону Григорьичу.

— Нет-с, уж я сам с ним сначала перепишусь, что он скажет.

— Так напишите ж скорее!

— Напишу, напишу, не беспокойтесь! Ума не приложу, — захихикал Полевой, — чего вы-то, почтеннейший, тревожитесь? Добро б вас самих дело касалось...

— Да коли меня, так и речи не было б! А уж для Виссариона Григорьича — что хотите: вынь да положь! Без этого от вас и не уйду!

— Ах, торопыги! Вот торопыги!.. — Полевой склонил голову набок. — Все вскачь, все рысью! А мне и подумать надо и решиться не сразу. Ведь дела-то не устроены, все, бог их знает, косятся на меня, да и только. А всё старые проказы довели, ей-богу-с! Молод был, глупехонек, всё думалось, ничего да ничего, а теперь вот на старости лет расхлебывай... А ведь я всей душой люблю Виссариона Григорьича и почитаю, да вот-с какие дела-то... И рад бы в рай, да грехи не пускают! — Полевой потер руки и тоненько засмеялся. Он сам проводил Кольцова до двери, мелко-мелко кланяясь, простился с ним и просил не забывать.

Кольцов на минуту задержался на лестнице, поправляя выбившийся шарф. Он услышал, как за дверью Полевой распекал старуху.

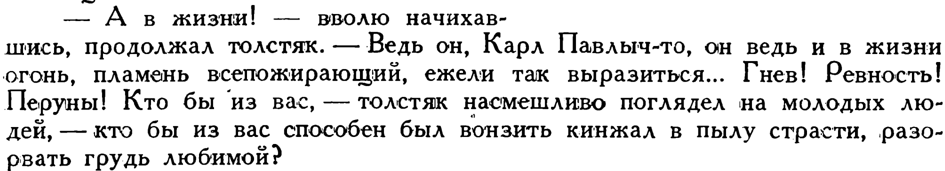
— Экая дурища! — пронзительно кричал Полевой. — Ведь говорил же, чтоб никого не пускала, так нет, вот же тебе! Ах, канальи! Покоя от вас нет, дармоеды анафемские!

2

В книжной лавке Смирдина всегда толкалось много народу. Тут можно было увидеть знаменитых литераторов, художников, еще больше — почитателей этих знаменитостей, а не то так и просто франта, озябшего на прогулке по Невскому и забежавшего к Смирдину погреться и, облокотясь на прилавок, полистать модный журнал с картинками.

Кольцову надо было купить ноты для Анисьи: еще летом он нашел ей учителя, и она с увлечением, делая большие успехи, занималась с музыкантом Ногаевым.

Пока приказчик отбирал по записочке нужные пьесы, Кольцов принялся разглядывать толпу покупателей и бездельников, пристроившихся у прилавков и окон смирдинского заведения.



Несколько молодых людей в широченных шляпах и плащах слушали разглагольствования неряшливо одетого, с толстым, отечным лицом человека. Кольцов с любопытством прислушался.

— Страсть! Огонь! — размахивая огромным, желтым с красными клетками платком, кричал толстяк. — Страсть волканическая! Вот что искусство! Возьмите вон хоть Карл Павлыча Брюллова! Демон-с! Везувий страстей! Да нет, — он развел руками. — Я когда в мастерскую его вхожу — поверите ли? — дрожь! Дрожь пробирает! А что ж, — толстяк вынул табакерку и втянул носом порядочную порцию табака, — что ж, — продолжал он, мигая и щурясь, — всякая серость полезла... ап-чхи!.. Ни страсти... ап-чхи!.. Ни огня... одна... — он снова чихнул, — низменность! Всякие там... Венециановы... Натуральные школы-с!

Молодые люди почтительно потоптались перед толстяком и закутались в плащи.

— А в жизни! — вволю начихавшись, продолжал толстяк. — Ведь он, Карл Павлыч-то, он ведь и в жизни огонь, пламень всепожирающий, ежели так выразиться... Гнев! Ревность! Перуны! Кто бы из вас, — толстяк насмешливо поглядел на молодых людей, — кто бы из вас способен был вонзить кинжал в пылу страсти, разорвать грудь любимой?

Молодые люди потупились.

— Его супруга — ангел-с, мадонна: совершенство форм, грация! Я молюсь на нее! Но вот-с она смотрит влюбленными глазами на государя — заметьте, на государя! — восклицает: «Ах!» — и что же? Карл Павлыч, как разъяренный тигр, бросается к ней и вырывает из уха сережку — с мясом-с!..

— Виноват! — кашлянув в руку, обратился Кольцов к толстяку. — Вот слушаю вас и никак в толк не возьму — о художнике ли нашем великом Брюллове вы говорите или же о мяснике базарном?

Толстяк окинул Кольцова презрительным взглядом.

— Милостивый государь... — надув щеки, произнес он, — как вы смеете?!

— Да что ж тут сметь! — резко сказал Кольцов. — Все сбили в кучу, несете околесицу, сплетни какие-то, и все под маской искусства... Да вы сами-то нюхали, что это за школа натуральная? Ведь вас молодые люди слушают — совестно!..

Толстяк побагровел.

— Ты... этак... мне?! — воскликнул он, угрожающе надвигаясь на Кольцова. — Мне?!. Да знаешь ли ты?.. Ах, ваше сиятельство! — толстяк расплылся в сладкой улыбке и, глядя через плечо Кольцова, стал кланяться, прижимая руку с платком к груди. — Честь имею, ваше сиятельство...

— Ты все шумишь, Яненко? — раздался за спиной Кольцова негромкий насмешливый голос.

Кольцов обернулся. Перед ним стояли Жуковский и Смирдин.

— Алексей Васильич! — удивленно произнес Жуковский, пожимая ему руку. — Вот встреча! Что это, неужто вы с ним, — он указал на Яненко, — спор затеяли?

— Да так-с, — кланяясь и хихикая, заюлил толстяк, — все об искусстве... Вернейшие мысли-с они высказали... не имею чести быть знакомым-с...

— Вот кстати, — не обращая внимания на Яненко, сказал Жуковский Кольцову, — только вчера Алексей Гаврилыч о вас справлялся... Я сейчас к нему — поедемте? С Брюлловым познакомлю, он там нынче быть обещался. Александр Филиппыч! — обратился он к Смирдину. — Пошли, голубчик, книги домой ко мне! — и, сопровождаемые поклонами, Жуковский с Кольцовым вышли из магазина.

3

У Венецианова были гости. Один — с длинными, волнистыми, чуть рыжеватыми волосами и крошечной бородкой, франтовато и дорого, но небрежно одетый, очень стремительный в движениях; другой — нескладный, бледный, в поношенном сюртуке, забавно мешавший в разговоре русскую речь с украинской.

Венецианов обнял Кольцова и представил его гостям. Франт оказался Брюлловым, нескладный — художником Сошенко.

— Ну что, Алексей Гаврилыч, были? — поздоровавшись, спросил Жуковский.

— Был. И очень даже был! — воскликнул Венецианов. — Уперся, да и только! Две тысячи — и говорить не желает!

— Экой зловредный немец! — Сошенко стукнул кулаком по ладони. — Свинья заморская! Понял, яким хлопцем володие!

— Понял, проклятая сосиска! — раздраженно сказал Венецианов. — Тут такие дела завариваются!.. — обратился он к Кольцову. — Ты прости старика, Васильич, ты с дороги, верно, так я сейчас распоряжусь....

— Да нет, нет! — вскочил Кольцов. — Ничего не надо!

— Ну, так дай я тебя еще разок поцелую!

Венецианов расцеловал Кольцова, потом, все еще держа его за руки, отстранил от себя и, достав платок, вытер глаза и очки.

— Похудел и постарел, — сказал Венецианов. — В прошлый раз был совсем хлопчиком, и ведь, кажись, всего два года прошло, а вот поди ж ты! Извините, господа! — Венецианов поклонился гостям. — Слаб я стал на глаза...

— Ну, полно, — сказал Жуковский. — Хорошие слезы дороже брильянтов.

— Це у вас, батьку, доброта через очи тече! — засмеялся Сошенко. — Так як же, добродию, чулы, що вин казав? Як же с Тарасом-то будемо?

— Да расскажите ж, господа, — сказал Кольцов, — что нынче в Питере делается? Вот вы все говорите, а я и не пойму...

— Ах, прелесть ты моя! — спохватился Венецианов. — Я ведь было и начал тебе докладывать, да сбился... Тут, Алексей Васильич, история прегорькая! Кащей-немец рабом владеет, а тот раб — художник гениальный... Вот, милый, все мы, сколько нас тут ни есть, ломаем бедные головы свои: как бы нашего Тараса от того немца избавить, да где же те две тысячи взять, какие помещик за своего раба запросил. Ох, рабство! Ох, лютый зверь, да когда ж мы над твоим прахом попируем?!.

Жуковский, все время ходивший по комнате, вдруг остановился.

— Друзья, — сказал он, — коли мы не сделаем, то кто же сделает? У меня мелькнула заманчивая мысль... Правду сказать, все это довольно сложно, однако...

— Ну, не томи, не томи, голубчик, — простонал Венецианов.

— ...однако вполне вещественно! — закончил Жуковский. — Карл Павлыч, — обратился он к Брюллову, — скажите, дорогой, сколько вам платят за портрет?

Брюллов удивленно поглядел на Жуковского.

— Да так... — пожал он плечами. — Тысячу, скажем, и две даже... Да о чем говорить! — с досадой воскликнул он. — У меня на беду нет ни одного заказа, я сам сижу без гроша.

— А ежели бы я вам доставил такой заказ? — улыбнулся Жуковский.

— Да вы, верно, шутите?

— Нисколько. Я уже говорил кое с кем из людей влиятельных и... денежных, конечно, — запнувшись, с улыбкой добавил Жуковский. — Тот портрет, что вы напишете, мы разыграем в лотерею и... вы понимаете, господа?

— Бесподобно! — воскликнул Брюллов. — Я готов хоть завтра начать сеансы. Но кто же будет изображен на портрете?

— Ваш покорный слуга, — поклонился Жуковский. — Как прикажете одеться — официально или попросту?

— Фрак, я думаю, — прищурился Брюллов. — Просто и строго...

— Но со звездой! — восторженно воскликнул Венецианов. — Обязательно! Ах, Алексей Васильич! — Венецианов снова вытер платком глаза. — Вот ведь люди, гляди, а? Ведь с этакими людьми жить и жить хочется!

4

Дела в Сенате шли хорошо. Слово Жуковского действовало на сенатских чиновников, как магическая палочка. В первых числах марта можно было бы ехать в Москву, чего Кольцов очень хотел, — там были друзья: Белинский, Боткин, Аксаковы — весь собор, как называл Кольцов кружок Белинского. А в Питере, хоть все и были добры к Кольцову, да постоянно в памяти жила назойливая мысль: тут убили Пушкина...

Не раз Кольцов приходил к его дому, со слезами на глазах глядел на окна, завешенные пышными шторами, бесконечно вспоминая свои три встречи с ним, его слова, его дружескую улыбку.

Однако ехать в Москву было нельзя: Сребрянскому стало хуже, и лекарь сказал, что этак он не только до двора, а и до Москвы не доедет. Пришлось оставить мысль об отъезде и ждать поправки Сребрянского.

Питерские издатели — Воейков, Краевский, Владиславлев, Плетнев — все просили стихов, и Кольцов, не желая кого-нибудь из них обидеть, давал всем. Издатели охотно брали стихи, однако никто не платил, да Кольцов и сам не думал о плате за стихи: продавать свои песни за деньги казалось ему обидным и грязным делом.

Милее всех ему были Панаев и Венецианов, и он чаще всех бывал у них. В их разговорах и обращении не чувствовалось ненавистного петербургского холодка. Вечно восторженный добряк Венецианов возил Кольцова в Эрмитаж. Дважды они побывали у Брюллова. Карл Павлович писал Жуковского. Портрет был превосходен. Брюллов обещался закончить его к апрелю.

— Нет, ты подумай! — Венецианов хлопал по плечу Кольцова. — В апреле Тараса нашего вызволим, — экая сила, братец ты мой!

Брюллов показывал Кольцову рисунки Шевченко: рисунки были хороши, намечался огромный талант художника, и было страшно подумать, что не случись так, как случилось, этот талант погиб бы в людской своего глупого и жестокого господина.

В мастерской Брюллова Кольцов встретился с Кукольником. Тот был слегка пьян, кривлялся, ругал Белинского за то, что он не понимает его, и грозился бросить писать по-русски.

— А как же, на каком языке вы хотите писать? — спросил Кольцов.

— Натурально, на итальянском! — томно закатив глаза, произнес Кукольник. — Язык богов, вечной красоты...

— Будет врать-то! — сказал Брюллов. — Экой еще Петрарка нашелся.

— А что, — обиделся Кукольник, — и напишу-с!

Он позвал Кольцова к себе на «среду». По средам у него собирались литераторы. Кольцов пошел и пожалел, — у Кукольника был сброд: чиновники, генералы, какие-то франты — кукольниковские поклонники. Хозяин дома важничал, врал, гости много пили, шум стоял немыслимый.

— Ба, ба, Алексей Васильич! — услышал Кольцов за спиной. — И вы сюда, в этот вертеп пожаловали?

Кольцов обернулся, увидел Панаева и обрадовался ему.

— Вот, Иван Иваныч, хорошо-то! — здороваясь с Панаевым, сказал Кольцов. — Всё свой человек, а то я стал было поглядывать, как бы стрекача задать.

— Что ж так? — расхохотался Панаев.

— Да больно уж народ пестрый... Прямо ярмарка!

— Тут всегда этак. Да вы не обращайте внимания. Идемте, я вам питерского Иуду покажу!

Панаев взял под руку Кольцова и прошел с ним в кабинет хозяина. Здесь было накурено до темноты. В глубоком кожаном кресле сидел, разва-

лившись, рыхлый генерал с надменным, важным лицом. В прическе с височками, в баках, в презрительно выпяченной губе — во всем чувствовалось желание подражать государю.

Возле генерала, все время кланяясь и заглядывая в глаза, юлил невысокий, обрюзгший, лысоватый господин во фраке с орденской ленточкой.

— Да, брат Булгарин, — сквозь зубы, как бы нехотя, говорил генерал. — Эти ваши новые искусства так... пошлость одна... Ничего возвышенного, все так мизерно!

— Так точно, ваше высокопревосходительство! — кланялся Булгарин. — Вот именно мизерно-с, как вы изволили выразиться!

— Вот я намедни ездил в оперу, — продолжал генерал. — Подняли занавес, гляжу: мужики! Странно: композитор Глинка — дворянин, что же это, а? Уже и дворяне на холопской балалайке стали играть, а, Булгарин?

Булгарин сокрушенно покачал головой:

— И не говорите, вашество!..

— Ну, я понимаю: идея... — цедил генерал. — Но музыка! Где же музыка, а, Булгарин! Где музыка?!

— Какая музыка, вашество! Так, бренчат.

— Да нет, помилуй! — Генерал выпятил грудь и пошевелил пальцами. — Помилуй, Булгарин, что́ бренчат! Это трактир, где извозчики чай пьют!

— Вот именно: трактир-с! — восхитился Булгарин.

— Так надобно запретить эту музыку! — Генерал сделал жест, означавший запрещение. — Запретить! И внушить автору, чтобы он... Ну, другую написал, что ли... Дать, наконец, ему европейские образцы.

— Так точно, вашество! Вот именно: запретить и дать образцы! Я уж писал об этом, вашество!

— Ну и что же?

— Не запрещают, — сокрушенно вздохнул Булгарин. — Ведь сейчас в искусстве-то русском кто? Все так, кто-нибудь, из мужиков даже имеются, а благородного звания — почитай, что и нету-с! Вон ведь, — Булгарин совсем прилип к генеральской эполете, — вон ведь у них кто в литературе коноводит-то сейчас? Белинский, вашество! Дебошир, санкюлот, пьяница-с, вашество!

Панаев подмигнул Кольцову. Кольцов был бледен.

— Иван Иваныч! — дрожащим голосом сказал он. — Вертеп, вы говорите? Нет, хуже! На простом наречии это не так называется! Вы как хотите, а я уйду!

И, не попрощавшись с хозяином, Кольцов ушел.

5

Наступала петербургская весна: мокрый снег, ветер с моря и пронизывающая до костей туманная сырость.

Сребрянскому стало лучше, да началась распутица, и отъезд отложили снова.

Кольцову наскучило в Питере. И хотя каждый день он был зван то к одному, то к другому литератору и литераторы уже не как в позапрошлом году — свысока, а почтительно и с уважением принимали его, — ему было скучно.

Несколько раз он брался за перо, да «перо, — как он впоследствии писал Белинскому, — было, как палка», — стихи не шли, и он рвал на мелкие клочки исписанные бисерным почерком листочки.

За эти два месяца он перезнакомился со всеми питерскими знаменитостями. Прославленный Бенедиктов подарил ему книжку стихов. Однофамилец Жуковского, писавший под именем Бернета, частенько захаживал в номера, где жил Кольцов, и, завывая, читал свои новые, риторичные и напыщенные поэмы. Из круга художников Кольцов был особенно близок с Венециановым и Мокрицким. Мокрицкий даже нарисовал портрет Кольцова, которым тот, впрочем, остался недоволен.

— Ты, Аполлон Николаич, извини, — сказал он Мокрицкому, — ты из меня красавца писаного сделал... Экий валет червонный!

— Польстил, польстил! — смеялся и Венецианов. — Красавчик получился, а самой красоты-то кольцовской и нету!

Однажды Панаев предложил Кольцову собрать у себя в номерах литераторов.

— Ей-богу, голубчик, Алексей Васильич, это идея! Вы у всех перебывали, все вас знают и, кажется, теперь, не в пример прошлому, уважают. Разошлите приглашения, а я помогу насчет сервировки, вин, а?

Панаев так увлекся мыслью о литературном вечере, что, расписывая, как все это устроится, просидел у Кольцова далеко за полночь. Тут же были намечены гости, назначен день, написаны пригласительные билеты.

Кольцову и самому понравилась затея Панаева; он, не жалея денег, стал хлопотать об ужине, об официантах, о столах и скатертях.

Как-то раз, еще задолго до литературного вечера, Кольцов угостил Панаева донскими маринованными бирючками. Прасковья Ивановна была мастерица приготавливать эту рыбку, и Панаев, отведав бирючка, сказал, что вкуснее он ничего не едал.

Теперь он вспомнил про бирючка, — у Кольцова его оставалось еще с полбочонка, — и велел среди прочих угощений поставить на видном месте и бирючка.

— Это, Алексей Васильич, гвоздь вечера будет! — потирал руки Панаев. — Будьте спокойны, уж я-то в этих вещах разбираюсь до тонкости!

6

Наконец в ближайший понедельник к дому госпожи Титовой в Басковом переулке на Литейном, где жил Кольцов, начали подъезжать экипажи. В наемных каретах приехали Краевский и Полевой. Подкатывали извозчичьи санки. Панаевская франтовская «четверня на вынос» с бородатым горластым кучером наделала шуму в тихом Басковом переулке. Когда же, визжа коле-



сами и сияя фонарями, к дому госпожи Титовой подъехала голубая, с княжескими гербами на дверцах щегольская карета князя Одоевского, жильцы меблированных комнат, отродясь не видавшие такого великолепного съезда, как бы невзначай, стали выходить из своих номеров и прогуливаться по коридору.

У входа стоял Кольцов и принимал гостей. В комнатах ярко горели свечи, и официанты из соседнего трактира сновали вокруг сдвинутых и уставленных винами и закусками столов.

— Ну-с, Алексей Васильич, батюшка, — отдуваясь, сказал Краевский, входя к Кольцову, — богато жить стали. Посмотреть приятно-с!

Венецианов с Мокрицким приехали позже других. У Мокрицкого топорщился плащ от какого-то тщательно завернутого в серую бумагу четырехугольного предмета. Скинув тяжелую ватную шинель, Венецианов тщательно вытер клетчатым платком очки, взял из рук Мокрицкого таинственный предмет и развернул его. Предмет оказался небольшой, писанной масляными красками картинкой. Венецианов поставил ее на стул, повернув так, чтобы пламя свечей не отражалось на лаковом глянце картины. Ее окружили гости.

Кольцов замер от восторга. Картина изображала поле. Оно уходило вдаль, сливаясь в мутном мареве с горизонтом. По пояс во ржи стоял

молодой парень и точил косу. Светлые волосы косаря слиплись на загорелом лбу.

Венецианов вынул табакерку, понюхал и только после этого обратился к Кольцову.

— Прошу, прелесть моя, — важно сказал он, кланяясь Кольцову, — прошу принять в день именин-с — от именинника же! А? Что? — Он рассмеялся. — День-то какой нынче? Какой день-то? — он поднял очки на лоб и оглядел гостей. — Алексея, судари мои, божьего человека-с! И посему, радость ты моя, — он обнял Кольцова, — мы с тобой нынче именинники! Прошу принять!

— А ведь и верно, — развел руками Кольцов. — Из головы вон! Ну, спасибо, дорогой Алексей Гаврилыч! Такого подарка мне и во сне не видывалось.

— Позвольте и мне, — сказал князь Одоевский. — Он подошел к Кольцову и с глубоким поклоном подал ему сверток. — От всей души и на всю жизнь... пока не разобьется! — улыбнулся князь. — Осторожнее, осторожнее, батюшка, это чашка!

Панаев схватился за голову и побежал к столу распорядиться. Хлопнули пробки, официанты разлили шампанское, и гости один за другим потянулись к Кольцову с поздравлениями.

7

Между тем в номерах уже становилось тесно. Приехал Владиславлев в парадном, голубом с эполетами и шнурами, мундире, как всегда, чистый, прямой и важный. Пришли поэты Бенедиктов, Бернет, переводчик «Фауста» Губер и земляки Кольцова, воронежцы: цензор Никитенко и морской офицер Крашенинников. Самым последним приехал Кукольник. Он вошел в комнату под руку с Булгариным. Кольцов с Панаевым переглянулись: Булгарину не посылалось приглашения.

— Ну, не взыщи старика, — подрыгивая на ходу короткими ножками, подошел он к Кольцову, поеживаясь и потирая лысину. — Не взыщи! Не звал, а пришел, притащился, поглядеть притащился! И впрямь совестно — все толкуют: «Кольцов, Кольцов!» — а я его и не видывал. Вот-с, спасибо Нестору Васильевичу: он — сюда, а я за ним, как репей на хвосте-с! Э, да тут, судари мои, пир, банкет-с! Или прием прославленным поэтом своих почитателей-с?

— Ну что вы, Фаддей Венедиктыч, — просто сказал Кольцов. — Рад гостю, прошу покорно.

Булгарин захихикал и раскланялся на все стороны. Искоса злобно глянув на Полевого, с которым он был на ножах, изогнулся перед Владиславлевым и вдруг увидел Одоевского.

— Ваше сиятельство! — воскликнул Булгарин. — Батюшка! Вот уж радость, так радость!..

Одоевский сухо кивнул и отвернулся.

Кольцов пригласил к столу, и гости стали шумно рассаживаться.

8

За ужином все хвалили бирючка. Кукольник съел их добрый десяток и сказал экспромт:

Пестры, как барсы, и жирны
Сии воды донской сыны!

Булгарин захлопал в ладоши, встал и потянулся чокаться с Кукольником.

— Вот гений! Стих сам льется! А? Рыбку воспел!

Панаев шепнул Кольцову: «Экая образина!» — и громко сказал:

Все хорошо, да вот беда:
Стиху иному мать — вода!

Все засмеялись. Кукольник обиделся и сделал вид, что не слыхал панаевского экспромта.

— Резко судишь, Иван Иваныч! — погрозил пальцем Булгарин. — «Рука всевышнего» — непревзойденное творение!

— Конечно, — весело согласился Панаев. — Всем известно, что

Рука всевышнего три чуда сотворила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала,
Зато... кого-то уходила!

Полевой принужденно засмеялся. Панаев намекал на него: за резкий отзыв о «Руке» был закрыт «Телеграф» и на Полевого посыпались напасти.

— Ну, что там старое вспоминать! — примирительно сказал Одоевский.

— Верно, верно, князь! — живо откликнулся Кукольник. — Ведь вот и я на Николая Алексеича, — он кивнул в сторону Полевого, — не обижаюсь нисколько... А уж он ли меня не поносил!

— Молодо-зелено, — смущенно пробормотал Полевой. — Я, видит бог, Нестор Васильевич, ваш талант почитаю.

Одоевский презрительно улыбнулся.

— Ну да, ну да, конечно, — сказал он.

— Господа! — воскликнул Кольцов. — Неужто мы браниться да счеты сводить собрались? Право, вы меня обижаете, господа! Прошу покорно не отказать, по русскому обычаю!

Он взял у официанта поднос с вином и стаканами и начал с поклоном обносить гостей.

— По русскому обычаю, — повторил он. — Прошу не отказать, господа...

9

Ужин кончился весело и мирно. Полевой клялся Кукольнику в своей любви и верности и поносил на чем свет стоит крамольные московские нравы. Одоевский и Краевский уехали сейчас же после ужина. Владиславлев, выпросив у Кольцова стихи, исчез, не прощаясь, — по-английски. Официан-

ты убрали столы, тесная компания расселась по диванам, и в уголках начался оживленный разговор.

Стройный, красивый Крашенинников в черном с золотым воротником мундире рассказывал о шторме, во время которого затонул его корабль, и ему с матросами пришлось около суток продержаться в бушующем море, пока французский транспорт не взял их к себе на борт.

— Ох, батюшка, страх-то какой! — простодушно сказал Венецианов. — Легко сказать: сутки в пучине морской!

— Ах, море! — воскликнул Бенедиктов. — Оно хорошо уж тем, что вечно пленяет поэтов!

— Ну, милый, — махнул рукой Венецианов, — и без твоего моря для вдохновения есть предметы. Вон рожь спелая или степь ковыльная — чем тебе хуже моря?

— Да полно, Владимир Григорьич! — вскочил Булгарин. — Не слушай ты их, соловей ты наш! Скажи свое «Море». Да просите ж, господа, Владимира Григорьича!

Бенедиктов встал, одернул фрак и, скрестив на груди руки, мрачно поглядел на гостей.

— Ах, каналья, вот кривляется! — шепнул Панаев Кольцову.

Бенедиктов стал читать. Он то размахивал руками, то прижимал их к груди. Его дребезжащий, неприятный голос повышался до визга и замирал до шопота. Стихи были цветистые и вычурные, как все, что он писал.

Свинцовая дума в тебе потонула. —

завывал Бенедиктов, —

Мечта лобызает поверхность твою...
Отрадна, мила мне твоя бесконечность...

— Да, — довольно громко сказал Венецианов. — Вот кабы ты этак побарахтался сутки-то!..

— Ах, умник! — воскликнул Булгарин, когда Бенедиктов кончил читать. — Вот дельно, так дельно! А ну-тка, господа, — Булгарин растопырил руки, как будто собираясь кого-то поймать, — а ну-тка, нынешние-то! Нешто этак могут? — Он искоса поглядел на Кольцова. — Где там!.. Все по земле да по навозу-то «чвяк, чвяк»!

Кольцов насмешливо улыбнулся:

— Ну, так ведь вы, Фаддей Венедиктыч, давний поклонник прекрасного. Мне еще Александр Сергеич про вас говаривал...

— Что? Что? — перебил Булгарин. — Он, покойник, востер на язык был... Многим от него перепадало... Но меня уважал-с! Уважал-с, на всех сошлюсь!

— Да ведь нельзя же! — воскликнул Бенедиктов. — Нельзя же все одно матерьяльное признавать, а красоту, мечты небесные отрицать!

— Белинский! — мрачно пробурчал Кукольник. — Мне сам Пушкин завидовал, а он — экося! На меня такие критики пишет! Обидно!

Кукольник всхлипнул и покачнулся.

— Нет-с, господа! — спокойно сказал Кольцов. — Так рассуждать нельзя. Вот вы все говорите: поэзия, возвышенность! А что это за поэзия, когда в ней жизни нет? Возвышенность! Так скажите тогда, что же и над чем возвышается?

— Э, батюшка! — Булгарин уперся руками в коленки. — Так это же речи господина Белинского.

— Да! Ежели вам так угодно, пусть будут те же! — с жаром воскликнул Кольцов. — Это, я доложу вам, такие речи, что ночью светло становится, а зимой снег тает! Вот, — вы не обижайтесь на меня, Владимир Григорьич, — вот мы сейчас пьеску «Море» прослушали... Слов нет, презвучная пьеска, но, господа, где же идея? Где мысль? Ведь тут слова одни голенькие, как есть. «Мечта лобызает поверхность...» — ведь это так, собрание звуков! Или вот Бернет, Александр Кириллыч, намедни мне дал свою «Елену». Я прочитал ее — и диву дался! Для чего ж человеку разум дан, да глаза, да уши? Для чего жизнь дана? Нешто для того только, чтоб ее не замечать вовсе? Я даже на память заучил вроде заклинания, что ли! Вот-с, извольте послушать:

Свиреп, отвергнут, раздраженный,
Деяний жаждою томим,
Носил огонь, меч обнаженный
И жил отчаяньем одним!

Ведь это, господа, все равно, что у нас в деревенском быту есть заговоры: «арц! арц! арц!» А что это за «арц!» — одному богу ведомо!

— А, видишь, видишь!.. — Кукольник обнял Бенедиктова. — А я что говорил? Для них, — он сделал ударение на слова «для них», — для них ли нам писать? Обидно, Владимир Григорьич! Давай писать по-итальянски!

Гости разъехались часа в два ночи. Панаев стал показывать, как варить глинтвейн, да злоупотребил. Кольцов повез его домой. Шел дождь, было тихо.

— А вы молодец, Алексей Васильич! — пожимая руку на прощанье, сказал Панаев. — Здорово вы их! Да только не резко ли?

— Да что ж все в молчанку играть-то? — улыбнулся Кольцов. — И так я уж довольно в запрошлом годе молчал. А нынче досада взяла: несут галиматью и преважно... Ну, да ничего: пущай и наши копыта помнят!..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сколько звуков, сколько песен
Раздалося вновь во мне.
А. Кольцов

1

Взяв Сребрянского из госпиталя, Кольцов не повез его в Измайловский полк, на его старую, неуютную и грязную квартиру, а поселил вместе с собой у госпожи Титовой, отведя Андрею Порфирьичу чистенькую, солнечную комнатку.

В тот же день, как Сребрянский удобно устроился в своем новом жилище, Кольцов привел цирюльника, и тот побрил и постриг Сребрянского. Потом Кольцов купил полдюжины тонких полотняных рубах, сюртук, сапоги, переодел Сребрянского и положил себе за правило следить за внешностью и удобствами своего друга.

— Ты, Алеша, — улыбаясь, сказал Сребрянский однажды, — за мной, как за любимой женщиной, ухаживаешь. Чем и когда я отблагодарю тебя за всю твою доброту!

Когда все было готово к отъезду, то-есть выписаны подорожные свидетельства, закуплена провизия и уложены мешки и сундуки, Кольцов пошел прощаться с питерскими друзьями.

У Жуковского он застал Брюллова и Венецианова. Портрет был закончен. Он стоял в кабинете, сияя свежим лаком и золотом новой рамы. Жуковский сообщил, что на-днях будет аукцион, пожалел, что Кольцов уезжает, спросил, все ли дела его хороши, а когда Кольцов стал благодарить его за покровительство и поддержку, поморщился и сказал, что это такие пустяки, о которых и вспоминать нечего.

— Это все, правда, братец, ерунда, — воскликнул Венецианов, — все крючкотворство это сенатское. Вот дело так дело! — он указал на портрет. — Тут Василия Андреича с Карлом Павлычем уж не мы с тобой, а вся Россия со временем благодарить станет... Ну, прощай, голубчик, Христос с тобой, приезжай поскорей. Полюбил я тебя, привык и расставаться жалко...

Нужно было еще зайти к Панаеву. Когда Кольцов подошел к его дому, Иван Иваныч садился в коляску. Он был щегольски одет и завит, от него пахло тончайшими дорогими духами. Извинившись перед Кольцовым и обругав тот ничтожный, но, к сожалению, необходимый вечер, на который он

направлялся, Панаев сказал, что завтра он сам зайдет к Кольцову проводить его.

Действительно, утром в назначенный час у ворот дома госпожи Титовой, где путешественников уже дожидалась ямская тройка, остановилась щегольская панаевская коляска.

— Как же вы в этакой колымаге Андрея Порфирьича повезете? — закричал с порога Панаев. — Ведь в ней здоровому человеку ехать невмоготу, а уж больному этак на соломе, — я и не представляю!

Кольцов и сам понимал, что Сребрянскому трудно будет ехать в ямской тележке, в которой не было рессор. Однако купить новый экипаж он не мог: коляска стоила дорого, не по деньгам.

Панаев велел ямщику выпрячь лошадей и отправил его со своим кучером домой.

Вскоре вернулся ямщик. Лошади были впряжены в просторный, очень удобный тарантас.

— Ну, Иван Иваныч, — Кольцов крепко пожал руку Панаеву, — всегда я любил вас, а теперь готов земным поклоном поклониться!

2

Было тепло. Над черными полями клубился пар, весенний ветерок пел в ушах, побрякивал колокольчик.

Сребрянский в начале пути все еще чувствовал слабость, но дорога была так хороша, так ласково сияло солнце и, нагретые им, так приятно пахли кожаные подушки панаевского тарантаса, что на второй день путешествия бледные до тех пор щеки Андрея Порфирьича стали покрываться легким загаром и румянцем.

Закутанный шалями, Сребрянский полулежал на удобном мягком сиденье. Он был гладко выбрит, воротничок рубашки сиял ослепительной белизной, на шейном платке сверкала франтовская булавка.

— Как хорошо! — говорил он, жадно вдыхая ароматный весенний воздух.

— Вот, погоди, доедем до двора, да как начнет матушка тебя молочком с пампушками откармливать, — еще сто лет прошагаешь!

— Да уж верить ли? — задумчиво покачал головой Сребрянский.

— Тут, брат, все дело в вере! То-есть прикажешь себе стать на ноги — и станешь, ей-богу! Мне вон лекарь наш, Иван Андреич, говорил, что вера такая для больного сильней лекарств всяких.

Закатывалось солнце. Из логов несло прохладой. На далеком озере кричала выпь. Показалось большое село. Прощальный луч уже невидимого солнца горел золотым огнем на кресте высокой колокольни.

— Любань! — оборачиваясь, сказал ямщик, указывая кнутовищем на село. — Но-о, милые!..

Он вытащил из-под сиденья кнут, помахал им, подхлестнул ленивую пристяжку, и тарантас запрыгал по бревенчатому настилу грязной дороги.

— Алеша! — Сребрянский положил руку на колено Кольцова. —

А ведь мне сейчас только в голову пришло, что мы с тобой по радищевскому следу едем... Помнишь Любань? Вместе ведь читывали.

— Это где он с пахарем разговаривал? — спросил Кольцов. — Ну да, в Любани было... Гляди, гляди, Андрюша! — Кольцов привстал. — Во-он, где мельница-то... Видишь?

Сребрянский глянул в ту сторону, куда указывал Кольцов. Далеко-далеко, на самом горизонте, четко выделяясь на оранжевой полосе заката, виднелась одинокая, сгорбившаяся над сохой фигурка пахаря.

— Уж не тот ли? — улыбнулся Сребрянский. — А я, помню, тогда еще в тетрадь себе записал это место из «Путешествия»: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение...» И кончается: «Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!..»

— Экая у тебя, Андрей, память! — восхищенно глядя на Сребрянского сказал Кольцов.

Весь путь до Москвы они проехали, вспоминая радищевское «Путешествие». Сребрянский оживился, внимательно приглядывался к прохожим и проезжим, к мужикам во встречных деревнях, к ожидающим на станциях путешественникам. Он задумал описать в стихах и свое путешествие.

— Гляди, как бы вместо Козловки в Сибирь не заехал, — пошутил Кольцов. — В пути, говорят, под ноги глядеть надо, а не по сторонам!

Ближе к Твери дорога стала плоха, и как ее ни мостили бревнами и плетнями, седоков мотало из стороны в сторону, точно мореходов на утлом челноке в разбушевавшемся море.

Возле самого въезда в город, у заставы, они повстречали телегу; по бокам ехали верховые солдаты. В телеге сидели три мужика. Они были закованы, цепи побрякивали на рытвинах. За телегой, плача, шла баба. Закрывшись подолом, она брела, как слепая, спотыкаясь и падая.

Один мужик что-то крикнул кольцовскому ямщику. Конный солдат обернулся и не спеша вытянул его плетью: «Я те покричу!»

Сребрянский вздрогнул и отвернулся.

— За что это их? — спросил Кольцов у ямщика.

— А кто ж его знает? Значит, чем ни то не угодили начальству, — усмехнулся ямщик. — Надо быть, за это!

— Боже мой! — простонал Сребрянский. — Гляди, Алеша, сколько годов прошло, а вспомни!

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.

Ямщик обернулся, внимательно поглядел на Сребрянского и покачал головой.



Ночью в Твери Сребрянскому стало хуже, снова вернулась лихорадка. Кашель душил и не давал спать. Кольцов тревожно прислушивался к неровному хриплому дыханию Андрея Порфирьича. «Господи, — думал он, — хоть бы до двора довезти!»

3

Когда коляска въехала во двор Белевского подворья, Сребрянский был так слаб, что в избу его пришлось внести на руках.

— Занедужил, вижу, попутчик-то? — спросил дворник.—Чай, отдельную горницу надобно? Есть хорошая...

Горница в самом деле была хороша. Ее два окошка выходили в садик, полы чисто вымыты, разостланы свежие половики, большая деревянная кровать, накрытая сшитым из разноцветных лоскутков одеялом, была завешена голубым ситцевым пологом. Одно было плохо: перед образами горели три лампады, и в комнате стоял тяжелый запах лампадного масла.

Кольцов задул лампадки, распахнул окно и велел дворнику послать за лекарем.

— Ну как, Андрюха? — наклонился Кольцов к Сребрянскому. — Не легшеет?

Не открывая глаз, Сребрянский слабо улыбнулся:

— Замотался ты со мной, Алеша... Ведь у тебя своих дел сколько...

— Ну, дело — не медведь, в лес не уйдет! — весело сказал Кольцов. — Эх, благодать-то какая на дворе, гляди!

Сребрянский с трудом повернулся к окну. Сад был как бы сквозной, листья на деревьях не распустились, но почки набухли и лопнули, и легкий пушок покрывал ветки. Тысячи синичек пересвистывались тоненькими голосами. В конце сада росли старые березы, из-за которых виднелись три золотые маковки старинной церкви.

— Как хорошо! — вздохнул Сребрянский. — Это, брат, не Питер, это наше...

— Верно, — воскликнул Кольцов, — наше! Тут и дух другой — много легче питерского!

— Лекарь пришел, — просовываясь в дверь, сказал дворник. — Чай будете пить ай нет?

— Да, а как же без чаю-то? Еще и спрашивает! — возмутился Кольцов.

Лекарь оказался молодым, похожим на Шуберта, немцем, в очках, с пухлыми щеками и грустной улыбкой. Он велел закрыть окно, осмотрел Сребрянского, прописал ему лекарство и сказал, что весенний воздух, столь полезный для здорового человека, больному, и особенно легочному больному, может быть не только вреден, но и губителен.

— Надо много лежать и иметь покой! — закончил немец и, пообещав заходить ежедневно, откланялся.

Кольцов пошел его проводить.

— Скажите по совести, — беря за руку доктора, спросил он, — довезу ли?

Немец поднял глаза к небу и пожал плечами:

— Есть медицина, но есть также и бог. Во всяком случае, продолжать путешествие опасно. Надо ждать теплой и сухой погоды...

4

Пока лекарь осматривал Сребрянского, а дворник возился с самоваром, небо, как это часто бывает весной, покрылось тучами, в саду сделалось темно, в окна застучал косой холодный дождь.

Под ровный шум дождя Сребрянский заснул.

Кольцов напился чаю и сел на лавку возле окна. Дождь хлестал по веткам сада. Где-то за стеной однообразно журчала струя падающей с крыши воды. Итти по такой погоде никуда не хотелось. Кольцов расстелил на лавке кафтан и прилег. Как только он лег, усталость от пути и дорожных хлопот навалилась на него, ноги вдруг отяжелели, глаза закрылись сами собой, и он задремал.

В его воображении потянулась дорожная колея, черные поля с лесами и перелесками, ветлы по краям дороги, шаткие мосты; проплыла ветхая деревянная колокольня, мелькнул верстовой столб, прохожий человек, отступив с дороги в грязь, снимал шапку, кланялся.

Затем откуда-то вынырнула телега с закованными мужиками, конный солдат с плетью, плачущая баба, — и снова потянулась дорожная, черная, кое-где наполненная водой колея, замелькали верстовые столбы, корявые ветлы...

Однако все это проплыло мимо, а бабий плач не умолкал. Кольцов открыл глаза. Жалобно всхлипывая и причитая, за дверью плакала женщина. Тихонько ступая, чтобы не разбудить Сребрянского, Кольцов вышел в сени. Там было темно. Вдруг открылась дверь из общей горницы и в сени вышел дворник. Он подошел к тому углу, откуда слышался плач.

— Все сидишь? — с досадой спросил он и, не дождавшись ответа, сказал: — Иди, ради бога, не срамись, ведь тут народ постоялый... Ну чего, дура?

— Да не гони ж ты меня, — всхлипнула женщина. — Батюшка, родименький, не житье, ох!..

— Ну, зачала про старое! — лениво сказал дворник.

Кольцову показалось, что он зевнул.

— Батюшка, родименький, не житье мне там...

— Ну, чего ж не житье? Чай, муж, не кто-нибудь... Не греши, Катерина!

— Да постыл он мне, батюшка! — вдруг переставая плакать, с жаром воскликнула женщина. — Чорт старый, слюнявый!

Кольцов кашлянул.

— Кто это? — спросил дворник. — Чего, самоварчик, нешто, сменить? Иди, иди, не срамись перед постояльцем-то... Иди, ничего!

Он открыл дверь на крыльцо, взяв за руку женщину, подтолкнул ее к выходу.

— Куда ж гонишь-то? Дождь... — сказал Кольцов.

— Ничего, — ухмыльнулся дворник. — Это бабе дюже пользительно. Раскудахталась, право... Дочь, — с наигранным равнодушием пояснил он. — Вишь ты — муж ей не нравится. Тьфу! Бабы, одно слово...

— Да, может, он и вправду нехорош? — спросил Кольцов.

— А куда ж денешься-то? — Дворник закрыл дверь на крыльцо. — По нашему обиходу и нехорош, так хорошим сделается. Ну, дождь!.. — крякнул он. — Обложной, кажись, дай бог ему здоровья!

5

Уже в сумерках проснулся Сребрянский. Увидев Кольцова, он удивился:

— Я думал, ты по Москве бегаешь.

— Дождь, — вздохнул Кольцов.

Сребрянский попросил чаю, выпил полстакана и заснул снова.

— Ну, это хорошо, это на поправку! — зажигая свечу, сказал дворник.

На подворье была тишина. Только шум дождя да та водяная струя, что стекала за стеной с крыши, соединялись в один басовитый, ровный и умиротворяющий звук.

Кольцов присел к столу. Ровный шум дождя и струи был ему приятен. Жалобный женский плач, все еще стоявший в ушах, трогательно примешивался к этому звуку, и казалось, что плачущая женщина жаловалась, а кто-то спокойно и ласково ее утешал.

«Муж ей, вишь ты, не нравится», — вспомнились Кольцову дворниковы слова.

Затуманившимся взором глядел он на вздрагивающий, злой язычок свечи.

— Не нравится! — грустно усмехнулся Кольцов.

Он искусал карандаш и положил его на стол. Слов не было. Они теснились где-то в груди, и от этого рождалось то беспокойство, которое Кольцов так любил и боялся.

Ему вдруг вспомнилось лето прошлого года, когда на Дону, на даче у Башкирцева тоже вот этак хлынул дождь и вмиг размыл глинистую кручу берега. Все гости кинулись в рыбачий шалаш, а он полез под дождем по крутизне. Ноги скользили, за ворот лились холодные струи дождя, но он все карабкался, не оглядываясь, и был уже почти на самой вершине обрыва, когда услыхал за спиной смех. Он с удивлением обернулся. Шагах в пяти от него, вся в глине, вымокшая и раскрасневшаяся, стояла Варенька Лебедева.

— Ну вот, уставился! — расхохоталась она, глядя на Кольцова. — Хоть бы помог, тюлень! Право, тюлень!

Кольцов нагнулся, протянул ей руку, крикнул: «Держись, Варюша!» — и сильным рывком почти выбросил ее на вершину береговой кручи.

— Ой! — блеснула глазами Варенька. — Да ты сильный какой! А в глине-то весь, батюшки!

— Да и ты хороша! — засмеялся Кольцов.

Они глянули вниз. Далеко под ними, у самой воды, виднелся нахохлившийся рыбачий шалаш. Какой-то человек в длинном, до пят, сюртуке бегал возле шалаша и, размахивая руками, что-то кричал.

— А-я!.. А-я!.. — доносилось снизу.

— Это мой старик меня кличет, — сказала Варенька. — Не достанешь, старый дурак, не достанешь! — весело запела она, и вдруг, сделавшись серьезной, круто повернулась спиной к реке и быстро пошла по тропинке к даче.

— Варенька! — крикнул Кольцов, догоняя ее. — Что с тобой?

— Ничего! — обернулась она.

Кольцов поразился той перемене, что произошла с ней. Губы были плотно сжаты, только что смеявшиеся глаза сверкали злобно. Она была бледна и тяжело дышала.

— Ненавижу! — шопотом сказала Варенька и заплакала. — Господи, выдали силой за старого козла!..

— Да зачем же?.. — начал было Кольцов, но она уже бежала по лугу и высокая трава била ее по мокрым коленям.

6

Как это все волшебно соединилось вдруг: и дождь, и давешний плач, и Варенька! Стало спокойно, карандаш торопливо побежал по бумаге.

Ах, зачем меня
Замуж выдали
За немилова —
Мужа старова?

Кольцов яростно зачеркнул слово «замуж» и надписал над ним «силой».

Небось весело
Теперь матушке
Утирать мои
Слезы горькие.

Бедная красивая Варенька! Верно, ей бы — счастье, смех, хороводы!

Хорошо глядеть
На цветистый сад,
Хорошо гулять
Летом по полю...

А там, внизу, под дождем — возле шалаша — злой старик, размахивая костлявыми руками, кричит: «А-я!.. А-я!..»

Не достанешь, старый дурак! — Кольцов беззвучно засмеялся.

Каково ж смотреть
На немилова,
Целый век с ним жить,
Мукой мучиться!

Шестнадцатилетнюю девчонку отдали старому чорту Лебедеву, а? За что же? Да все за богатство! Да уж и какое богатство-то, коли он у Башкирцева из долгов не вылазит!

Небось весело
Глядеть батюшке
На житье-бытье
Горемышное!

Небось сердце в них
Разрывается,
Как приду одна
На великой день!

Он, Лебедев, сказывают, бил ее, к работникам да к приказчикам ревновал... Правду, нет ли, только маменька говорила, будто он кошками ее хлестал: разденет донага, возьмет кошку за лапы, да и давай охаживать...

От дружка дары
Принесу с собой:
На лице — печаль,
На душе — тоску...

Ну, положим, Варенька — сирота, так ведь тетка-то Лиза — ведь это она все смастерила, сосватала, ведьма!.. А потом, как это давеча дворник: «В нашем обиходе и нехорош, так хорошим сделается!»

Поздно, родные,
Обвинять судьбу,
Ворожить, гадать,
Сулить радости!

Да еще и так урезонивают: «Муж он тебе ай нет?» Вот оно венец-то что́ церковный! Окрутили — всё!

Пусть из-за моря
Корабли плывут:
Пущай золото
На пол сыплется;

Не расти траве
После осени;
Не цвести цветам
Зимой по снегу!

Сребрянский проснулся. Свеча нагорела и оплыла. Кольцов все сидел, закрыв руками лицо.

— Алеша! — тихонько позвал Сребрянский. — Дай, милый, напиться, все в глотке пересохло.

Кольцов, вздрогнув, вскочил и ничего не видящими глазами поглядел на друга.

— Да ты плачешь никак? Алеша!

Кольцов махнул рукой, схватил кружку и выбежал в сени.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не стаканами, не бокалами,
А сердцами крепко чокнулись,
И душа душе откликнулась.
П. С. Мочалов

1

Весной 1838 года типограф Степанов купил журнал «Московский наблюдатель». Это был бесцветный, плохонький ежемесячник с несколькими сотнями подписчиков, но вполне благонамеренным направлением.

Деятельный и умный Степанов понимал, что для процветания его журнала прежде всего нужен талантливый редактор, и Белинский, которого Степанов знал давно, получил предложение стать (необъявленным, впрочем) редактором «Московского наблюдателя».

Журналишко был настолько плох, что Белинский, став редактором, с отчаяния схватился за голову — надо было восстанавливать репутацию «Наблюдателя». Однако восстановить ее, как он писал Панаеву, «было так же трудно, как восстановить потерянную репутацию женщины».

Тем не менее Белинский со всей присущей ему страстностью пустился на этот подвиг, и в марте 1838 года редакция «Наблюдателя» превратилась в своего рода боевой штаб передовых московских литераторов. Здесь читали, спорили до хрипоты, смело разрушали признанные авторитеты и грозились перевернуть мир.

Первый номер собирался с лихорадочной быстротой. Бакунин и Катков переводили Гегеля и писали программные статьи. Поэты Станкевичева круга (сам Станкевич был за границей) возлагали, как говорил Клюшников, свои поэмы на алтарь отечества. Белинский с нетерпением ждал возвращения Кольцова из Петербурга, чтобы взять новые стихи. Статья о Гамлете и Мочалове, отвергнутая Полевым, была уже набрана, и Белинский читал и поправлял гранки.

— Стихов! Стихов! — восклицал Белинский, шагая из угла в угол по скромной комнатке редакции «Наблюдателя». — Где это Кольцов запропастился?

2

Дождь, шумевший всю ночь, окончился к рассвету. Низкие тучи все еще стояли над Москвой; в замоскворецких садах, стекая с веток на землю, шлепали тяжелые, прозрачные капли. Стало тихо, и в наступившей утренней тишине зазвонили к обедне и весело закричали петухи.

Кольцов проснулся рано. Он не сразу вспомнил, что он в Москве, а когда вспомнил, ему стало радостно. Сребрянский хорошо спал, дыша всю ночь ровно и почти не кашляя. На столе лежал листок со вчерашней песней. Кольцов прочитал ее заново шопотом, потом еще раз — вполголоса и нараспев. Он с тревогой взял в руки листок, потому что часто случалось так, что написанное — вечером нравилось, а утром оказывалось негодным и рвалось на клочки. Однако песня попрежнему была хороша.

Ночью, когда Сребрянский попросил пить и заметил слезы на глазах своего друга, — Кольцов не стал читать новую песню. Теперь он ждал, когда Сребрянский проснется: ему не терпелось прочитать ее. Он даже кашлянул несколько раз и, расчесывая волосы, нарочно уронил на пол гребень. Однако Сребрянский спал глубоко, спокойно, и Кольцов, так и не дождавшись его пробуждения, оделся в новое платье с дорогими камешками в запонках, опрыскал голову и манишку духами и, наказав дворнику глядеть за Сребрянским, отправился к Белинскому.

Несмотря на ранний час, Белинский был на ногах. Он, как обычно, работал, стоя у высокой конторки.

— Наконец-то! — радостно воскликнул Белинский, бросаясь навстречу Кольцову. — Этак томить! Ведь я тут заждался вас!

— Раненько же вы поднимаетесь, Виссарион Григорьич!

— Раненько? — Белинский засмеялся. — Да я, ежели сказать по совести, еще и не ложился!

Он указал на свежие оттиски листов «Московского наблюдателя».

— Тут, батюшка, мечты предерзкие! Ей-богу, полторы тысячи подписчиков даже во сне снятся!

— Что ж так: полторы только? Почему не три?

Белинский пожал плечами:

— Нет, я гляжу на эти вещи трезво. Сенковский, Булгарин — все эти «сыны отечества» — те могут. Их всякая дрянь читает. Но цензоры, голубчик, цензоры!..

Белинский схватился за голову.

— Слово «святой» вымарывают, «христианство» — вымарывают, вымарывают все: дважды два — четыре, Волга впадает в Каспийское море... Ну, чорт с ними! Батюшки! — в ужасе воскликнул Белинский. — А самовар-то?

Белинский побежал на кухню. Вскоре Кольцов услышал проклятия и треск колющейся лучины. Он пошел туда.

— Позвольте мне, — сказал Кольцов. — Я это лучше вашего сделаю.

— Нет уж, никак не позволю. Вы — гость! Где это видано, чтобы гости самовары разводили! Идите лучше посуду соберите, там в шкафчике увидите.

И он выпроводил Кольцова из кухни.

В шкафчике было три чашки и два блюдца. Кольцов вытер их и поставил на стол. Через минуту с черными от угля руками вошел Белинский.

— Ну, рассказывайте про Питер! — весело сказал он. — Хотел было до чаю отложить разговор, да нет, не терпится! Каков Полевой? А?

Кольцов рассказал о своих встречах с ним, о том, как у него на вечеринке Николай Алексеич клялся в любви Кукольнику.

— Подумать!.. — всплеснул руками Белинский. — Экой богатырь, а во что превратился! Полевой и Кукольник! Кто бы мог поверить? Ну, а что Питер?

— Пусто без Пушкина в Питере! — вздохнул Кольцов. — Холодно там. Нет у тамошних литераторов душевности. Вот разве Иван Иваныч Панаев один славный человек, право... Мы с ним сошлись. И вас он любит.

— Мне самому страх как хочется поближе с ним познакомиться... Да! — спохватился Белинский. — В первом моем номере «Наблюдателя» — вот...

Он перевернул груду листов, видно только что тиснутых, с еще не просохшей, мажущейся краской.

— Вот тут ваше...

Белинский протянул один из листков Кольцову. Там были напечатаны «Могила», «Раздумья селянина», «К милой» и дума «Вопрос».

Как ты можешь
Кликнуть солнцу:
Слушай, солнце!
Стань, ни с места!
Чтоб ты в небе
Не ходило,
Чтоб на землю
Не светило! —

с жаром продекламировал Белинский.

— Ну, друг мой милый, у меня и слов нету! Это чорт знает, какие вкусные вещи приготовили мы читателю! Мишель Бакунин отличился как!.. Он дает перевод Гегелевых «Гимназических речей»... Да вы не удивляйтесь. «Речи» сами по себе — это еще не Гегель. Но предисловие Мишенькино!.. Пальчики оближете! Да вот, погодите, я сейчас покажу... Вот, читайте.

Он сунул в руки Кольцова пачку листов.

— Вот здесь... — он отчеркнул ногтем. — И здесь... Да вы сами увидите! Ба! — хлопнул Белинский себя по лбу. — А самовар-то? Я и забыл! — Он стремительно кинулся в дверь.

Кольцов пробежал глазами лист, поданный Белинским. Философские термины, затруднявшие понимание, облепили его, как осиный рой. Досадливо поморщившись, он пробросил непонятное место, и вдруг отчетливая, ясная фраза ошеломила его: «Конечный рассудок мешает человеку видеть, что в жизни все прекрасно, все благо и что самые страдания в ней необходимы, как очищение духа, как переход его от тьмы к свету...»

— Да что ж это? — прошептал Кольцов. — Опять проклятое разумение всю подлость оправдывает? Да нет, я, верно, тут чего-то не понял...

— Алексей Васильич! — окликнул его Белинский. Он стоял в дверях, его руки попрежнему были запачканы углем, на лице — растерянная улыбка. — Пошли в трактир чай пить!

— А что ж самовар-то?

— А ну его к чорту! Я, видно, воды забыл налить: распаялся, проклятый!

3

В трактире они встретили Клюшникова.

— Вот хорошо, — сказал он, поздоровавшись с друзьями. — А я, Виссарион, хотел к тебе бежать. Ты нынче вечером что делаешь?

— Да как обычно, — пожал плечами Белинский. — Что может делать раб? Работать, конечно!

— Плюнь! Вон и Алексей Васильич то же скажет, правда? — обратился он к Кольцову.

— Да я не знаю, — растерялся Кольцов.

— Ну, уж я-то знаю, — улыбнулся Клюшников. — Нынче будем Мочалова слушать. Приходите часам этак к одиннадцати к Селивановским. Ты ведь знаком с Селивановским?

— Да так, не то чтобы очень... С Николаем Семенычем по «Молве» отчасти...

— Пустяки! Он тебя хорошо знает и любит. Катерина Федоровна — добрейшая из женщин! А главное — Мочалов! Он приедет к ним прямо из театра. Боже, как он читает «На погребение генерала сира Джона Мура»!..

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили...

Клюшников скрестил руки и сделал мрачное лицо. Подошел половой, расставил чашки и с удивлением поглядел на него.

— Что, хорошо, братец? — обратился к половому Клюшников. — Ей-богу, у меня талант!

Белинский засмеялся:

— Это верно, ты свежего человека огорошить можешь! Ну, Алексей Васильич, прошу московский наш чаек, калачи московские...

— Это вам не Питер, — вставил Клюшников.

— Да, кстати: Питер! — подхватил Белинский. — Стихов, наверное, там написал кучу. Шутка сказать: два месяца пропадал!

— Да вот то-то и оно, — усмехнулся Кольцов. — Хоть бы строчку! А как вчерась попал в родимую нашу матушку — в ту пору ж и составил.

Он вынул из кармана листок и тут же, за чаем, стал читать вчерашнюю песню. Половой принес второй чайник и, слушая Кольцова, остановился.

— Чорт знает, — хлопнул ладонью по столу Клюшников, — где вы только этого русского духу набираетесь?

— Вона!.. — усмехнулся Кольцов. — А двор-то постоялый на что!

— Превосходная песенка-с! — восторженно сказал половой. — Петь хочется.

— Это верно — петь хочется!.. «Не цвести цветам зимой по снегу»... — задумчиво повторил Белинский. — Ваши стихи всегда петь хочется! Только я сейчас не об этом хочу сказать... Вы небось думаете: вот удалась песня, — а это само горе людское за сердце хватает... Эх, и мастер же вы его показывать!..

— Да, чай, горе-то много легше показать, чем радость, — сказал Кольцов.

— Да, да... — Белинский поглядел через стакан. — Нет, я вот про что: где-то там, — он махнул рукой, — существует Гегель с его блестящей философской системой, совершенной, как античная статуя, как Аполлон Бельведерский. Мы тянемся сейчас к нему, любуемся совершенством форм. Мы миримся с грязной и страшной действительностью, ибо воспринимаем ее как Разумение. И вдруг — бац! — Белинский встал и рубанул ладонью воздух. — Живой, страдающий художник создал потрясающую картину, изобразил горе, простую человеческую скорбь... К чертям полетело и Разумение и философская система — все, все прах! И ваш покорный слуга, — Белинский иронически поклонился, — ваш покорный слуга, сознавая разумность действительности, где ничего нельзя ни выкинуть, ни похулить, вдруг задумывается: разумно-то разумно, а как бы сделать еще разумнее!

Клюшников расхохотался.

— Что ж, вы с Бакуниным зря, значит, по гегелевскому проспекту целое лето прохаживались?

— Да что Гегель! — с досадой воскликнул Белинский. — Что ты мне суешь авторитеты! Я разумею действительность не в ее общем значении, а в отношениях людей! Раз дело идет об искусстве, об его восприятии — я, брат, дерзок! И тут уж извини, но и сам Гегель мне не предел!

— Ах! — с комической грустью вздохнул Клюшников:

Аполлон мой, Аполлон,
Аполлон мой Бельведерский!
Виссарьон мой, Виссарьон,
Виссарьон мой, вельми дерзкий!

Кольцов расхохотался:

— Ну, Иван Петрович, да и язычок же у вас!..

— Ничего, ничего, — берясь за шляпу, сказал Клюшников. — Белинский не обидится: все правильно. Так вечером встретимся!

Он помахал шляпой и вышел из трактира.

4

В доме типографа Селивановского все было на старый купеческий лад: изразцовые печи, несмотря на весну, топились по-зимнему, перед большими, в богатых ризах, образами горели разноцветные, граненого стекла, лампады, тяжелая старая мебель, то-есть множество кресел, шкафчиков и горок с посудой, загромождала невысокие, устланные домотканными коврами комнаты.

Прославленное по Москве хлебосольство старика Селивановского — известного книжника и издателя — перешло по наследству и к сыну. Николай Семеныч отличался умением попотчевать гостей и широким кругом своих знакомств. У него запросто бывали актеры, литераторы, врачи, художники, композиторы.

Гостям подавались домашний сладкий хмельной квас и красное вино. На подоконниках и креслах валялись трубки, на столах, в пестрых обертках, лежали различные табаки. У Селивановских была та отличная атмосфера непринужденности и простоты, какая с первых же минут пребывания гостя в доме заставляет его отрешиться от скучных условностей и почувствовать себя здесь своим и, главное, любимым и уважаемым человеком.

Войдя с Белинским в небольшую гостиную, Кольцов, всегда застенчивый и теряющийся в присутствии незнакомых людей, сразу же отметил эту прекрасную особенность селивановского дома. Все — простая мебель, пестрые половики, вязаные скатерти на столах, веселый шум играющих детей где-то в дальнем конце дома, милая круглолицая хозяйка, услужливые, но не навязчивые слуги, — все располагало к простоте и к спокойной, хорошей беседе.

Селивановский-отец, носивший старинное купеческое платье и большую седую бороду, пожурил Белинского за то, что «давно не видать», а услыхав фамилию Кольцова, похвалил его песни.

— Вот только Павла Степаныча все нету, а обещал быть сразу же после театра... — развел он руками. — Что бы это с ним приключилось?

— Да и ужинать пора! — сказала кругленькая Катерина Федоровна. — Как бы, дожидаючись, пироги не подгорели!

В гостиной было три человека. Один из них — в коричневом фраке, с вьющимися, беспорядочно причесанными волосами — играл на фортепиано. Двое — Клюшников и еще какой-то с огромным лбом и рыжеватыми волосами, с огромнейшим чубуком в руке — сидели возле музыканта. Белинский представил Кольцова. Музыкант был композитор Варламов, рыжеватый — доктор Дядьковский.

— Ах, Александр Егорыч! — пожимая руку Варламову, сказал Белинский. — Уж как я вас сейчас попрошу сыграть!

— «Шарманщика»? — весело обернулся Варламов.

— Как вы угадали?

— Да вы всегда его просите!

— Так что ж, коли хорошо!

— Э, батюшка! — усмехнулся Варламов. — Хорошо-то хорошо, а вот — плохо ли?

Он лукаво поглядел на Кольцова, тряхнул кудрями и, взяв несколько аккордов, запел:

Оседлаю коня,
Коня быстрова,
Я помчусь, полечу
Легче сокола...

У Варламова был небольшой, но очень приятный тенор. Безудержная удаль слышалась и в словах песни и в том стремительном темпе аккомпанемента, который сопровождал эти слова.

Догоню, ворочу
Мою молодость!
Приберусь и явлюсь
Прежним молодцем,
И приглянусь опять
Красным девицам!

И вдруг вспышка удали потухла так же внезапно, как и зажглась. Клавиши фортепиано под руками Варламова грустно вздохнули. И слова:

Но, увы, нет дорог
К невозвратному!
Никогда не взойдет
Солнце с запада! —

он пропел печально и, умолкнув, не вдруг опустил фортепианные педали, и жалобные звуки, затихая постепенно, долго звенели, колеблясь в тишине слабо освещенной гостиной.

— Вот это песня! — раздался в дверях восторженный голос.

Кольцов вздрогнул и, оборачиваясь на голос, уже знал, кто это.

В дверях стоял Мочалов.

5

Всем не хотелось есть, но, чтобы не огорчить хозяйку, все ели и ждали конца ужина, когда Мочалов будет читать. Однако совершенно неожиданно он стал читать за столом. Случилось это так.

Мочалов, сидевший рядом с Кольцовым, расспрашивал его о Воронеже: хорош ли там театр, как встречают воронежцы приезжих актеров, красив ли город и попрежнему ли Кольцов скитается, как это было описано в «Сыне отечества», по степи со своими гуртами.

— Вот далось всем мое прасольство! — засмеялся Кольцов. — Спасибо Неверову — аттестовал на всю Россию!

— Ничего, — сказал Белинский. — Россия, она, батюшка, во всем разберется: и что Неверов и что Кольцов.

— Да, — печально вздохнул Дядьковский. — Разберется, слов нет, да когда?

— Ох, уж вам ли, судари мои, — сказал Селивановский, — вам ли жалиться на скудость публичных мнений? Сейчас, я чай, одних журналов десятка полтора развелось, да альманахи, да газеты... И ведь все судят!

— И всяк по-своему! — подхватил Белинский.

— А судьи кто? — вдруг спросил Мочалов.

За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен очаковских и покоренья Крыма;

Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что ста́рее, то — хуже...

Кольцов с удивлением слушал Мочалова. В Петербурге он видел Чацкого — Каратыгина. Тот в этом месте грибоедовской комедии вскакивал со страшным криком и потом так весь монолог и кричал. Еще тогда Панаев, с которым Кольцов был в театре, шепнул ему: «Что ж он орет так, экая дубина! Это даже и неприлично по отношению к старику-то, к Фамусову!»

Мочалов не кричал. Наоборот, подчеркнуто учтиво, но с затаенной иронией и желчью делал он свои убийственные замечания. И лишь в том месте монолога, где Чацкий говорит:

Теперь пускай из нас один, —
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний! —

он, увлекшись, несколько повысил голос, но, словно увидев перед собой Скалозуба и Фамусова, не понимавших и не сочувствовавших ему, снова сдержал свой пыл и, пожимая плечами, закончил все с той же иронической улыбкой:

Они тотчас: разбой! пожар!
И прослывешь у них мечтателем! опасным!! .

Слуги хотели убрать со стола, но хозяин замахал на них руками, и они отошли к двери и стали там, слушая Мочалова. А он уже читал свое любимое:

Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили,
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земли опустили...

Мочалов скрестил на груди руки и поднял скорбное лицо. Голос его звучал торжественно и печально. Все сидели не шевелясь; Клюшников, закрывшись салфеткой, плакал.

О нет, не коснется в таинственном сне
До храброго дума печали!
Твой одр одинокий в чужой стороне
Родимые руки постлали.

В голосе его послышались рыданья, в скорбном изломе поднялись брови, глаза наполнились слезами.

Он кончил, сел в изнеможении на стул и, молча, дрожащими руками налил себе вина.

6

После чтения Белинский сразу ушел домой. Хозяева пытались его удержать, но он решительно взялся за шляпу.

— Помилуйте! — воскликнул он. — Да я и так сегодня весь день бездельничаю!



Стало тихо. Варламов пошел в гостиную и, сев за рояль, начал наигрывать какую-то печальную мелодию.

Мочалов пил вино. Его лицо было бледно, болезненная гримаса кривила губы.

Хозяева попробовали завязать разговор, однако он не получался, — всех охватило чувство неловкости и напряженности.

Кольцову тоже сделалось неловко. Он пожалел, что остался, и решил незаметно уйти. Когда он был уже в сенях, его догнал Мочалов:

— Подождите, идемте вместе. Мне хочется вам кое-что сказать.

На улице накрапывал дождь.

— Экая весна мокрая, — заметил Кольцов.

— Да что ж мокрая, — отрывисто засмеялся Мочалов, — коли душа горит! Знаете что? — обратился он к Кольцову. — Зайдем, выпьем чаю... Вот тут трактир есть порядочный... А? Зайдем?

В трактире Мочалова встретили почтительно, как старого знакомого. Слуга с поклонами проводил их в отдельную комнату и стал у дверей, дожидаясь заказа.

— Вина! — сказал Мочалов. — Ты знаешь какого?

— Как не знать? — улыбнулся половой. — А что, сударь, Ромашку не прикажете позвать?

— Потом, — махнул рукой Мочалов.

«Забыл, видно, про чай-то», — подумал Кольцов.

— Знаете ли вы, — наливая в стаканы вино, сказал Мочалов, — как я вам завидую?

— Мне? — удивился Кольцов. — Да почему же? Вы, Павел Степаныч, наверно, в шутку это...

— Какое в шутку! — Мочалов выпил залпом стакан. — Я вам сейчас объясню. — Он подвинул свой стул к Кольцову.

— Вот, мой друг, говорят: Мочалов велик, Мочалов потрясает сердца людей... Мочалова видят на сверкающей огнями сцене вдохновенного, пламенного... А кто знает его в тоске, в одиночестве? Я ведь, друг мой, и пьяный напьюсь, так в трактире толпа собирается: Мочалов пьян! Это вроде дарового представления, что ли...

Кольцов внимательно поглядел на Мочалова. Мочалов нахмурился.

— Вот ты сейчас смотришь, — он неожиданно перешел на «ты», — смотришь и думаешь: зачем он мне это говорит?

— Нет, — опуская глаза, вздохнул Кольцов. — Я не об том думаю... Нет страшнее демона одиночества, и коли вы, Павел Степаныч, испытали, так я понимаю! Я сам...

— Да, друг ты мой! — воскликнул Мочалов. — Я, как давеча глянул в твои глаза, — ведь в первый раз тебя увидел! — так сразу себе сказал: вот брат твой!

Мочалов снова разлил вино по стаканам.

— Так вот, о чем бишь я... — наморщил он лоб. — Ты это хорошо сказал: демоны одиночества... Что им до того, что Мочалов час назад заставлял людей плакать! А может, Алеша, это возмездие? В темной каморке обступят тебя тени сомнений, тоска схватит за горло, и вот ты, волшебник, гений, — ты... плачешь! И вот тут-то, — таинственно зашептал Мочалов, — тут-то, брат, и оказывается, что Мочалов беспомощен, как птенец, упавший из гнезда... Он одинок! И ему одно остается: либо петлю на шею, либо...

Он отвернулся и выпил вино. В кабинет вошел половой.

— Павел Степаныч, — сказал он, — Ромашка спрашивает, песни слушать будете?

— Ну что ж, пускай придут, — кивнул Мочалов. — Так вот я сказал, что завидую тебе... — обратился он к Кольцову.

— Да чему же? — удивился Кольцов.

— Никому никогда не признавался, — тихо сказал Мочалов, — а тебе признаюсь... В страшные минуты разлада с жизнью руки тянутся к перу... И что же? Серые, дряблые строчки ползут, как черви. Стих тяжелый, путаный, тянется, тянется — и нет уж ни огня, ни страсти. Сердце остыло... А ты...

Он не договорил. Со смехом и шумом, позванивая гитарами, в кабинет вошли цыгане. Красивый молодой цыган в алой рубахе и в черном, с дутыми серебряными пуговицами жилете поклонился так, что длинные волосы упали на лоб и закрыли лицо.

— Здравствуй, Роман! — сказал Мочалов. — А где ж Дунюшка?

— Сердечко мое! — бренча монистами, поклонилась одна из цыганок. — Не признал свою Дунюшку?

Слуги внесли стулья, и цыгане расселись вдоль стен. Роман взмахнул гитарой, топнул, и четверо гитаристов ударили по струнам.

Эх, еще раз последний, да поцалуй
Своей цыганке, сердце, подари... —

низким, как гитарная струна, голосом запела Дуня.

Звенели гитары с красными и черными бантами на грифах, Роман, притопывая ногой, ходил перед сидящими хористами, хриплыми гортанными голосами женщины подхватывали припев:

Снежок, снежок, метелица
Следочки заметет...

Кольцову, не раз ночевавшему в степи у таборных костров, были удивительны эти наряженные и как будто не настоящие цыгане. Они, может быть, даже показались бы ему и смешными, да то, что красивую цыганку звали Дуней, и то, с какой страстью она пела полную любовного отчаяния песню, — все напомнило Кольцову юность, цветущие вишни, рассвет на высоком бугре возле Каменного моста, легкие хлопья тумана над рекой...

Он вздохнул и опустил голову.

— Вот, голубчик, — услыхал он вдруг над ухом. — Вот поет, а? Где еще такую Дунюшку сыщешь?

Кольцов поднял голову. Перед ним, протягивая стакан с вином, стоял Мочалов.

— Нигде не найдешь! — печально покачал головой Кольцов, взял стакан и выпил его до дна.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Опять в глуши, опять досуг...
А. Кольцов

Нет, это, точно, не она!
Напрасны сердца ожиданья,
Разочарован, все мечтанья,
Минуты проклинаю сна
И повторяю, что она
Не для меня здесь создана.
П. С. Мочалов

1

Когда вдали завиднелась белая, со сверкающим крестом козловская колокольня, Сребрянский, ехавший до тех пор с видом покорного безразличия, оживился. Он стал указывать на те лесочки и озерца, где с кошелкой для грибов и самодельным корявым удилищем он бегал еще босоногим мальчишкой.

— Вот, вот! — указывая куда-то, кричал Сребрянский. — Вот речка-то, видишь? А вон мельница показалась, во-он за теми кустами... Да куда ж ты смотришь, экой какой бестолковый!

И хотя Кольцов не видел ни речки, ни мельницы, он притворялся, что видит их, и вслед за своим другом восторгался красивыми козловскими ландшафтами.

В Козловку приехали вечером. Было тихо, стадо уже пригнали, но пыль все еще висела над белыми, прячущимися в садочках, хатами.

Возле маленького, под соломенной крышей, старого домика, еле видного из-за густых веток буйно разросшейся сирени, Сребрянский велел остановиться.

— Блудный сын! — криво улыбнулся он, с трудом вылезая из тарантаса.

Поддерживая Сребрянского, утомленного дорогой, Кольцов вошел с ним в низенькую дверь домика. В чистеньких комнатах пахло какими-то травами, ладаном, лампадным маслом, свежим тестом и еще чем-то, напоминающим запах старых книг.

Никто не вышел им навстречу, в доме была тишина.

— Живая душа есть? — громко с порога спросил Кольцов.

— Ох, кто это? — В дверях дальней комнаты показалась высокая седая старуха. Ее руки были в чем-то белом: она, видно, месила тесто.

— Здравствуйте, мамаша! — дрогнувшим голосом сказал Сребрянский. — Это я... Не узнали?

— Андрюшенька! — вскрикнула мать, бросилась к сыну и, зарыдав, припала к нему на грудь. — Родной мой, детка моя! Да ведь я уж и свидеться с тобой не чаяла!

Кольцов потихоньку вышел на крыльцо.

2

Рано утром на следующий день Кольцов поехал в Воронеж. Сребрянский захотел его проводить до околицы. Он сел в тарантас. Кольцов сказал ямщику, чтоб не торопился, и лошади шли по селу шагом.

У околицы возле кладбища Сребрянский слез.

— Еще увидимся ли! — вздохнул Сребрянский.

— Не робей, Андрюха! — весело сказал Кольцов. — Гляди, на молочке-то раздобреешь как!

Друзья обнялись. Ямщик крикнул на лошадей, и тройка резво взяла по чистой прибитой дороге. Кольцов оглянулся. Среди покосившихся крестов деревенского кладбища маячила одинокая фигура Сребрянского. Ветерок трепал полы его сюртука, и Сребрянский был похож на большую, пытающуюся взлететь, голенастую птицу.

В Воронеже стояло хорошее лето, славная погода, синее небо.

Отец затеял строить новый большой дом. Двор завалили лесом и кирпичами. С утра визжали пилы и дятлами стучали топоры, туда и сюда сновали подводы, груженные тесом, глиной, известкой. До позднего вечера стоял веселый шум дружной, большой работы.

Василий Петрович был в добром настроении. Он обрадовался приезду Алексея и, чего с ним никогда не бывало при встречах, трижды, со щеки на щеку, расцеловался с сыном.

— Вот, сокол, хорошо поспел! — сказал отец. — Вишь, какую тут кутерьму затеяли. Теперича я отхожу от постройки — берись, Алеша, действуй! Ну, рассказывай, что там, в Питере-то? Как с делами обернулся?

Кольцов писал о делах отцу из Петербурга и из Москвы, и Василий Петрович отлично знал, что все было сделано хорошо и в их пользу, да ему хотелось еще раз услышать обо всем с подробностями, и Алексей полдня рассказывал ему о своих хождениях по сенатским департаментам и другим присутствиям, в которых вершились кольцовские тяжбы.

Старик особенно гордился тем, что Алексею во всех этих кляузных делах помогали такие вельможи, как Жуковский и князья Вяземский и Одоевский.

— Однако ты, Алеша, высоко залетел! — похохатывал Василий Петрович. — Эка, обдумать: князь! Одно слово с копыт сшибет, а поди-кось:

ты — к нему, он — к тебе! Слышь, мать? — звал он Прасковью Ивановну и, когда та приходила, снова заставлял Алексея рассказывать о том, какие у него знакомцы, в каких хоромах они живут и что это за важные господа.

Кольцов с жаром взялся за постройку нового дома и этим еще больше расположил к себе отца. Вечерами, после целого дня хлопот, поездок и споров с плотниками, усталый, но довольный, он приходил к Анисье, и они, как бывало прежде, или читали что-нибудь, или пели, или вспоминали, как хорошо было, когда с ними и Саша певал.

Однажды он спросил Анисью, как ее успехи в музыке.

— Пойдем покажу, — лукаво улыбнулась Анисья.

Они пошли к Мелентьевым, у которых был старый клавесин, и Анисья бойко сыграла брату «Тамбурин» Рамо, «Инвенции» Баха и несколько небольших пьес Моцарта.

Кольцов был изумлен и тут же решил поговорить с отцом о покупке фортепиано. Старик выслушал сына, нахмурился и, заложив руки за спину, стал ходить по комнате.

— Ладно! — наконец сказал Василий Петрович. — Чума с вами — покупайте! Ах, баловство! Чисто господа!

Вскоре подвернулся случай, фортепиано было куплено, и к строительному шуму на кольцовском дворе прибавились веселые звуки трудных фортепианных пассажей.

3

Поручив сыну все дела, связанные с постройкой дома, Василий Петрович занялся коммерцией. Он сам ездил покупать скот, заключал сделки с иногородними купцами, целыми днями пропадал на бойне. Однако как он ни старался, дела устраивались плохо, и он с досадой понимал, что у Алексея все это выходило и дельнее и лучше.

Вскоре после приезда Алексея один из самых опытных и толковых приказчиков — Зензинов — попросил расчет и ушел от Кольцовых. Он стал держать лошадей, и его лошади своей рысистостью и щегольской упряжью скоро прославились на весь Воронеж.

Новый приказчик был дурак-малый и все делал хоть и честно, да неухватисто, то-есть зевал, шел на поводу у шибаев и кое в чем даже подводил Кольцовых под убытки.

Прощаясь с Кольцовым, Зензинов, знавший и любивший Алексея с детства, сказал:

— Ты, Васильич, между прочим, поглядывай за Михейкой: дрянь человек. Я кой-чего за ним заметил...

Ночной сторож Михей был в милости у Василия Петровича, и когда Алексей передал свой разговор с Зензиновым, старик досадливо отмахнулся и с раздражением сказал:

— Брешет твой Зензинов! Как сам приворовывал, так уж думает, что и все не без греха. Он, Зензинов, на какие капиталы, скажи, лошадей-то завел? А? То-то вот и оно!.. А ты говоришь: Михейка!..

В начале августа Василий Петрович велел Алексею ехать за гуртом на выпас в Селявное.

— Съезди, Алеша, — сказал он. — Душа не лежит на приказчика-дурака товар бросить. Я б сам поехал, да чего-то неможется.

В ночь перед отъездом Кольцову не спалось. Было душно. Вдалеке ворчал гром, собиралась гроза. Кольцов вышел на крыльцо. Голубые молнии тонкими змейками перебегали над садом. Стояла тишина. Вдруг Кольцов услышал, как где-то затрещал плетень. Он прислушался. Ему показалось, что в саду ходят люди.

«Что за история? — подумал Кольцов. — Да что ж собаки-то?»

Он посвистел собакам. Собаки на свист не прибежали. Приглядевшись к темноте, Кольцов пошел к конюшне. Возле самых дверей он споткнулся обо что-то. Это была убитая собака. Ворота конюшни стояли открытые настежь.

— Михей! — позвал Кольцов.

Никто не откликнулся.

Он подошел к сторожке и увидел, что низенькая дверь была подперта железным ломиком. Кольцов отшвырнул ломик и вошел в сторожку.

— Михей, да ты что, помер, что ли?

— А? Что? — вскочил Михей. — Кто такой?

В его голосе слышались испуг и усмешка.

— Ты дурака-то не валяй! — рассердился Кольцов. — Лошадей проспал, сударь! Чуешь?

Где-то далеко за садом заржала лошадь.

Зажгли фонарь и пошли на конюшню. Стойла двух упряжных лошадей были пустые. В дальнем стойле пугливо озирался пестрый кольцовский Франт. Увидев хозяина, он тихонько заржал.

По двору замелькали фонари. Все судили и так и этак, делали предположения, кто увел и где искать.

Когда, на ходу натягивая кафтан, пришел Василий Петрович, все расступились и замолчали.

— Так, — сказал он, подходя к Михею. — Что ж мне теперь с тобой делать?

Михей повалился в ноги.

— Батюшка! — завопил он. — Не погуби! Нечистый обошел! Завсегда верой и правдой...

— То-то «верой-правдой», — насмешливо перебил его Василий Петрович. — На дворе люди, шум, — замок сбить надоть, собак порешить, — Василий Петрович пнул валявшегося у его ног Михея, — а его чорт обошел! Я чай, в доле был у злодеев-то. Ну, Алеша, спасибо, сокол, досмотрел, а то, брат, глядишь, и дом бы обобрали!

Он круто повернулся и пошел назад. Работники вернулись в избу досыпать. Туча прошла стороной, небо стало чистое. На востоке забелела полоска рассвета.

Михей встал с земли и злобно поглядел вслед уходящему Алексею.

— Ладно, — прошептал он. — Я те, сударик, еще припомню!..

4

В Селявное поехали втроем: Кольцов, дед Пантюшка и Михей, которого Василий Петрович рассчитал из сторожей и хотел было вовсе прогнать, да тот валялся в ногах и так клялся в своей невиновности, что старик смиловался и оставил его у себя, определив в гуртовщики.

Когда Кольцов добрался до Селявного, была уже ночь. Отправив деда с Михеем на выпас, он поехал к своему старому знакомцу Савелию, у которого он когда-то записывал заговор.

Савелий обрадовался Кольцову, велел жене готовить ужин, и пока та жарила яичницу, рассказал о том, как у них в селе долго вспоминали кольцовское угощение, когда он в запрошлом году записывал в тетрадку бабьи песни.

— Понравилось им, значит, твое винцо! — смеялся Савелий. — Бабенки-то все ко мне приставали: когда да когда еще приедешь. Да! — хлопнул Савелий руками по коленям. — А помнишь, Васильич, та чернявая-то, что все вперед лезла, Васёнка-то? Мы тогда еще вместе на пароме, кажись, плыли?

— Помню, как же, — сказал Кольцов.

— Ну, брат, отжилась Васёнка! — весело сказал Савелий. — Летось похоронили.

— Что ж так? — спросил Кольцов, живо вспоминая то утро, когда они плыли на пароме. — Захворала, что ли?

— Какой захворала!.. Ее Федька-лесник порешил. В прошлом году осенью у них в селе заночевал проезжий воронежский купец и стал гулять. Много пил сам и угощал баб. Васёнка сначала была тут же, а потом ушла к себе на хутор; только они, наверное, сговорились с ней, потому что, когда стемнело, купец стал искать перевозчика, чтобы ехать на тот берег к Васёнке. Была непогода, дождь, буря, и никто не хотел перевозить. Однако когда купец сказал, что даст десять целковых, нашелся один рыбачок и, хоть на Дону было страшно, перевез купца. И вот, когда купец гулял у Васёнки, откуда ни возьмись налетел Федор и зарубил топором и ее и купца, а сам пошел к начальству и повинился. Вон ведь какая собака эта Васёнка-то! — заключил Савелий. — За красный полушалок трех, значит, человек загубила.

Утром, когда только стало рассветать, Кольцов переплыл на ту сторону Дона, где среди деревьев белело несколько избушек хутора. В одной из них окна и дверь были заколочены досками, а тропинка к крыльцу заросла бурьяном и лопухами. Робкий свет зари постепенно разгорался, в лесу была тишина.

Перепрыгивая с ветки на ветку разросшегося сиреневого куста, робко посвистывала синичка. Она то чистила клювом перышки, то что-то клевала в листике, то, ухватившись цепкими лапками за веточку, переворачивалась вниз головой.

Кольцову ясно представилась черная осенняя ночь, глухо шумящий лес, тонкая полоска света из Васёнкиного окошка и Федор, приникший к за-



брызганному дождем стеклу, сквозь которое мутно виднелись Васёнка в новом алом полушалке и пьяный купец.

За Доном ударил колокол — зазвонили к заутрене. Кольцов тронул Франта и шагом поехал к выпасу.

5

Гурт гнали не спеша: берегли скот. Кольцов ехал впереди гурта и читал недавно полученную в Воронеже книжку «Московского наблюдателя», где была напечатана повесть Кудрявцева «Флейта». О Кудрявцеве и об этой повести Белинский много говорил Кольцову и очень хвалил. Кольцов внимательно прочитал повесть. Она ему не понравилась: в ней была фальшь, и Кольцов недоумевал, что в ней нашел Белинский.

— Васильич! — окликнул Кольцова Пантелей.

Кольцов обернулся. Смешно болтая руками и подпрыгивая в седле, старик подскакал к Кольцову и поехал рядом.

— Ты что? — закладывая пальцем страницу книги, спросил Кольцов.

Старик оглянулся.

— Вчерась Михейка ночью пьяный пришел, — сказал Пантелей. — В деревне, значит, был...

— Да мне-то что! — пожал плечами Кольцов.

— Так ты слухай сюда! — зашептал старик. — Дурак, конечно, нализался, пес с ним! Да он, Михейка-то... нехорошие речи нес. Тебя, Васильич, зарезать грозился!

Кольцов засмеялся.

— Экой болван! — сказал он. — Коли зарезать хочет, так что ж языком-то болтать!

— Дурак, дурак! — закивал головой Пантелей. — Он-то, знамо, дурак, да ты все ж таки, Васильич, поберегись: неровен час... Куды, шутоломная! — вдруг завопил старик и, хлестнув лошаденку, кинулся заворачивать отбившуюся от гурта корову.

Ночью, когда уже все спали и костер, догорев, делался кучей тлеющего, подернутого серым пеплом жара, Кольцову показалось, что возле него кто-то ходит. Он вспомнил Пантюшкины слова и осторожно, чуть приоткрыв

глаза, огляделся. Прямо перед ним, покачиваясь на кривых ногах, стоял Михей. В его руке поблескивал длинный острый нож, каким давеча за ужином резали сало. Он что-то бормотал и то делал шаг к Кольцову, то пятился назад. Он был, видно, сильно пьян.

— Ты что? — громко спросил Кольцов.

Михей выругался и пошел к костру.

«Как бы, болван, в самом деле не пырнул! — подумал Кольцов. — Да нет, теперь не посмеет...»

Однако на всякий случай он перешел в другое место, чуть подальше, лег и быстро заснул.

На рассвете его растолкал Пантелей.

— Вставай, Васильич, беда! — сказал он. — Михейка-то, слышь, пропал.

— Как пропал? — протирая глаза, спросил Кольцов.

— Так и пропал, каторжная душа! — сплюнул Пантелей. — Да ведь и лошадь, вражий сын, увел.

— Ну и шут с ним! — весело сказал Кольцов. — Беда невелика, дрянь человек он, Михейка-то.

6

15 августа Иван Сергеевич Башкирцев справлял день своего рождения. Городской его дом был ярко освещен, на реке против дома в лодках с зажженными плошками катались гости. Музыканты и песельники не умолкали ни на минуту. На торжестве присутствовал начальник губернии и вся воронежская чиновничья и купеческая знать.

Кольцов не любил таких шумных сборищ и хотел было не пойти, да Башкирцев сказал, что коли так, то он обидится. Кольцов не хотел обижать Башкирцева и скрепя сердце пошел.

Дом был полон гостей. Кольцова сейчас же окружили учителя гимназии. Он сторонился учителей, а они рады были бы открыто презирать его (в своем кружке они его и презирали), да их пугала его дружба с Жуковским и слухи о близости ко многим влиятельным людям столицы и даже ко двору.

Кольцову было неприятно это общество, он рассеянно отвечал на вопросы и в конце концов, извинившись, пошел в сад. Сквозь деревья сада виднелась освещенная смоляными плошками река, откуда доносились песни и веселый шум.

У спуска к реке он встретил Башкирцева. Тот шел под руку с какой-то дамой в белом пышном платье и, смеясь, рассказывал ей что-то забавное, потому что она звонко хохотала. Ее голос показался Кольцову знакомым, он только никак не мог припомнить, где и когда он слышал его.

— Алеша! — увидев Кольцова, воскликнул Башкирцев. — Вот молодец, что пришел. Это и есть отшельник наш, — обратился он к даме. — Да вы что, Варвара Григорьевна, не узнаете, что ли?

— Варенька... Варвара Григорьевна! — поправился Кольцов. — А я слышу; знакомый голос...

— Еще бы не знакомый! — засмеялась Варя. — Кажется, еще ребятишками игрывали, да и бита вами не раз бывала...

— Ну, кто старое помянет... — улыбнулся Кольцов. — А не забыли, как мы с вами на Дону на кручу под дождем карабкались?

— Вот что, — сказал Башкирцев. — Ты, Алеша, займи Варвару Григорьевну, а я, брат, пойду распоряжусь.

Кольцов и Варя остались одни.

— Давайте посидим, — сказала Варя. — Очень уж тут хорошо, в дом итти не хочется. А ведь я, Алеша, теперь вдова, — Варя искоса глянула на Кольцова. — Развязал мне руки старичок-то...

«Как хороша, боже мой! — глядя на нее, думал Кольцов. — Эти темные волосы, брови, глаза! Грация в каждом движении... Нет, нет, — говорил он себе, — не надо глядеть, этак и влюбиться недолго!..»

А Варя, точно не замечая его волнения, дружески касалась его руки и, смеясь, рассказывала, как сейчас перевернулась лодка с песельниками и как чудесно устроил Иван Сергеевич свой праздник.

Вскоре их позвали к ужину. За столом Башкирцев посадил Кольцова рядом с Варей. Кольцов благодарно глянул на Ивана Сергеевича.

— Смотри же, Алеша, — ласково сказал Башкирцев. — Только тебе поручаю Варвару Григорьевну. Гляди, чтоб не скучала!

Стол был накрыт прямо в саду. Гирлянды разноцветных фонариков причудливо освещали лица гостей, тысячи огоньков дробились в стекле бокалов и бутылок.

Губернатор — важный и выхоленный, в мундире и орденах, с зачесанными височками — встал и произнес тост. Все подняли бокалы. В саду что-то хлопнуло, и, яростно шипя, разбрасывая огненные искры, загорелся вензель: буквы «И» и «Б» сплелись с латинским «L», что означало цифру «50».

— Как красиво! — шепнула Варенька. — Вот чудо!..

Она поглядела в глаза Кольцову, улыбнулась и медленно выпила пенящееся вино.

7

На другой день пришло письмо о смерти Сребрянского. Писала сестра Андрея Порфирьича.

«Господь взял к себе нашего Андрюшу, — писала она, — и мы с маменькой, безутешные, оплакиваем его смерть. Он все говорил об вас и все хотел сам написать вам, да был слаб и целый месяц лежал. Он нам сказывал о вашей доброте, да мы и сами много в ней уверились, и еще он говорил, если будет нужда в чем, то вы поможете. Посему припадаем к вашим стопам, покорно просим не отказать в сумме денег, а то исхарчились на похоронах, но все сделали, как у людей, и только что гроб простой, а не глазетовый. Остаемся Мария и Антонина Сребрянские».

— Милый ты мой, друг единственный! — со слезами на глазах прошептал Кольцов. — Великая была душа, и много ты мог бы сделать доброго!

Он вспомнил те далекие дни, когда он впервые встретился с Андрюшей; как вместе они читали или спорили по ночам, не замечая того, что в окно уже заглядывал рассвет; как в зимний вьюжный вечер провожал он Сребрянского до заставы; как, наконец, ранним июльским утром они расстались в Козловке, и как долго среди покосившихся крестов маячила в утреннем тумане одинокая фигура Сребрянского.

«Что ж это? — шагая ночью по комнате, думал Кольцов. — Всю жизнь проклятая судьба отнимает у меня друзей. Дунюшка, Саша, вот теперь Андрей». А когда-то и он был полон силы, удали, таланта.

Ему показалось, что в окно кто-то заглянул. Он вздрогнул. Плоское безглазое лицо представилось ему. Он плотнее задернул занавеску.

— Нехорошо! — сказал Кольцов. — Этак и спятить недолго... Нехорошо! — повторил он и решительно отдернул занавеску.

Холодный ветер ворвался в комнату и задул свечу. Кольцов лег грудью на подоконник и стал жадно вдыхать влажный воздух. Ветер трепал занавеску, шелестел листами развернутой тетради.

— Вот так-то лучше! — сказал Кольцов, закрыл окно и, нащупав впотьмах кремень и огниво, стал высекать огонь.

8

Зима прошла в хлопотах и заботах. Вскоре после смерти Сребрянского Кольцов написал «Стеньку Разина» и посвятил его памяти Андрея Порфирьича.

Не страшны мне, добру молодцу,
Волга-матушка широкая,
Леса темные, дремучие,
Вьюги зимние — крещенские...

Эти стихи были вызовом слепой, жестокой судьбе, убившей друга. Кольцов смело глянул в ее безглазое лицо и содрогнулся, но не отвел взгляда. «Биться так биться! — сказал он. — Пока на ногах стою, падать не буду!»

Несколько раз Кольцов встречал Варю. Она все так же была с ним непринужденна, и хотя та манера дружеской простоты, которую она усвоила в обращении с Кольцовым, была очень удобна, ему хотелось не дружбы, а любви.

Однажды он провожал ее домой. Шел снег, было тихо. Деревья стояли, как серебряные терема. Варя по обыкновению о чем-то говорила и смеялась, а Кольцов молчал.

— Ты что ж все молчишь? — спросила Варя.

Кольцов взял ее руку и прижался к ней губами.

— Ну, — протянула Варя, — это зачем же?

Кольцов вспыхнул, мысленно выругал себя за этот нечаянный порыв и дал себе слово прекратить встречи с Варей.

Он сам напросился в дальнюю поездку и пробыл в ней больше месяца, но не только не забыл о Варе, а еще больше стал думать о ней.

Когда, наконец, в начале марта он вернулся домой, Вареньки в Воронеже не было. Он спросил у Анисьи, где Варвара Григорьевна, и та, широко и даже с каким-то ужасом открыв глаза, рассказала Кольцову, что Варенька на прошлой неделе уехала из города с каким-то офицером.

Кольцов пошел в трактир, спросил вина и первый раз в жизни молча пил, чтобы опьянеть и забыться. Однако хмель не брал его, и голова попрежнему была свежа. Он спросил у полового бумаги и чернил и тут же за трактирным, залитым пивом столом написал стихи: «Ты в дальний путь отправилась одна».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Никто по тем доскам не хаживал,
Никого за собой не важивал.
Перешел Алексеюшка,
Перевел Варварушку.

Народная песня

1

История последней поездки Кольцова в Москву и Петербург в дальнейшем послужила литературным обывателям, таким, как биограф Кольцова господин де Пуле, отличным поводом для грязных клеветнических измышлений.

Небывалый падеж скота в гуртах, когда из двух сотен быков до Москвы дошли только семьдесят четыре, был признан выдумкой Кольцова. Его обвиняли в растрате отцовских денег, в кутежах и диком разгуле — словом, спустя тридцать шесть лет после смерти поэта его превосходительством господином де Пуле было сделано все, чтобы очернить память Кольцова, а главное — доказать неправоту и порочность Белинского и пагубность его влияния на поэта.

Самому же Кольцову, кроме коммерческих неудач и всех забот и огорчений, связанных с этими неудачами, последняя поездка 1840 года принесла много светлых и радостных минут.

Разделавшись с оставшимися быками: продав их в Москве за полцены, Кольцов, почти не задерживаясь в белокаменной, поскакал в Петербург.

Теперь там был Белинский. Кольцов остановился у него и бок о бок с ним прожил два месяца.

Белинский работал на Краевского. Целыми днями простаивал он возле своей конторки, исписывая мельчайшим почерком кипы бумаги.

В двух комнатках, какие он занимал на Большом проспекте, нельзя было повернуться: кругом лежали книги, газеты, журналы.

Иногда Белинский бросал перо и, дымя трубкой, ходил по комнате или ложился на диван: это были краткие минуты отдыха.

Когда Кольцов увидел Белинского, его поразила та перемена, какая произошла с ним после переезда в Петербург. Белинский похудел, побледнел и много кашлял. Он показался Кольцову очень усталым и измученным.

Однако перемена была не только во внешности. Его мнения, всегда рез-

кие и непримиримые, стали еще резче и непримиримее. Тот Разум с большой буквы, которым прежде он оправдывал гнусную действительность, очевидно, уже не был догмой, и суждения Мишеля Бакунина, которые так поразили в прошлый приезд Кольцова, уже не представлялись Белинскому откровением.

Управившись с делами в Сенате, Кольцов в середине декабря поехал в Москву, где тоже были хлопоты по старой земельной тяжбе. Деньги, вырученные им осенью за быков, таяли, — в Питере жизнь была дорога, — и когда Кольцов приехал в Москву, у него оставалось всего полтораста рублей.

Новый год он встречал в шумной и веселой компании у Боткина. Было много народу, произносились пламенные тосты, звенели бокалы. Васенька Боткин, как говорил Щепкин, тряхнул мошной: стол был заставлен дорогими винами и диковинными закусками.

В разгар веселья Клюшников предложил Кольцову поехать в маскарад, и тот с радостью согласился.

Пестрота и веселый шум маскарада его поразили. Какая-то маска в сером домино подхватила Кольцова и увлекла за собой. Это была стройная и, как ему показалось, красивая женщина. В ее фигуре и голосе почудилось что-то знакомое. Пора было уезжать, и Клюшников звал Кольцова одеваться. Таинственная незнакомка приоткрыла маску. Кольцов задохнулся от изумления.

— Варенька! — протягивая руки, воскликнул он, но ее уже не было: пестрая толпа масок разделила их, и он уехал с маскарада, так и не узнав, как попала сюда Варвара Григорьевна.

Между тем решение дела в земельном департаменте затянулось. Кольцов прожил все деньги и написал отцу письмо с просьбой выслать хотя бы на дорогу. Василий Петрович грубо ответил, что раз он промотал вырученные деньги, то пусть и делает, что хочет, а денег на дорогу он и не подумает высылать.

Кольцов занял деньги у Боткина и в начале марта с тяжелым сердцем поехал в Воронеж.

2

Рваные тяжелые облака мартовского утра мчались над черными деревьями. Скучный великопостный звон висел над сонным и неуютным городом. Крестясь и чертыхаясь, шлепали по мутным, рябым от ветра лужам воронежские обыватели.

Увязая в мокром грязном снегу, во двор кольцовского дома въехала ямская тройка. Из-под рогожного верха кибитки вылез усталый, хмурый Кольцов и, захватив небольшой мешок, пошел к крыльцу.

— С приездом! — сдернув шапку, подскочил работник.

Кольцов кивнул головой.

— Все ли подобру-поздорову? — спросил он.

— Благодарение богу, — ответил работник. — Оченно вас все заждались...



Никого не встретив в сенях, Кольцов прошел в столовую горницу. За столом сидел отец и, водя пальцем по строкам, читал толстую, закапанную воском библию.

— А! — поглядел из-под очков старик. — Алексей Васильич! А мы уж вас ждали, ждали, да все жданки поели, ждамши-то...

— Здравствуйте, батенька! — снимая шапку и опуская на пол мешок, поклонился Кольцов.

— Это что ж, — ехидно прищурился старик, указывая на мешок, — в мешке-то выручку, что ли, привез? Скажи пожалуйста! — развел он руками. — Шутка сказать: две сотни быков, одни хвосты на воз не покладешь, а перевернул в капитал и — вон, на-кось! Все быки в мешке!

— Батенька! — начал было Кольцов.

— Ну чего батенька? — оборвал его отец. — Профинтил денежки-то? В трактире, стало быть, продымил с питерскими сударками-то?

— Зачем же вы так говорите! — воскликнул Кольцов. — Ведь вы знаете — в гуртах падеж был, знаете, что негодных быков навязали мне, — вы всё знаете. Зачем же еще тираните? А что я долго в Москве да в Питере пробыл, так вам тоже известно: по вашим же делам... Все ноги обтопал, а дела обернул в вашу пользу. Вот, нате!

Кольцов достал из кармана сверток с бумагами и положил на стол перед отцом. Василий Петрович смахнул бумаги на пол.

— Что дела! — визгливо закричал он, пиная ногой сверток с бумагами. — Плевал я на дела! Деньги подай! Где, сукин сын, деньги?

— А что их, денег-то ваших, было? — резко сказал Кольцов, вплотную подходя к отцу. — От ста двадцати шести быков одни кожи в Москву привезли, да остальных на живодерню за ради христа уговорил за бесценок. Вот и вышло ваших денег семьсот рублев. Так мне-то пить-есть надо ай нет?

— Да ты что, очумел? — попятился Василий Петрович. — Ты что, идол, на отца этак-то?

— Нет! — крикнул Кольцов. — Я нисколько не очумел, а вот вам, батенька, стыдно на родном сыне спекуляторствовать!

— Да как ты смеешь?! — замахнулся Василий Петрович.

— Бейте! — хрипло сказал Кольцов. — Бейте, а я вам всю правду скажу... Это с чего вы меня в царского холуя перевернули? Вы старый человек, батенька, вам грех! Все зубы скалят, один я ни сном, ни духом! Встречаю в Москве нашего Капканщикова Карпа Петровича, а он мне: «Ну что, брат, каково твой песельник царский?» — «Какой такой песельник?» — «Да как же, батька твой намедни хвастал: государь-император тебя в Питер позвал песельник будто ему сочинять!»

— Ну, и что за беда? — отступая, буркнул старик. — Экося! Ну и прибавил! Ну и что?

— А то, что вам это не быки и не свиньи! И тут вы свои шибайские ухватки раз навсегда оставьте!

Василий Петрович вдруг остыл. Он погладил рукой скатерть и даже зевнул, перекрестив рот.

— Ну, шабаш! Пошумели... Будя! Ты, я слыхал, отделяться хошь?

— Откуда вы слышали? — удивился Кольцов.

— Да вот, стало быть, сорока на хвосте принесла...

Кольцов пожал плечами.

— Ну, чего ж молчишь? — поглядел исподлобья отец. — Сказывай!

— Батенька, — горячо заговорил Алексей. — Вы умный человек, батенька! Вы поймете меня, я в ноги вам поклонюсь! Нету мне пути в торговле, руки не лежат к коммерции... Отпустите меня... Я в Петербург поеду... Я учиться хочу!

— Во-он чего!.. — насмешливо протянул отец. — А мы слыхали, ты в Питере-то уж свой человек, вроде и на жительство там прописался...

— Да как же бы я так остался? — воскликнул Кольцов. — Денег-то нету! С каким капиталом я жил бы там?

Василий Петрович молча глядел на сына и барабанил пальцами по столу.

— Вот вы сами, батенька, — волнуясь, продолжал Кольцов, — вы сами сейчас затеяли этот разговор... И я на коленях прошу и умоляю вас: выделите меня!

Василий Петрович встал, прошелся из угла в угол, поправил лампадку.

— Ну так и так, — наконец сказал он. — Что ж с тобой поделаешь? Раз желаешь отделяться — отделяйся, бог с тобой, я не препятствую... Собирай пожитки, иди... спорить не будем...

— Батенька! — радостно воскликнул Кольцов. — Я и от дома, и от наследства откажусь, мне ничего не надо... Я ничего с вас не спрошу...

— А с меня и спрашивать нечего, — нахмурился старик. — С богом!

— И я уж ни на что ваше не посягну, — с жаром продолжал Кольцов. — Только дайте мне на выдел тысяч пять денег, и я...

— Чего?! — заорал отец. — Денег?! Пять тысяч?! — Он схватился за край стола и, сжав в кулаке скатерть, уставился на сына. — Пять тысяч! А рака печеного не хочешь? — безобразно гримасничая, закричал старик. — Рака! Рака!

— Да ведь как же?.. — начал было Кольцов.

— Вот так же! — не слушая его, хватив кулаком по столу, заревел отец. — Денег захотел! Что ж они твои, питерские-то?



— Так... — сказал Кольцов. — Поговорили, что меду наелись. — Он поглядел на отца и усмехнулся. — А ведь было время, когда вы, батенька, разговаривали со мной куда ласковее нонешнего. Оно и немудрено! Полиции боялись, долги за полу хватали. Дела-то все позапутали. Вот и пришлось Алешке их распутывать, да перед какими людьми в Москве, в Питере кланяться, да подличать, да выпрашивать... А теперь Алешка последнее дело оправдал, вы — чисты, долгов нету, полиция за бороду не схватит... Теперича Алешка пошел вон со двора!

— Вон! — закричал отец, топая ногами. — Вон, дерзкой!

Кольцов поднял с пола мешок.

— Не кричите, — сказал он, — уйду... Только про питерских, — остановился он возле двери, — про друзей моих — молчите! Не смейте светлые их имена в нашем навозе марать!

3

«Ну, — грустно подумал Кольцов, — вот и поздоровался с отцом. Пойти к маменьке... поклониться».

Прасковьи Ивановны дома не оказалось: она говела и ушла к обедне.

Кольцов пошел к Анисье.

Сестра стояла возле окна и читала какое-то письмо.

— Здравствуй, сестренка! — сказал Кольцов, входя в ее комнату.

Анисья обернулась и быстро спрятала письмо в карман.

— Ах, это ты, — равнодушно протянула она. — Приехал? Я так и догадалась. Как услыхала давеча, что батенька ногами топает, — ну, думаю, наверно, Алеша приехал. Тебе что? — спросила Анисья.

— Как «что»? — удивился Кольцов. — Ничего. Вот приехал, проведать зашел, а ты как чужая: «Тебе что?» Да ты будто и не рада вовсе, что я вернулся?

— Нет, что ж, — вздернула плечом Анисья. — Я ничего... Так просто. Ты вошел, я испугалась... Чего это ты с мешком-то?

— Да вот, — печально улыбнулся Кольцов. — Отец со двора гонит... Ну, да что об этом толковать — песня не новая! Что это ты читала?

— Так... Письмо от подружки...

— Ой, Анисья!..— он шутливо погрозил пальцем. — Лукавишь, девка!

— А чего мне лукавить? — отвернувшись, с досадой сказала Анисья. — Вот выдумал!

Кольцов подошел к фортепиано, провел пальцем по запыленной крышке, открыл ее и потрогал клавиши.

— Я тебе с Карпом Петровым ноты из Москвы послал, Шубертовы песни. Получила ли?

— Получила...

— Прелесть, какие песни! Ты уж, наверное, какие-нибудь разучила?

— Нет, не разучивала, — зевнула Анисья. — Да и напрасно посылал: какая я певица!

— Да тебя подменили, что ли? — изумился Кольцов. — Не поешь, к фортепьянам, вижу, не прикасаешься, — вот пылища-то какая на крышке! Что ты, Анисочка!.. Ах, постой! — Кольцов потер лоб. — Мне в Москве говорил Карп Петров, да я не поверил... Замуж идешь?

— Выдумают тоже! — принужденно засмеялась Анисья.

— Да нет! — Кольцов хотел обнять сестру, но та увернулась. — Нет, я ведь что хочу сказать, сестренка. Это хорошо, что замуж, да гляди, чтоб человек был, а не кукла. Главное — не ошибись.

— Да что ты, в самом деле, привязался? — зло воскликнула Анисья. — Ведь говорю нет, значит — нет!

Кольцов медленно закрыл крышку фортепиано, провел пальцем по толстому слою пыли вдоль и поперек: получился крест.

— Полгода дома не был, а как все перевернулось, боже мой!..

Он хотел сказать что-то еще, да в комнату с хохотом и криками, толкая друг друга, вбежали Анисьины подружки.

— Аниска! Аниска! — закричала толстенькая черноволосая девушка, одна из бесчисленных дочерей купца Мелентьева. — Ох, что расскажу-то!.. Варька от офицера назад приехала!

Увидев Кольцова, она запнулась.

— Здравствуйте, Алексей Васильич!

Девушки примолкли и стали у дверей табунком, перешептываясь и фыркая.

— Иди, иди, Алеша! — бесцеремонно сказала Анисья. — Потом придешь: у нас сейчас свои дела — девичьи... Иди!

И она выпроводила Кольцова из комнаты.

4

Еще в Петербурге Кольцов стал покашливать. Сырая мгла столицы давила на грудь, затрудняла дыхание.

— Нет, Алексей Васильич, — сказал однажды Белинский, — не про нас с вами этот северный Вавилон!

В Москве, когда встречали у Боткина Новый год, Кольцов не поостерегся: разгорячась в жаркой зале, вышел через стеклянную дверь на балкон прохладиться, а потом пролежал с неделю, и Кетчер пользовал его припарками и какой-то им самим составленной микстурой.

Друзья хотели позвать прославленного московского лекаря, да Кольцов отказался:

— Не в коня корм! Все, как на собаке, заживет!

Придя от Анисьи в свою каморку, Кольцов почувствовал боль в груди. Потерев больное место, вздохнул, вскрикнул от боли и закашлялся. Откашлявшись, тяжело дыша, подошел к окошку. У избы, где жили работники, дрались две собаки. Работники швыряли в них палками. Над голыми деревьями сада летали вороны. Сгорбившись, медленно прошла от обедни мать. Кольцов подумал о ней с нежностью, — ему было жаль эту измученную бессловесную женщину, однако горячей сыновней любви к ней он не чувствовал никогда.

«Боже мой, вот яма, вот тоска! И как только жить в этом доме!»

Он оделся и вышел на улицу. Серый туман расползался по воронежским улицам. Верхушка каланчи едва виднелась за плотной завесой тумана.

Было воскресенье.

Поев после обедни постных пирогов с грибами, воронежские обыватели гуляли по Дворянской улице.

Кольцов углубился в свои мысли и, низко опустив голову, медленно шел по улице, не замечая знакомых и не отвечая на поклоны. Те оборачивались, качали головами, глядели ему вслед. Кое-кто даже останавливался и, злобно улыбаясь, бормотал:

— Ах, гордец! Щелкопер!.. Писака!

«Варенька! — думал Кольцов. — Когда же это она приехала?» Он вспомнил московский маскарад и свою неожиданную встречу с ней. Серое домино манило и убегало ускользая.

«Почему же от офицера? От какого офицера?» Мысли мучительно путались.

— Алексей Васильич! — окликнул его рослый молодой человек в дорогой шубе. — Что это вы, голубчик? На вас лица нету!

Кольцов вздрогнул и остановился.

— Ах, Иван Алексеич! — сказал он, узнав Придорогина. — Простите, задумался.

— Сочиняли что-нибудь, наверное? Помешал?

— Да нет, нет, не беспокойтесь! — смутился Кольцов. — Так, нездоровится что-то, хожу — места не найду.

— Давненько не видели вас. В Питере изволили быть?

— Да, и в Питере, — рассеянно ответил Кольцов.

— Знаете что! — останавливаясь и беря под руку Кольцова, воскликнул Придорогин. — Я вашу меланхолию развею. Идемте к Добровольским, у них нынче чтение литературное, — поспешно прибавил он, видя, что Кольцов хочет отказаться. — А как вам рады-то будут!..

5

У Добровольских бывали литературные собрания. Они, впрочем, ничем почти не отличались от обычных обедов, устраиваемых гостеприимными супругами: все тот же карточный стол, и чай с закуской, и нескончаемые разговоры, сплетни и пересуды городских новостей. Литературная часть этого собрания состояла из чтения Дацковым сочиненной им для «Губернских ведомостей» заметки о воронежском театре.

Когда Кольцов и Придорогин вошли в гостиную, все уже были в сборе. Долинский мрачно сидел в углу, дымя чубуком. Волков рассказывал хозяйке что-то смешное: Эмилия Егоровна жеманно хихикала и ударяла веером по руке расходившегося рассказчика. Чиновник казенной палаты Баталин, заложив руки за фалды мешковатого засаленного фрака, ходил по комнате. Это был неуклюжий человек с бугристой и точно заспанной физиономией, с жесткими волосами, растущими почти от сросшихся на переносье бровей. Он некоторым образом считал себя причастным к литературе: в «Москвитянине» иногда печатали его пустые и вздорные заметки под названием «Письма из провинции».

— Ба, ба! Кого мы видим! — воскликнул Добровольский, идя навстречу Придорогину и Кольцову. — Алексей Васильич! Какими судьбами? Вот уж подлинно гость дорогой!

— Из Питера-с? — осклабившись, спросил Дацков, придвигая свой стул поближе к Кольцову.

— Да, был и в Питере и в Москве, — сказал Кольцов.

— Ну что там литературные светила наши? — юлил Дацков. — Чай, всех повидали, всех послушали?

— Там сейчас у них в «Отечественных записках» Белинский коноводит! — мрачно заметил Долинский. — Он там всем киселя дает!

— Уж вы скажете! — захихикал Дацков. — В каком смысле киселя?

— Да в каком? В самом обыкновенном, — отрубил Долинский. — Под зад!

— Экой вы, Степан Яковлич! — Дацков потрепал по коленке Долинского. — Господин Белинский друг Алексею Васильичу, а вы этак!..

— Да я ничего, — пуская дымовое облако, сказал Долинский. — Я попросту-с...

Разговор становился неприятным. Прелесть литературного собрания грозила омрачиться грубым и громким спором. Добровольский поерзал на стуле, переглянулся с женой и пригласил гостей к столу.

— Волшебница! — обращаясь к хозяйке, воскликнул Дацков. — Что может сделать с обыкновенным бирючком!

С минуту за столом было тихо. Позванивали рюмки, стучали ножи. Баталин с Долинским выпили по второй и по третьей. Однако сидеть за столом и молча есть было неприлично. Придорогин решил начать литературный разговор.

— Сейчас, — сказал он, обсасывая хвостик маринованной рыбешки, —

сейчас вообще много журналов превосходных. Вон «Библиотека для чтения» роман господина Кукольника печатает — огромнейшая вещь!

— Да, — сказал Кольцов, — вещь, ежели на безмене взвесить, действительно огромная. Зато и препустая. Редакция сделала большую ошибку, что печатает этот роман: «Библиотека» у всякого, даже у глупца, упала в мнении. Кто же нынче всерьез говорит о Кукольнике? Нам описание жизни нужно, натуральное художество, а то что ж эти завитушки кукольниковские!

Баталин перестал жевать и внимательно поглядел на Кольцова.

— Нет-с, позвольте! — сказал он, кладя вилку. — Я сам занимаюсь литературой. Я, ежели вы изволили читать, состою вкладчиком «Москвитянина»-с... И мне довольно странно слушать подобные суждения!

— Почему же странно? — улыбнулся Кольцов.

— Да потому-с, — запальчиво воскликнул Баталин, — потому-с, что это очень легко словесно взять и унизить великого писателя!

— Да вы что? — удивленно поднял брови Кольцов. — Это вы Кукольника, что ли, великим аттестуете?

— Да-с! «Рука всевышнего» — это великое создание великого человека-с! Ваш Белинский...

— Белинский не только мой, — бледнея, сказал Кольцов, — он всему народу русскому принадлежит!

— Это как понимать: народ-с? — ухмыльнулся Волков. — Народ всякий есть. Четырнадцатого декабря на Сенатской площади тоже народ был-с.. И мужик с топором против своего барина бунтует — и это народ? Не так ли?

— Так точно, — сказал Кольцов. — Это народ.

— Эх, господа! — воскликнул Добровольский. — Экие вы, право! Ну зачем святое искусство с презренной политикой мешать?

— Да нет, позвольте-с, — не унимался Баталин. — Вон они сказали, — он указал на Кольцова, — описание жизни, натуральное художество...

— Ну, сказал, — нетерпеливо перебил его Кольцов.

— Так это как же понять-с? Это что ж, и как мужик квас хлебает, и как он лыко дерет — все натуральное художество?

— Да, — сказал Кольцов. — Это все — натуральное художество.

Он сильно закашлялся и схватился рукой за грудь.

— Ха-ха-ха! Ну, начудили вы, батюшка Алексей Васильич! — засмеялся Волков. — Это вы ведь все с Белинского пересказываете! — потрепал он по плечу Кольцова. — А вот мне приятель из Москвы писал намедни, будто славный наш актер Каратыгин пресмешные куплетцы на Белинского сочинил!

— А не писал ли вам приятель ваш, — едва отдышавшись от кашля, гневно спросил Кольцов, — не писал ли он вам, что великий наш актер Щепкин Михайло Семеныч плюнул на эти куплеты и исполнять их отказался? Да знаете ли вы, что Белинского мы все, сколько тут нас ни есть, ногтя не стоим!

— Экося! — воскликнул Долинский. — Что это вы нам в глаза Белинским тычете? А кто он такой — Белинский? Он, государи мои, неуч, студент

выгнанный, пьяница, развратник! Молокосос, а взялся, вишь, критиковать людей порядочных, умных, образованных!

— Как вам не стыдно! — вскакивая со стула, закричал Кольцов. — Что вы врете! Вы, учитель! Чему же вы учите учеников своих, когда...

— А это, сударь, не твоя печаль, — грубо оборвал Кольцова Долинский, — чему мы учеников научим. Брехать, как Белинский твой, не научим! Экося! — пьяно захохотал Долинский. — Подумаешь, фря какая, что с его сиятельством, с господином Жуковским по улице под ручку прогулялся, так уж ты думаешь — тебе все можно? Ан, брат, нет! Шалишь!..

— Господа! Господа! — умоляюще залепетал Дацков, становясь между Кольцовым и Долинским. — Алексей Васильич, Степан Яковлич! Ах, боже мой!

— Алексей Васильич! — подскочил Добровольский. — Голубчик! Да вот винца не угодно ли? Славный портвейнец, доложу я вам. Каналья Потапов божился, что от Депре выписал...

— Нет! — идя к двери, сказал Кольцов. — Премного благодарен. Только я пойду-с... Мне душно... Горло схватило...

Добровольский и Дацков загородили Кольцову дорогу, но он отстранил их и, сказав: «Извините, господа!», ушел.

6

Мирное течение литературного вечера было нарушено. Какое-то время все молча сидели за столом.

— Н-да.. — наконец промычал Баталин. — Штучка!

— «Штучка»! — передразнил его Долинский. — Это, сударь, бунтовщик, а не «штучка»!

— Быв долго с бычьими гуртами, — ощерился гнилозубым ртом Волков, — перенял у них свирепость в характере.

— А в стихах мычанье! — прибавил Дацков.

Все захохотали. Эмилия Егоровна ударила веером по плечу Волкова.

— Ах, какие вы! — жеманно сказала она. — Разве так можно? Он такой жалкий...

— Понахватался и лезет с поучениями, — заметил Дацков. — «Натуральное художество!», «Народ!»—гримасничал он, передразнивая Кольцова.

— Все-таки неловко, знаете, — нерешительно сказал Добровольский. — Обидели все-таки человека.

— Поделом! — пробурчал Баталин. — Со свиным рылом не суйся в калашный ряд!

После обеда все собрались в гостиной, и Дацков, вынув из заднего кармана тетрадку, стал читать статейку о театре.

— Божественно! — закатила глаза Эмилия Егоровна, когда Дацков умолк.

— Чудный слог, легкость пера, так сказать... Поздравляю, почтенный Иван Семеныч! — сказал Волков. — Подлинно доставили удовольствие.

— Это, брат, тебе не Белинский! — угрюмо усмехнулся Баталин.



— Да уж и не Кольцов! — добавил Долинский.

Волков вынул из кармана листочек и помахал им.

— Кстати, господа, — обратился он к собравшимся. — У меня есть одна вещица, — вот не угодно ли?

— Силянс! Силянс! — прошепелявила Эмилия Егоровна. — Мсьё Волков прочитает свои стихи!

Волков вышел на середину гостиной и, сделав ножкой какое-то мудреное антраша, начал:

Родился Чиж, любимец, знать, природы...

— Ох, попался кто-то на зубок нашему Ивану Иванычу! — восхищенно прошептал Дацков.

По перьям Чиж, —

продолжал Волков, —

Не так красивый,
Но голос у Чижа был вовсе не чижиный:
Он просто как-то пел,
И пением простым привлечь к себе успел
Он многих — даже бар... И вот в саду,
В котором Чижик жил, — гульба, да на беду
Вслух начали хвалить Чижа за пенье...

— Эге! — громко сказал Долинский. — Знакомый, брат, Чижик-то. Что-то на Кольцова нашего смахивает!

На Долинского зашикали. Волков продолжал:

Чиж вслушался: его прельстила слава.
С гнезда родимого слетел,
К хоромам барским подлетел.
Лишь свистнет он — в хоромах кричат: браво!

— Ох, верно! Уморил!.. — вытирая слезы, покатывался Баталин. — Подлинно: Чижик!

Заметьте ж то, —

Волков значительно поднял указательный палец, —

В хоромах тех,
На окнах всех
Ученые висели в клетках птицы:
Дрозды, малиновки, синицы,
И под органчик все уж не по-птичьи пели,
А песни русские, и вальсы, и кадрели...

— «Кадрели», — замахал руками Долинский. — Вот именно: «кадрели»!

И даже попугай,
Как критик злой в журнале,
На всех, кто ни пройдет в саду или по зале,
Кричит: «Дуррак! Дуррак!»

— Белинский! Живой Белинский! — дрыгая ногами в клетчатых панталонах, хохотал Дацков. — Ну, Иван Иваныч, вот поддел, так поддел!..

Итак, —

важно продолжал Волков, —

Наш Чиж примолк и мыслит про себя:
«Что ж, если в пенье свое я
Прибавлю разного чужого —
Ведь блеску это мне прибавит много!
Все станут говорить, что Чиж, верно, учен,
    Да и умен, —
Вот у него какие слышны звуки,
Как у ученых птиц, — не спеть так без науки!»
Внимать прилежно Чижик стал,
Синица как песнь русскую свистала,
Как трели соловей на щелканье менял,
И как малиновка кадрели напевала,
    И даже как
Прохожим попугай кричал: «Дуррак! Дуррак!»
Всего наш Чиж на память понемногу
    Чужого нахватал
И в пении своем без смысла все смешал,
И стала песнь его не песнь, а кавардак,
И эхо вторило одно: «Дуррак! Дуррак!»

Волков сделал ручкой и спрятал листок в карман под громкий смех и крики «браво, браво!».

Долинский смеялся так, что просыпал табак из трубки, искры полетели на ковер, и Добровольский с Дацковым кинулись их затаптывать.

— Ну, Иван Иваныч, и пробрал же ты нашего молодца! Прямо сказать: спасибо, удружил! — выговорил, наконец, Долинский. — Эк ты его: «Чужого нахватал — и все смешал!» Подлинно так!

В гостиной воцарилось веселье. О неприятном разговоре с Кольцовым забыли. Добровольский сел за старенькое фортепиано и заиграл вальс. Дацков подхватил Эмилию Егоровну, Баталин с Долинским пошли к закусочному столу и выпили еще по одной.

Так неловко начавшийся литературный вечер окончился на славу.

7

«Фу, мерзость какая! — с отвращением думал Кольцов, шагая по улице и вспоминая отвратительные подробности вечера. — Какая вонючая лужа!»

Щеки его горели. Весенний ветерок приятно освежал лицо, и мысли вернулись к прежнему.

«Так почему ж так грязно говорят о ней? — снова вспомнил Кольцов о Вареньке. — Ах, да, ведь чего-чего у нас не набрешут! Вдова, красавица, не всякому в руки дается, — вот и плетут... Ах, нехорошо!..»

На Чернавском съезде множество кляч, скользя по обледенелой дороге и часто падая на колени, волокло на огромных полозьях чугунную махину.

Хриплыми, злыми голосами возчики на чем свет стоит кляли бога и

мать, кричали: «Разом! Разом!» — и то хлестали кнутами замученных одров, то наваливались на махину, подсобляя лошадям.

Сбоку дороги, в толпе зевак, стоял кривой мещанин и подавал советы.

— Куда, дура, дергаешь животную! — кричал он. — Ты ба полегше, полегше! А ну, вагой-то, вагой! Подважь, говорю! Эка анафемы!

— Что это? — спросил Кольцов у мещанина.

— Это, сударь, котел паровой на Башкирцеву фабрику волокут! — ответил мещанин. — Тыщу лет, слышь, привод лошадьми гоняли, ан вот по науке теперича вышло — котел!

Кольцов поглядел на бьющихся лошадей и пошел вниз по спуску. Наступили сумерки, когда он вышел к реке. У въезда на Митрофаньевский мост дремал инвалид. В окошке часовни мерцала красная лампадка.

«Зачем я сюда попал?» — удивился Кольцов и вздрогнул: прямо над ним, прилепившись к горе, тремя небольшими окнами тускло светился старый, невзрачный домишко.

«Значит, судьба привела», — улыбнулся Кольцов, поднялся по круче к дому и постучал в крайнее окно.

8

Открыла дверь Варвара Григорьевна.

— Боже мой! Алешенька! — удивилась она, узнав Кольцова. — Как это хорошо, что ты пришел! А я сижу одна, от скуки плакать хочется. Тетка говеет, ко всенощной пошла, да и застряла где-то... Наведалась было к Анюте вашей, — она стала теперь какая-то... бог с ней... поджала губы. «Да. Нет», — только от нее и услышишь. А ведь подругами были! — жалобно протянула Варенька. — Вот что значит без мужа-то, — лукаво повела она глазами на Кольцова. — Обижают — и заступиться некому...

— Варвара Григорьевна! — сказал Кольцов. — Поверьте, уж как я понимаю все! Ни слова не говорите! Вы меня, да я вас мало что ни с детства знаем, чего же нам хорониться-то?

Варенька засмеялась.

— Ну, идем, идем! — Она взяла Кольцова за руку. — Что ж мы в сенях-то? Тетка Лиза, хоть и злюка, а зальчик мне уступила. Вот, — распахнула Варенька дверь, — тут мой будуар, и гостиная, и кабинет. Садись. Хочешь чаю?

Тетушкин зальчик оказался маленькой, низкой комнаткой, оклеенной дешевыми обоями, с пыльными фикусами и мутным зеркалом в простенке между двумя окнами. На узеньком, деревянном «монастырском» диванчике ворохом лежали какие-то платья, кружева и ленты. Лиловый шелковый салоп с горностаевой выпушкой валялся на старенком кресле. Варенька сгребла все это в охапку и сунула в огромный скрипучий гардероб.

— Ты знаешь, Алеша, — сказала она, садясь рядом с Кольцовым на диванчик и накрывая его колени волной своего голубого шуршащего кринолина, — знаешь, Алеша, у нас тут в мещанстве живут, как мыши в подполье, ей-богу! Пискнут и своего писку пугаются, и сидят — не дышат. И тихо так, что в ушах звенит.

— Это как сказать... — улыбнулся Кольцов. — Тихо-тихо, а то вдруг случается, что и человека насмерть загрызут мыши-то эти самые!

Варенька посмотрела на Кольцова.

— Ну, бог с ними! — вздохнула она. — Ты не обиделся, что я так на маскараде тебя дурачила? Нет? Не надо, голубчик, не обижайся. Я тебя там сразу увидела, с тобой еще длинный такой, смешной был...

— Это Клюшников. Чудесный человек! Какие стихи пишет!..

— Все равно он смешной твой Клюшников. А весело как было! Сейчас все вспомнишь, точно сон. Эх, и пожила я тогда!.. Все забыла, бросилась, как в омут! Я знаю, ты мне стихи сочинил. Мне Анисья показывала, я их списала.

Ты в путь иной отправилась одна
И для преступных наслаждений,
Для сладострастья без любви,
Других любимцев избрала...

Верно? Ведь ты в меня влюблен был немножко? Да?

— Ах, Варвара Григорьевна! — вздохнул Кольцов. — Что ж говорить о том, — так только, болячку тревожить! Да ведь и письма мои, что я вам посылал из Питера да из Москвы, вами читаны были, да безответно...

— Так ведь я все в Москве была, — тихо, точно извиняясь, сказала Варенька. — А письма сюда в Воронеж шли... Я их намедни только прочитала... И знаешь, что я тебе скажу?

Кольцов молча глядел на огонек свечи. Варенька встала с дивана, подошла к зеркалу и долго поправляла прическу. Кольцов слышал, как бьется его сердце да, нагорая, потрескивает свеча.

— Страшно любить меня, Алеша, — наконец сказала Варенька. — Я как безумная... Я ведь сама себя боюсь... Небось слышал в городе-то, как про меня говорят: «Лебедиха сожрала!», «Попал к Лебедихе в ловушку!» Вот ты хороший, умница, летишь на мой огонек... А ведь сгоришь! Сгоришь, Алеша! Ох, дурная я! — Варенька заломила руки. — Тоска проклятая загрызла! Вот мы тихо тут с тобой сидим, сверчок — слышишь? — за печкой трещит. А мы с тобой, как те мыши. — Варенька отрывисто засмеялась. — Мыши! — презрительно вздернув плечами, повторила она. — А сейчас бы на бешеной тройке, да чтоб ветер со снегом в лицо, да забыть про все на свете! Эту жизнь подлую, проклятую!.. Ах!

Закрыв руками лицо, Варенька опустилась на стул.

— Варвара Григорьевна! Варюша! — вскочил Кольцов. — Да неужто этак-то всю жизнь ходить возле ворот да замка не сшибить? Ну, держись, белый свет! Одевайтесь потеплее, я мигом!

Он схватил шапку и выбежал из комнаты.

9

Через полчаса возле ворот Варенькиного дома стояла тройка. Лошади были молодые, недавно объезженные. Они нетерпеливо топтались в рыхлом снегу подтаявшей дороги, вздрагивали, и нужна была большая сила и сноровка, чтобы удержать их на месте.

В ковровые, с подрезами сани Зензинов положил охапку сена, чтобы было теплей ногам, бросил полмешка овса коням. «На ночь поедем, — сказал ему Кольцов. — Возьми овсеца-то...»

Тетка Лиза пришла от всенощной. Увидев у ворот зензиновскую тройку, она поджала злые губы и стала что-то шептать.

Варенька со смехом устраивалась в санях. Кольцов поправлял домотканную полость.

— Допрыгаешься, Варька! — сказала тетка.

— Валяй! — крикнул Кольцов, вскакивая в сани.

Зензинов разобрал вожжи, ахнул, и тройка, в мгновение проскочив узенькую горбатую улочку, влетела на мост и понеслась по новой гати в открытое поле.

Кольцов поглядел на Вареньку. Она сидела молча, с закрытыми глазами, прижавшись к нему, и еле заметная, почти неуловимая улыбка дрожала на ее побледневшем лице.

Навстречу мелькали недавно посаженные черные палки ветел, два раза полосатые верстовые столбы проплыли назад. Показалась слобода Придача. С хриплым лаем от крайних изб кинулись лохматые собаки. Тусклые огни в окнах черных хат горели, как волчьи глаза. Возле кабака плясали гуляки. Один из них, что-то крича и ругаясь, кинулся к тройке, — Зензинов вытянул его кнутом.

И снова все исчезло в тумане: избы, церковь на краю слободы, собаки, пляшущие мужики...

Варенька все молчала. Она не спрашивала, куда они едут, не визжала на раскатах, не ахала от восторга, а только плотнее прижималась к Кольцову и улыбалась.

Один раз Кольцов наклонился к ее уху и шепнул:

— Ты этак хотела?

Она, не открывая глаз, молча кивнула головой.

Возле села Борового Зензинов попридержал лошадей. Перед ними, затейливо извиваясь в кустах, лежала почерневшая река Усмань. Натягивая вожжи, Зензинов откинулся всем телом назад. Лошади пошли шагом.

— Не передумал, Васильич? — обернувшись к Кольцову, крикнул Зензинов. — Поедем на кордон ай заворачивать будем?

— Давай на кордон! — сказал Кольцов.

— Дюже река ненадежна. — Зензинов махнул кнутом вдаль. — Не построять бы завтра-то...

— Ничего, давай! — крикнул Кольцов. — Ты не побоишься? — шепнул он Вареньке.

— Хоть на край света вези! — в первый раз за дорогу откликнулась она.

Зензинов пустил тройку на лед. Лошади шли, осторожно фыркая и пугливо прядая ушами. Вдруг на реке что-то хлопнуло. Лошади вздрогнули и вскачь вынесли сани на боровской берег. За избами Борового чернел лес.

Въехав в густой молодой сосняк, Зензинов перегнулся с облучка и сказал:

— Васильич, ты ничего не знаешь?

— А что? — спросил Кольцов.

— Лед треснул, вот что! — захохотал Зензинов. — Ну, отчаянные головушки, пострянем мы тут с вами!

10

Несколько лет подряд возле Боровского кордона Кольцовы рубили лес. Объездчик Махонин — здоровый веселый мужик лет сорока, с красноватым, обветренным лицом, льняного цвета бородой — хорошо знал Кольцова и любил его. Он был грамотей, охотник читать, и Кольцов, зная его любовь к чтению, часто даривал ему книги. Махонин очень дорожил этими подарками, но больше всего гордился маленькой зеленой книжечкой стихов самого Кольцова, которую тот подарил ему с надписью:

«Горе есть — не горюй,
Дело есть — работай;
А под случай попал —
На здоровье гуляй!»

Когда Зензинов постучался кнутовищем в высокие крепкие ворота кордона, Махонин вышел и, увидев тройку, удивился.

— Кого это бог принес?

— Незваный гость хуже татарина! — засмеялся Кольцов, помогая Вареньке выбраться из саней. — Но делать нечего, друг, принимай!

— Ну, это гость дорогой! — обрадовался Махонин и пошел открывать ворота.

В низенькой избе кордона тускло горела лучина. Жена Махонина, засучив рукава, месила в деже тесто.

— Здорово, Наташа! — сказал Кольцов, входя с Варенькой в избу. — Вот мы к тебе на часок припожаловали, — не ругайся, принимай гостей.

— Ах-и! — удивилась Наташа. — Лексей Васильич, вот напужал: на часок! Да мы тебе всегда рады!

Она вытерла руки и стала прибирать на лавке, очищая место для гостей.

— А это чья же? — спросила Наташа, разглядывая Вареньку. — Неужли ж твоя баба? Ах-и! — бесцеремонно рассматривая Вареньку, всплеснула она руками. — Ну, краля, истинно краля!

Кольцов смутился и искоса глянул на Вареньку.

— Отгулял, видно, Алексей Васильич, в холостых! — развязывая ленты капора, засмеялась Варенька. — Пропал добрый молодец!

— Ну, зачем пропал? — строго сказала Наташа. — Вот деточки пойдут, в дому радость, божье благословенье... Вон нас с мужиком бог наказал детьми — оно уж так-то скучно! — со вздохом добавила она.

Вошли Зензинов и Махонин.

— Вот, Степа, — сказала Наташа, — Алексей Васильич закон иделал, видал, какую кралю подцепил?

— Ну, много лет здравствовать! — поклонился Махонин. — И тебе, Лексей Васильич, и тебе, сударыня-матушка!

Зензинов удивленно поглядел на Кольцова. Алексей покраснел и отвернулся.

— Фу ты, пропасть, — досадливо крякнул Зензинов, — рукавицы в санях кинул!

Он вышел и через минуту позвал Кольцова.

— Ты что? — выходя в сенцы, спросил Кольцов.

Зензинов засмеялся:

— Не обижайся, Васильич, но ты чудак! Ну, ладно там: жена — не жена, дело не мое... А ты вот что скажи: ты ехал гулять? Гулять. Коням овса на ночь не забыл взять? Нет. А сами чего делать будем? Ужли ж вместе с конями овес из кормушки хрупать?

Зензинов, смеясь, поглядел на Кольцова.

— Верно, — растерянно сказал Кольцов. — Как же это я так?..

— Ну, ничего! — Зензинов хлопнул рукой Кольцова по плечу. — Иди, Васильич, я сейчас!

11

Когда Кольцов вернулся в избу, Наташа накрывала стол свежей, только что вынутой из сундука скатертью. Варенька помогала ей: перетирала чашки, резала хлеб.

— Ну, Лексей Васильич, — обратился Махонин к Кольцову, — ты, брат, нами и до се не гребовал, а уж нонче не взыщи: так со двора не отпустим! С масленой бражка в бочонке бродит, стало быть, дюже хороша!

Махонин слазил в погреб, достал бочонок с брагой, капусты квашеной и большую раму сотового меда.

— Значит, — ставя угощение на стол, весело тряхнул он волосами, — «под случай попал — на здоровье гуляй!» Так ай нет, Васильич? Оно, конечно, великий пост, ну да господь простит для такого разу... Пожалуйте за стол, господа! Будя, Наташка, копаться-то! — прикрикнул Махонин на жену. — Да где ж твой кучер-то?

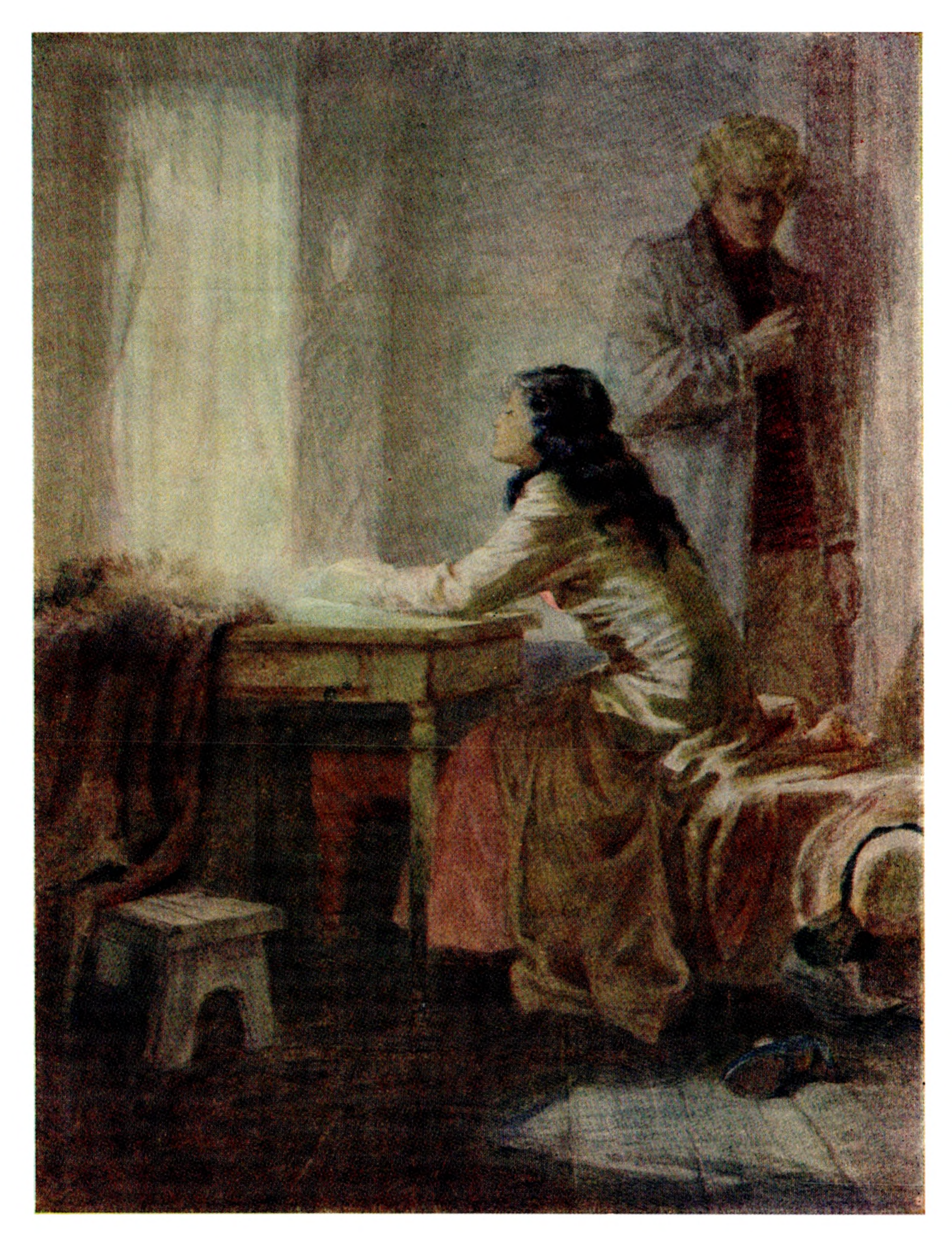
— Ай соскучился? — входя в избу, спросил Зензинов. — Эка те рукавицы-то! — ставя на стол полуштоф, подмигнул он Кольцову. — Так ведь и не нашел, и куды завалились?

— Да вот они, твои рукавицы-то! — засмеялась Наташа.

Махонин разлил по чашкам вино и брагу.

— Ну, Лексей Васильич, — протянул он стакан Кольцову. — Будь здоров, дорогой, на многие лета! И тебе, матушка, того же! — поклонился он Вареньке.

Кольцов любовался ею. Она звонко смеялась, чокаясь со всеми. Ее непринужденность, простота и та легкость, с которой она вошла в незнакомую ей обстановку лесниковой избы, поражали Кольцова. Он радостно глядел на нее и, еще не зная, что будет дальше, чувствовал всем своим существом, что в его жизнь совершенно неожиданно пришло такое счастье, что коли надо, так за него и смертью заплатить не жалко.



К стр. 270

— Стой, Васильич, — сказал Махонин. — Этак у хороших людей не водится: все выпили, а ты все стакан держишь! Давай, брат, давай!

Кольцов улыбнулся и выпил.

— Горькая! — крикнул Зензинов. — Горькая твоя брага!

— Горькая! Горькая! — засмеялись Махонин с Наташей. — Подсластить надоть!

— Что ж, Алеша, — сказала Варенька, — нам целоваться велят. — Очень просто, как будто это у них не в первый раз, Варенька обняла Кольцова и поцеловала.

На какую-то долю секунды перед глазами Кольцова мелькнула пропасть, и все, что было кругом: лесникова изба, люди, весь мир, — все рухнуло в эту пропасть.

— Наташка! — откуда-то издалека, как показалось Кольцову, позвал Махонин жену. — Не ломай обычай, давай молодым игральную!

На лужку ль, на зеленом, эх, лужку, —

низким приятным голосом завела Наташа свадебную песню, —

Там ли быстрая реченька...
Там лежала досточка дубовая,
Перекладина сосновая...

Кольцов знал, что Наташа была мастерица петь, но ему показалось, что сейчас она пела особенно хорошо и что эта знакомая ему песня была особенно значительна и прекрасна.

Никто по тем доскам не хаживал,
Никого за собой не важивал.
Перешел Алексеюшка,
Перевел Варварушку...

«Перевел Варварушку! — улыбнулся Кольцов. — Как это дивно сложено! Вот бы этак сложить!.. Дальше, дальше!» — мысленно торопил он.

Перевел Варварушку, —

лукаво повторила Наталья, —

Переведши, спрашивал:
«Ты горазда ль, Варварушка,
Домом жить,
Ты умеешь ли во двору ходить?»

Варенька, смеясь, поглядела на Кольцова. «Ну как, не боишься? — спрашивал ее взгляд. — Вон ведь игра-то как далеко зашла...»

«Не боюсь, а радуюсь и готов помереть за эту радость!» — восторженным взглядом ответил ей Кольцов.

Не горазда я домом жить,
Не умею во двору ходить:
Я горазда на ручке спать,
Я горазда на правенькой
У дружка у милова,
У его сердца ретивова...

— Эх! — крикнул Зензинов, когда Наталья кончила петь. — Ну, брат Махонин, у тебя и баба!.. Чисто гусли! Пра, гусли!

Он восхищенно покрутил головой и стал разливать вино.

12

Гуляли допоздна. Зензинов раза три выходил во двор поглядеть лошадей.

— Ох, пострянем, Васильич! — шепнул он раз Кольцову. — На речке, брат, шум пошел! Беда!..

Но Кольцову теперь было все равно: Варенька сидела рядом, ее ласковые глаза сияли, голубой шелк ее платья напоминал весеннее небо, и все так были хороши и так любили его, и, главное, он сам так всех любил, что ему не было времени думать о дороге, о речке, которая вдруг зашумела.

«Шумит — и шут с ней! — легко подумал он. — Главное — это Варенька!»

Наконец Зензинов захмелел и, повалившись на лавку, заснул.

— Ну, молодые, — сказал Махонин, — оно и вам бы часок отдохнуть не мешало. Сейчас, Васильич, такую вам постель приготовлю, на какой и царь не леживал!

Он вышел во двор и вскоре вернулся с огромной охапкой душистого лесного сена.

— Пожалуйте сюда! — сказал он, открывая дверь в боковую горницу и сваливая сено на пол.

Наталья принесла две подушки и лоскутное одеяло.

— Ну, счастливо ночевать! — сказала она. — Я чай, лучину вам ненадобно, и так светло...

Маленькая комнатка была залита ровным мутновато-белым светом поздно взошедшей луны. В ворохе принесенного Махониным сена что-то зашуршало и пискнуло.

— Что это? — испуганно прижалась Варенька к Кольцову.

— Мышь, не бойся...

Варенька подняла голову и молча, долгим взглядом поглядела на него.

— Ну, что ж, Алеша, — тихо сказала она. — Тебе этак со мной хорошо?

— Ах, Варенька!.. — задохнувшись, прошептал Кольцов.

Было еще очень рано, когда Зензинов запряг лошадей и постучал кнутовищем в окошко.

— Эй, молодые! — крикнул он. — Лексей Васильич! Будя спать-то, ехать пора. Может, господь вынесет...

Луна еще довольно высоко стояла на ясном небе. Длинные синие тени от деревьев ползли по снегу, как огромные толстые змеи. Кольцов вспомнил, что еще мальчиком в какой-то книжке читал он про таких змей, живущих в океанской глубине.

Несмотря на ясное небо, в воздухе было тепло. Слабый, влажный ветерок шептался с верхушками сосен. Лес стоял, как во сне, полный неясных шорохов и потрескиваний.

Варенька, еще теплая и сонная, сидела, закрыв глаза и привалившись к плечу Кольцова, и он, думая, что она дремлет, и боясь помешать ее дремоте, молчал и прислушивался к шороху леса.

Кони шли медленнее, чем вчера: пристяжные то и дело проваливались в мокрый снег и с трудом выбирались на твердую дорогу.

В Боровом уже кое-где горели огни. Из труб подымался невысокий лохматый дым. В одном дворе скрипел колодезный журавль, коротко и тихо ржала лошадь.

Дорога стала тверже, и Зензинов пустил тройку вскачь. Быстрее замелькали огоньки, черная, без света, мимо саней проплыла изба, запестрели кусты ольхи, влажный воздух сильно ударил в лицо. Кони вынесли сани на бугорок.

— Тпру! — осадил Зензинов лошадей. — Ну, Васильич, постряли! — тревожно глядя вперед, сказал он.

Кольцов приподнялся в санях. Прямо перед ним, внизу, разбиваемая лунным столбом, чернела вода. Беспорядочно теснясь, толкаясь и стукаясь друг о друга, шли льдины. Ветер прибивал их к воронежскому берегу. Впрочем, берега уже не было: на его месте торчали из воды ольховые кусты и ветлы. Вода разлилась далеко к Воронежу: о переправе нечего было и думать.

Зензинов слез с облучка и зачем-то пошел к самой воде. Лошади стояли, тревожно поводя ушами.

— Варенька! — тихо сказал Кольцов, наклоняясь к ее уху. — Слышишь, Варенька, река разлилась, ехать некуда... Назад придется... На кордон...

— Вот хорошо! — не открывая глаз, сказала Варенька. — Вот хорошо, что на кордон. А я так спать хочу, Алешенька... родненький!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«Всякий подлец так на меня и лезет: дескать, писаке-то и крылья ощипать».

(Из письма Кольцова к Белинскому.)

1

Три дня шел лед. Рано утром на четвертые сутки Зензинов поехал верхом в Боровое — поглядеть на реку. Крайние избы села были в воде, река, сердито плеща, разлилась до самого воронежского крутобережья.

Вареньке надоело жить на кордоне. Она вспомнила, что ей нужно побывать у портнихи, где шилось новое платье; ей захотелось в офицерское собрание, в театр.

— Да какой же театр, Варюша? — заметил Кольцов. — Ведь сейчас великий пост!

Варенька поджала губки.

— Все равно, — капризно сказала она. — Все равно мне тут ужасно надоело. Лес, лучина чадит, мыши ночью в сене пищат. Мы уже пятые сутки как уехали. Небось тетка Лиза в полицию заявила, да и тебя ищут...

Кольцов вздохнул и пошел искать Зензинова. Тот только вернулся из Борового и возился в сарае с лошадьми. Выслушав Кольцова, Зензинов не спеша достал трубочку, закурил ее и, затянувшись раза два, сказал:

— Что ж, Васильич, ехать можно, верхами только. Кабы мы с тобой тут одни были... Да вот Варвара Григорьевна как? Конечно, ждать дороги — месяц еще просидим...

Варенька сказала, что ей все равно, хоть верхом, хоть по воздуху, а она в Воронеже будет.

— Опасно, Варюша, — предупредил ее Кольцов.

— А наплевать, я отчаянная! — засмеялась Варенька и, схватив Кольцова за руки, закружилась по горнице.

— Ну, тогда вот что, — удерживая Варю, сказал Кольцов. — Коли такое дело, то нынче ж в ночь и тронемся. Чтобы до свету в городе быть — понимаешь? А то ежели тебя этакой амазонкой в Воронеже увидят — держись, сплетен не оберешься!

— Представляю! — Варенька сделала страшные глаза. — Вот, скажут, Лебедиха Алешку Кольцова сожрала! Ну, ладно! — становясь серьезной, сказала Варенька. — Что ж мне надо делать? Ведь не в кринолине ж я верхом поеду?

2

Ночь была темная, с порывами мокрого холодного ветра, с низкими плотными тучами, белесыми над головой и черными, плотно закрывающими даль у горизонта.

Деревья в лесу уже не шептались, как в прошлый раз, а глухо и тревожно шумели. Кривой, корявый вяз, перекинув через дорогу обломанные ветром сучья, скрипел; и было похоже, что этот вяз — старик и все его бросили, а косточки ноют у него в ненастье, и он кряхтит и жалуется прохожим на свою старость и одиночество.

Варенька и Кольцов ехали рядом. В Наташином стареньком полушубке, в сапогах и в своем горностаевом капоре с лиловыми лентами она была необыкновенно мила и, сознавая свою прелесть, сама, точно девочка, радовалась такому забавному маскараду. Кольцов вез узел с ее салопом и платьем.

Когда миновали Боровое, Зензинов, ехавший впереди, остановился.

— Теперь слухай сюда, Васильич, — сказал он. — Дорога будет не шуточная, не по Дворянской кататься. Я поеду вперед, мой коренной покрепше ваших, вы же держитесь следом, не отставайте. Избавь бог, где попадем в яму — шабаш! Держать буду напрямки — на Архиерейскую рощу... Ну, отчаянные головушки, господи благослови!

Он тронул своего коренного. Помахивая густой косматой гривой, могучий жеребец вошел в воду. Пристяжные, на которых сидели Варенька и Кольцов, сами, без понукания, только тихонько всхрапывая и поводя ушами, пошли вслед за коренным. Глухо и неприязненно поплескивали черные волны.

Прекрасно море в бурной мгле, —

восторженно воскликнула Варенька, —

И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури!

Кольцов тихонько засмеялся, потянулся к ней, потрепал по руке и взял повод ее коня.

— Умница! Вот ты как Пушкина помнишь! Сиди крепче в седле, — прибавил он, — скоро река.

— Держитесь, как я говорил! — не оборачиваясь, крикнул Зензинов. — Сейчас плыть будем!

Лошади шли по брюхо в воде. Возле большого лохматого куста вода поднялась им по грудь. Рванул ветер. Зензинов что-то крикнул, но ветер отнес его слова в сторону. Вдруг его жеребец, точно оступясь, провалился

по шею и поплыл. В ту же минуту Зензинов и Кольцов вскочили ногами на седла.

— Держись, Варюша! — крикнул Кольцов.

Варенька поджала ноги, но вода залила их. Сердце замерло от ледяного холода. Усилием воли она подавила крик и только тихонько ахнула. Пальцы, вцепившиеся в конскую гриву, онемели, она их не чувствовала.

— Не робей, Варвара Григорьевна! — крикнул Зензинов. — Скоро выплывем!

В самом деле, вода опустилась лошадям по грудь, потом по брюхо, и вскоре лошади, переходя в рысь и обдавая всадников ледяными брызгами, весело зашлепали по мелководью.

— Ну, однова пронес господь! — снял шапку и перекрестился Зензинов. — Теперича еще разок возле Архиерейской рощи занырнем, и почитай дома!

Кольцов, не отпуская повода, снова поехал рядом с Варенькой.

— Застыла? — тревожно спросил он. — Напугалась, поди?

Варенька молчала. Полы ее полушубка были черны от воды, с них текло. Кольцов слышал, как часто-часто стучат ее зубы.

— Ах, чорт! — ударил себя кулаком по голове Кольцов. — Да как же я, дурак, позволил, как допустил?!

— Это не ты, — с трудом сказала Варенька. — Я... сама... этого хотела!

3

В Воронеж приехали, когда над городом занимался тусклый рассвет. Лавки еще не отпирали, улицы были пустынны, лишь кое-где плелись к обедне говельщики.

Богомольцы, большей частью чиновники, купцы и мещане, останавливались и, ничего не понимая, с удивлением разглядывали необычайных всадников, особенно одного — мокрого, в горностаевом капоре с лиловыми лентами.

— Никак Лебедиха? — спросила старая мещанка у другой. — Господи, Иисусе Христе! Да откуда ж это она? И мужики, гляди-кось, с ней.

— Чьи же мужики-то? — в свою очередь, спрашивала вторая мещанка у старухи.

На Чернавском съезде, почти возле теткиного дома, путешественникам встретился Дацков. Он говел и шел к ранней обедне, рассчитывая отстоять ее до классов. Улочка была узкая, лошади прошли, едва не задев Дацкова.

— Батюшки! Алексей Васильич! — всею своей щуплой фигуркой изображая восторг, воскликнул Дацков. — Ба, ба! И Варвара Григорьевна, как новая амазонка! Так сказать, утренний променаж верхом в Булонском лесу! Мое почтение! Мое наиглубочайшее почтение-с!

Он снял фуражку и, шаркая по грязи глубокими кожаными калошами, раскланялся.

Кольцов вспыхнул и промолчал. Варенька обернулась к Дацкову и показала ему язык. Иван Семеныч сначала оторопел и так, с выпученными

глазами, некоторое время стоял в грязи на мостовой, потом, плюнув и пробормотав «прекрасно-с!», проследовал дальше. На его тонких синеватых губах змеилась скверная улыбочка. Возле церкви он встретил знакомого и, остановившись, рассказал ему о том, как он только что видел Кольцова с Лебедихой.



— Оба, знаете, мокрехоньки! Водища, знаете, с них так и течет! И представьте, — Дацков запрокинул голову и тоненько засмеялся, — представьте: верхами-с!

— Верхами?! — всплеснул руками дацковский знакомец.

— Верхами-с! — содрогнулся от смеха Дацков. — И она, Лебедиха-то, представьте, в капоре и... в штанах-с!

— Тьфу ты! И куда полиция только смотрит, губернатор, наконец! Ведь у нас же дети, вы, любезнейший, сами понимаете...

— Не говорите-с! — сокрушенно вздохнул Дацков и, крестясь, начал подниматься на паперть.

Но обедню он не мог выстоять. Ему хотелось сейчас же побежать по городу, рассказать всем про этого задравшего нос писаку, как он с Лебедихой, с камелией этой...

— Господи, владыка живота моего, — перекрестился Дацков, — дух праздности, уныния...

Однако молитва не помогала. Наконец, когда терпеть уже стало невмоготу, Дацков завздыхал, закрестился мелкими, частыми крестиками и, расталкивая богомольцев и рассыпаясь в извинениях, стал пробираться к выходу.

Подобрав полы шинели, он рысью побежал по городу. В гимназии его встретил Добровольский.

— Ба! Иван Семеныч! Вас-то мне и нужно! Мы, милейший, хотим нынче небольшой вечеришко соорудить. Знаю, знаю — говеете! — замахал Добровольский руками, видя, что Дацков хочет что-то сказать. — Так ведь все учтено: стол наипостнейший, водочка также, ну, а партию в вистишко...

— Да подите вы со своим вистишкой! — нетерпеливо воскликнул Дацков. — Я, милый мой, видел сейчас на улице Кольцова нашего прославленного... Но с кем? Угадайте! С Ле-бе-ди-хой-с! И она была в полушубке и в штанах! И верхом-с! И оба мокрые, хоть воду отжимай!

В учительской, где перед классами собрались все педагоги, Дацков подробно описал свою утреннюю встречу с Кольцовым, но так ловко, что слушателям представилось, будто Варенька — в штанах! — сидела на коленях у Кольцова, и этак они ехали по городу.

— И были пьянехоньки-с! — вспомнив, как Варенька показала ему язык, заключил Дацков рассказ.



Серая змея-сплетня, извиваясь кольцами, скользнула из учительской в коридор, из коридора в открытые двери подъезда и, оставляя глубокий след в жидкой весенней грязи, поползла по воронежским улицам...

4

В книжной лавке Дмитрия Антоныча Кашкина было многолюдно. Двое приказчиков и мальчик сбились с ног, бегая вдоль полок и лазая по стремянкам под самый потолок, чтобы найти и достать нужную покупателю книгу.

Покупатели в большинстве были степняки-помещики, съехавшиеся в Воронеж на выборы губернского предводителя дворянства. У каждого в кармане лежали бумажки, где дочками, супругами, свояченицами были записаны книги, журналы, ноты, какие нужно было, пользуясь удобной оказией, купить в воронежских книжных лавках.

Кашкинские приказчики расторопно отбирали требуемый товар. Они нахально навязывали уездным дворянам залежавшиеся книги, выдавая их за новинки сезона и стараясь за эти две недели дворянских выборов сбыть с рук всю лежащую годами и покрытую пылью книжную рухлядь. Дворяне мычали, крутили головами, но вынимали бумажники и расплачивались ассигнациями за сочинения какого-нибудь Аполлинария Беркутова, графа Хвостова или «Анекдоты Полиньяка Финдюро, придворного шута короля Сигизмунда».

Коммерческие дела Дмитрия Антоныча Кашкина шли хорошо. Несколько встревоженный сухачовским визитом и арестом Кареева, Дмитрий Антоныч снова обрел покой и снова разглагольствовал с избранными посетителями лавки о том, о сем — об искусствах, науках, философии, однако рылеевскую тетрадь больше никому не показывал и о цепях рабства помалкивал. Он потолстел еще больше, стихов не марал и даже не вспоминал об этом занятии, а ежели и вспоминал, то не иначе, как с иронической улыбкой. У него уже были взрослые дети, для которых он в разных концах города прикупил еще два дома. Впрочем, дети пока жили при нем, а дома были не без выгоды сдаваемы под квартиры учителям воронежской гимназии и уездного училища.

Несмотря на множество покупателей, он не выходил в лавку, а преважно сидел в задней комнате, «кабинете», где с давних пор любил он при-

нимать избранных посетителей, запросто, по-дружески беседовать с ними.

В длинном сером сюртуке с легкомысленной клетчатой подкладкой, благообразный, чисто выбритый, с любезной, однако не заискивающей улыбкой, он слушал плешивого, неряшливо одетого господина. Этот господин был редактор «Губернских ведомостей» Грабовский.

— Помилуйте, Николай Лукьяныч, — пожимал плечами Кашкин, — посудите, что ж я-то могу поделать с вашей книгой? Велю приказчикам рекомендовать, сам отлично аттестую ее — и что же? Не берут-с!

— Нет-с, как, позвольте, не берут? В каком смысле? — Грабовский втянул шею в воротник фрака и помигал глазами. — Книга имеет своей целью трактовать вопросы религиозного порядка, — так как же смеют не брать?

Кашкин вздохнул, сложил руки и повертел большими пальцами.

— Ведь вы же, Дмитрий Антоныч, знаете, — горячился Грабовский, — что и его преосвященство, владыка Антоний, коему я посвятил труд, и его превосходительство Христофор Христофорыч — все одобрили и даже по исправникам, благочинным и городничим разосланы билетцы — играть ее в лотерею, а вы...

— Да что ж я! — с досадой сказал Кашкин. — Как будто, Николай Лукьяныч, я вот взял и приказал покупателю: бери! Вон вы говорите и архиерей и губернатор разослали билетцы...

— Ну да, ну да! — Грабовский снова втянул шею в воротник и помигал. — Так то ведь, так сказать, официально-с! А у вас — лавка, очаг просвещения. Вот мне и странно-с...

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Кашкин, радуясь тому, что отвяжется от Грабовского. — Ах, Иван Семеныч! — воскликнул он, увидя входящего Дацкова. — Прошу, прошу, очень одолжили-с!

Грабовский сердито покосился на Дацкова, раскланялся с ним и, отойдя в угол, стал внимательно рассматривать висящие на стене в узеньких черных рамочках французские гравюры.

— Ну и съезд у вас, почтеннейший Дмитрий Антоныч! — пожимая руку Кашкина, восхищенно сказал Дацков. — Куда там Смирдину или Полякову!..

— Вы скажете! — самодовольно усмехнулся Кашкин. — До Смирдина-то, как до солнышка! А так — выборы, вот и народец. Что новенького, Иван Семеныч? Я, знаете, сижу, никуда ни ногой, ото всего мира отрезан!

— Дмитрий Антоныч! — сказал, входя, приказчик. — Там Кольцова стихи спрашивают. На полках нету. Дозвольте взять из ваших?

— Возьми, голубчик.

Приказчик взял с подоконника связку тоненьких зеленых книжечек и вышел.

— В ходу землячок-то наш, — криво улыбнулся Кашкин.

— Берут? — спросил Дацков.

— Спрашивают, но больше, знаете, зипуны, лапотники... Кто потемней-с!

— Да, — мрачно сказал Грабовский, отрываясь от гравюр. — А вон небось мою «Историческую картину религии» не спрашивают...

— Ах, Николай Лукьяныч, ведь я же докладываю: темнота берет песенки-то! Да и цена, что ж! Ведь «Историческая картина»-то, она десять целковых тянет, а тут копейки-с!

Грабовский помигал глазами и снова уткнулся в гравюры.

— Вот, кстати, о Кольцове, — засмеялся Дацков. — Ну, Дмитрий Антоныч, отколол ваш воспитанник штучку!..

— Позвольте, почему же воспитанник? — насторожился Кашкин. — У меня, Иван Семеныч, этаких воспитанников — вон целая лавка битком набита. А что такое-с? — наклонился он к Дацкову.

— Да вот, представьте, иду я к ранней обедне, вдруг — трах! бах! — полет валькирий, Вальпургиева ночь... — И Дацков в десятый раз рассказал о встрече с Кольцовым и Варенькой.

— Скромник-то наш! — выслушав рассказ Дацкова, всплеснул руками Кашкин. — Кто бы подумал! И откуда он набрался, каким ветром надуло?

— Да каким же? Все питерским! — воскликнул Дацков. — Все это вольтерьянство ихнее да прочие штучки господина Белинского... Вот-с и плоды: разврат, дерзость, попрание религии, непочитание родителей и начальства-с!

Кашкин вздохнул.

— Что ж! — сказал он, помолчав. — Добрые семена сеяли, да, видно, почва оказалась неблагодарной. Плевелы заглушили прекрасные всходы... Лебедиха! Подумать только!.. — Кашкин закрыл глаза и горестно покачал головой.

5

На другой день после возвращения с кордона Кольцов пошел к Вареньке. На ветхой, пристроенной со двора к дому галерейке тетка Лиза развешивала только что выстиранное белье.

— Здравствуйте! — поклонился Кольцов.

— Здравствуй, голубчик! — сердито сказала тетка Лиза. — Не кататься ли опять затеял? Уморил бабу-то! — задев по лицу Кольцова мокрой простыней, прошипела старуха.

В Варенькиной комнате — в зальчике — было темно от завешанных шалями окошек и стоял тот спертый, наполненный запахами скипидара, нагоревшей свечи и еще чего-то кислого воздух, который сразу же прочно устанавливается в комнате, где лежит больной.

— Кто это? — чуть слышно, откуда-то из глубины комнаты спросила Варенька. — Это ты, тетка? Что ж темно так?

— Это я... Варюша, — дрогнувшим голосом сказал Кольцов. — Милая ты моя!..

Он подошел к дивану, где лежала Варенька, и опустился на колени. В огромном ворохе каких-то кружев, подушек и одеял Кольцов не сразу раз-

глядел ее. С горящим лицом и пересохшими губами лежала Варенька, трогательная и беспомощная.

Кольцов прижался головой к скользкому атласному одеялу.

— Никогда, — прошептал он, — никогда я не прощу себе!.. Варенька!.. Любовь моя!..

Варенька слабо улыбнулась, молча выпростала из-под одеяла прекрасную белую руку и, найдя его голову, поерошила волосы.

— Ох, сердце-то, — наконец сказала Варя. — Сердце-то у тебя как стучит! — И она беззвучно засмеялась. — Простыла я... Знаешь, как холодно было, когда вода выше колен залила... Да что ж ты молчишь, Алеша? — вскрикнула Варенька каким-то очень тоненьким, жалобным голосом. — Алеша! Да ты... плачешь?

Кольцов целовал холодное одеяло, Варенькину руку и, стыдясь своих слез, молчал, не смея поднять глаз.

— Смешной ты, Алеша! Я таких еще... не видывала! Вот... скоро поднимусь... это пустяк — болезнь, я простыла... поднимусь... И такое счастье у нас будет... Ах, родной мой!

Кольцов вскочил на ноги.

— Варюша! Да неужто любишь? Я ведь по сию пору все думал: не сон ли? Не шутка ль твоя? От скуки, мол, от отчаяния... Эх, Варя!.. — Он подбежал к окну и сорвал с него толстую шаль. Яркое небо, весеннее солнце, сверкающая капель, отчаянная возня воробьев у окошка — все это ворвалось в полутемную комнату и сразу заблистало, запело, зазвенело, как веселый, неудержимый, прорвавший плотину весенний поток.

— Бешеный! — засмеялась Варенька. — Ну, иди сюда... Глу-у-у-пенький ты мой!.. — нежно протянула она.

6

Сплетня ползла по городу. Она неприметно проскальзывала всюду: в лавки торговых рядов, в трактиры, в мещанские и купеческие дома, в чиновничьи квартиры, в присутствия, в церковь и, правда, не вдруг, а все-таки вползла и в кольцовский двор.

Кольцов стал замечать, что знакомые, встречаясь на улице, нехорошо улыбаются, а иные и вовсе перестали кланяться. Работники во дворе при виде его перемигиваются между собой и гогочут вслед. Маменька вытирает слезы и качает головой. Отец не замечает вовсе, что, впрочем, бывало и прежде при всякой ссоре. Кашкин, столкнувшись с Кольцовым в Смоленском соборе, сделал вид, что не узнал его, и, крестясь, отвернулся.

Кольцов не сразу понял причину такого отношения. Наконец, когда однажды Анисья, не выдержав, фыркнула и, расхохотавшись, сказала: «Как это ты, Алеша, с Варькой... верхами-то?» Кольцов вспыхнул и понял, что началась безжалостная битва между ним — одним, без друзей и союзников — и целой ордой галдящих, гогочущих и свистящих воронежских обывателей. Он понял, что теперь будут бить насмерть, не пощадят и не смилуются.

— Тебе-то, Аниска, стыдно сорочьи сплетни болтать! — резко сказал он сестре.

— Да что ж это я, что ли? — обиделась Анисья. — Весь город об этом судачит, а я виновата! Умник какой нашелся!

«Теперь, брат, держись!.. — подумал Кольцов. — Миром навалятся... Ну, да чума с ними! — тряхнул он головой. — Мы тоже не из мякины сделаны, а удаль-сила и у нас имеется!»

Было только обидно, что Анисья, та самая чудесная сестренка, которую он так любил и которая была так хороша к нему, так умна и добра, вдруг в какие-то полгода переменилась до неузнаваемости и стала злой и глупой и, главное, такой же черствой, как и ее старшие сестры.

«Ну, я понимаю, — рассуждал Кольцов, — что вся эта мразь воронежская: учителя, чиновники, мещане этак окрысились. Что ж, и я им не раз на хвост соли сыпал, язык за зубами не держал: кто вор, взяточник, глупец, невежда, — я так и говорил: вор, мздоимец, дурак! Тут статья ясная. Любить им меня не за что. Но Аниска! Боже ты мой, Аниска!.. Ну, замуж идет, так ведь это ж не причина. Положим, я как-то сказал, предостерег... Опять-таки, что ж я, брат ей или нет? Могу свое мнение высказать, что ж такого...»

В доме было тяжело, не с кем слова вымолвить. Отец молчал, мать вздыхала, Анисья дулась. Одна нянька Мироновна была, как всегда: все что-то вязала на ходу или убирала комнаты, или дремала, сидя на сундуке возле жаркой печки.

Один раз, так задремавши, она уронила вязанье, спицы брякнулись об пол, и клубок далеко закатился под стеклянную горку с посудой. Кольцов, проходивший мимо, поднял вязанье, разыскал клубок и подал ей.

— Спасибо, деточка, — сказала Мироновна. — Дай тебе бог здоровья! А я старая стала, все из рук валится.

— Все мы, нянька, старые делаемся! — полушутливо сказал Кольцов. — Не у тебя одной из рук валится!

Он хотел было итти, да вдруг Мироновна поманила его пальцем.

— Леша, — сказала нянька, — посиди-ка со мной, детка.

Кольцов сел.

— А что тебе сказать-то хочу, — таинственно зашептала Мироновна. — Ты чего это и впрямь как старик стал? — Она пытливо поглядела на Кольцова. — Пра, старик! Вон, глянь, и волос седой прошибает, да и с лица какой-то черный стал, корявый, право, корявый!

Кольцов засмеялся.

— Ты рот-то не разевай! — притворно сердито прикрикнула Мироновна. — Тебе дело говорят, а ты: хи-хи!

— Да нет, я ничего, — начал оправдываться Кольцов. — Смешная ты, все выдумываешь!..

— Я-то, сударь ты мой, ничего не выдумываю, — серьезно сказала Мироновна. — Это, детка, все люди выдумывают. Ведь вот сейчас с Варькой-то чего не наплели! — зашептала она.

Кольцов обнял старушку и с досадой сказал:

— Брось, не надо, — ну их!

— И то верно, не буду... Да я не про то тебе и хотела-то, это уж так, с языка сорвалось. Ты про Анисью, Леша, ничего не знаешь?

— А что ж знать-то? — пожал плечами Кольцов. — Ну, замуж идет за Семенова, чего ж еще?

— Ах, да и прост же ты, сударь! — покачала головой Мироновна. — Как с мальчишества простоват был, так и до се остался. «Замуж, замуж»! — передразнила она. — А того и не знаешь, какие твоя сестрица с женишком-то своим сплётки плетут.

— А мне-то что? Пускай плетут!

— То-то, детка, и есть, что не пускай! Ведь он, Семенов-то, змея длинновязая, ведь он Аниску-то научает, чтоб она тебя с отцом растравила.

— Да зачем же? — удивился Кольцов.

— Затем, чтоб Василий Петрович тебя из наследства выделил, — оглянувшись, сказала Мироновна. — Домик-то через Аниску Семенов и приберет к рукам... Теперича понял ай нет?

— Ну, нянька, ты, поди, путаешь! — изумленно сказал Кольцов.

— «Путаешь»! — усмехнулась Мироновна. — Ведь вот, когда ты в Питере-то пострял, она, Аниска, чего-чего на тебя отцу ни клепала. Будто ты ей сказывал, что обобрать его хочешь, а не то и совсем порешить, право! Отец-то, детка, на тебя страсть как осерчал, да ведь на кого ни доведись — осерчаешь. А все она, Аниска твоя любезная!

Кольцов молча встал и вышел из комнаты. Все, бывшее таким непонятным и потому еще не очень страшным и гадким, стало вдруг так понятно, страшно и гадко, что он вздрогнул, кровь прилила к голове и застучала в висках.

7

Варенька пролежала в постели дней пять, и каждый день Кольцов приходил к ней, приносил книги и, чтоб ей было не скучно лежать, читал что-нибудь вслух.

На третий день болезни Варенька уже сидела. Кольцов, робея, присаживался возле на краешек стула или, еще чаще, на маленькую скамеечку для ног и так, скорчившись в неудобной позе, читал ей или рассказывал о Москве, о Питере, о Белинском и его друзьях, о своих скитаниях по степи. Иногда он замолкал и робко смотрел на Вареньку: не наскучил ли?

— Ох, и чудной ты, Алеша! — смеялась Варенька. — В тебе робость с дерзостью, как родные братцы, живут. А что на улице, хорошо, да? Весна! Что она не наделает с человеком! Помнишь, как мы с тобой в Боровом-то?

Кольцов рассказал ей о воронежской сплетне.

— Бог с ними! — вздохнула Варенька. — Вот тебя замарали, это плохо! А мне уж не привыкать... Как овдовела, так и пошло!

Приходила тетка Лиза, ворчала, как обычно, сердито передвигала стулья, ругала Кольцова с Варенькой «полуношниками».

Кольцов засиживался допоздна. Свечу не зажигали. Всходила луна, стена в зальчике становилась пестрой от хитрой узорной тени ветвей одинокого клена, что рос во дворе под окошком Варенькиной комнаты. На полу

белели ровные лунные квадраты. Тетка Лиза рано ложилась спать, и было слышно, как тихонечко похрапывала она в соседней комнате.

— А правда, Алеша, — сказала раз Варенька, когда они этак сидели в голубых сумерках лунного вечера, — правда, говорят, что на всю жизнь у человека одна только любовь бывает?

Кольцов внимательно поглядел на Варю. «Зачем это она спросила?» — мелькнуло у него в голове.

— Нет, неправда, — твердо сказал он. — Выдумка... Ведь хорошо, как любовь смолоду придет к тебе да и останется на всю жизнь, а ну как неудача... смерть...

Он запнулся, испугавшись воспоминания о своей давней несчастной любви, любви, о которой он никогда и никому не говорил, кроме Белинского, да и то, что ж он тогда сказал: любил, да продали.

Варенька тихонько перебирала струны гитары и, казалось, тоже, не слыша Кольцова, что-то вспоминала.

— Ах, — вскрикнула она, отбросив на диван гитару. — Если б смолоду увидеть ее, любовь-то! Уж к кому, к кому, а ко мне-то она и не заглядывала! Что ж за любовь, коли девчонкой отдали старику проклятому!.. — Она хрустнула пальцами. — Кто бы знал, как я его ненавидела!.. Ведь он, подлец, меня бил. Да как бил-то, Алешенька! Стыдно вспомнить, сгоришь со стыда! А не то холодный, как жаба, лежит рядом в постели, храпит, проклятый, а пальцами все этак по одеялу — щелк! щелк! — точно на счетах костяшки кидает...

Варенька сидела, вся облитая лунным светом. Широко открытые глаза ее, не мигая, глядели в окно. Одинокая слезинка мерцала на щеке.

— Сколько раз этак, — продолжала Варенька, — гляжу на него и думаю: «Ох, царица небесная! Не дай греху случиться!» Один раз тихонько встала, пошла в сенцы, топор отыскала, подхожу к постели. А луна была, не хуже, чем сейчас. Захожу с топором: «Ну, — думаю, — вот сейчас!» Не успела я топор занести, гляжу — открыл глаза, на меня глядит... «Ты, — говорит, — что, что?» Все во мне упало... Сама испугалась, топор за спину прячу, холодно стало: зуб на зуб не попадает. «Ничего, — говорю, — ничего, лежи, спи, — это я напиться встала...»

Кольцов слушал, боясь проронить слово. Во все глаза глядел он на Вареньку: такой он ее еще не видывал, и хотя она просто рассказывала о горькой своей жизни со стариком Лебедевым, — Кольцову казалось, что она поет песню.

— Так я и не знаю до сих пор, — помолчав, сказала Варенька, — догадался он тогда или нет...

Она не договорила. Кольцов молчал, опустив голову. На небе посветлело, загорелась утренняя заря. На дворах заголосили горластые петухи, где-то в церкви пробило три раза.

— Ну, иди... пора, — сказала Варенька. — Видишь, какая я, — теребя кружевной платочек, прошептала она. — Теперь ты меня и любить не будешь...

Кольцов подошел к Вареньке, приподнял ее с дивана и, взяв, как ребенка, на руки, поднес к окну.

— Вот теперь-то, Варюша, — медленно сказал он, вглядываясь в прекрасное Варенькино лицо, — как ты мне все это сейчас рассказала... теперь-то я так тебя люблю, что смерть разве только отнимет тебя. Да еще и со смертью-то самой поспорим, коли на то пошло!

8

Так прошла ранняя весна с ее то хмурым, то ясным небом, с веселыми, шумными дождями, с первой, как всегда, неожиданной грозой и звонким пением пригревшихся на солнце петухов. Прошла пасха, от которой остались раскиданные по зеленой траве скорлупки крашеных яиц да долгий гул в ушах от каждодневного залихватского колокольного трезвона.

Наступил май, зацвела сирень, и множество соловьев защелкало и засвистало в огромных запущенных воронежских садах. Одни за другими расцветали цветы, крепла трава, берега реки стали зарастать лопухами, в чистом, чуть влажном воздухе установился тот непередаваемо тонкий и легкий запах молодых листьев, трав и опадающего яблоневого цвета, который бывает только в эту чудесную пору зрелой весны.

После бурных разливов, непостоянных резких ветров, капризных чередований тепла и холода природа оказалась, наконец, в состоянии покоя. Покой был во всем: в вечерних и утренних, встречающихся друг с другом, зорях, в зеркальной глади речных плесов, в яркой, глянцевитой, свежей листве, в полевых всходах, в протяжных песнях где-то за рекой, замирающих в тихих сумерках погожих вечеров. Тишина была во всем, и только один Кольцов попрежнему не знал покоя. В его душе бушевал все тот же весенний разлив, горе сменялось восторгом, отчаянье — верой в счастье и надеждой на свою действительно очень большую силу.

Он был, как челн на огромных бурных волнах, то взлетающий высоко на белый пенящийся гребень, то падающий в черную бездну водоворота, и вершина волны была Варенька, а бездна — домашние и город.

В семье чувствовалась все та же напряженность. Отец не поручал ему дел, а Кольцов не навязывался и не просил его. Он жил в мезонине нового дома, в трех веселых маленьких комнатках, правда, без мебели, но полных солнечного света.

Зеленая верхушка ясеня заглядывала в одно окно. В другом по целым дням на тонкой хворостинке, прилаженной к скворечне, неутомимо распевая, попрыгивал скворец.

К Кольцову никто из домашних не заходил: с отцом и Анисьей он не разговаривал, мать боялась мужнина гнева, а старой няньке было трудно подниматься по узкой крутой лестнице.

Обедали все вместе, и только за обеденным столом встречалось кольцовское семейство. Однако напряженность, жившая в доме, не ослабевала, и если во время обеда не случалось взрывов, то только потому, что все старались как можно скорее закончить еду и разойтись.

В эти дни Кольцов начал писать «Долю бедняка»:

У чужих людей
Горек белый хлеб,
Брага хмельная —
Не разымчива!
Речи вольные—
Все, как связаны;
Чувства жаркие
Мрут без отзыва...

Кольцов не закончил эти стихи и так несколько дней не брался за них, потому что сначала не получалось, не находил нужных слов, а потом он снова почувствовал себя на гребне волны и все заполнилось одной Варенькой

9

Однажды Кольцов весь день пробыл с ней на реке. Он взял рыбачью лодку, и они далеко заплыли вверх по Воронежу — к песчаным обрывам Лысой горы.

В воде сверкало радостное солнце, кругом по крутым буграм, полный птичьего разноголосого пенья и свиста, зеленел лес. Кольцов подогнал лодку к песчаному обрывистому берегу, и они с Варенькой, смеясь и шаля, точно дети, стали карабкаться на вершину горы. Песок сыпался из-под ног, они падали, хватались за ветки редких кустов, за прошлогодние стебли сухой полыни и, наконец, исцарапанные, выпачкавшиеся в песке и глине, задыхающиеся от жары и усталости, но счастливые и полные молодой, весенней радости, взобрались на самый верх песчаного обрыва. Далеко внизу под ними извивалась узкая полоска реки. Лодка отсюда показалась им маленькой, почти игрушечной. Но за этой узкой рекой, за кустами на том берегу расстилались такие необозримые просторы лугов, что дух захватывало и хотелось кричать, петь и быть такими же, как птицы, травы, деревья или вот то свободное и легкое облачко.

Кольцов пришел в радостное состояние, которое особенно любил: весь мир вдруг становился им самим, его тело было неотделимо от песчинки, от неба, от звонкого ветра, от ласковой, немудрящей песни лазоревки. Кроткое, светлое умиление соединялось тогда в нем с отчаянной удалью и неудержимой дерзостью. Все было нипочем, все житейские вопросы решались быстро и верно. Это было вдохновение...

— Давай посидим! — сказала Варя.

Они сели на самый край обрыва. Варенька положила голову на плечо Кольцова и закрыла глаза. Ветер вдруг налетел с особенной весенней силой. Он растрепал волосы Кольцова, заиграл Варенькиной косынкой и зашумел в верхушках деревьев.

— Варюша, давно я хотел поговорить с тобой, да все робел...

— Что, Алешенька? — не открывая глаз, спросила Варенька.

— Не раз и не два, Варюша, получал я письма из Питера, да вот и вчерась еще получил...



Кольцов достал из кармана исписанный мелким почерком и сложенный вчетверо лист.

— От кого это? — поглядела Варенька.

— От Белинского... Что это за человек, Варюша! — Кольцов прижал письмо к груди. — Ведь я ему все про тебя написал, и он уж и знает и любит тебя... Так вот я о чем: они и раньше звали меня к себе, мои питерские друзья, а сейчас даже настаивают. Книжную лавку помогут открыть или

журнальную контору — там будет видно... Но что я хотел тебя спросить, Варюша, — Кольцов нежно погладил ее руку, — поехала бы ты со мной в Питер?

— Милый ты мой! Да не то что в Питер — на край света поехала бы!

10

Поздно вечером, когда уже стемнело, Кольцов вернулся домой и, не зажигая свечи, сел у открытого окна.

Он весь был пропитан солнечным теплом, свежим запахом реки и травы, и ощущение светлого, необыкновенного счастья наполняло его грудь.

Наконец он зажег свечу и раскрыл тетрадь. Незаконченные стихи напомнили ему о минутах отчаяния и о той трудной и страшной жизни, которая была вокруг него.

У чужих людей
Горек белый хлеб...

Он вздохнул.

— Алеша, — позвала снизу мать, — тут тебе давеча пакет принесли.

Кольцов спустился вниз, взял пакет.

— Кто принес? — повертев в руках пакет, спросил он. — Это не почта.

— Да уж и не знаю, — сказала мать. — Какой-то, сказывают, посыльный.

Кольцов разорвал конверт. В него был вложен лист дорогой бумаги, исписанный с двух сторон стихами. В кудрявых писарских завитках чернел тщательно выведенный заголовок:

«Чиж-подражатель».

Это была та скверная, дрянными стихами написанная басня, которую сочинил Волков. Кольцов прочитал ее и усмехнулся. «Эк их, наскакивают! — вздохнул он. — И Волков этот туда же!»

Он задумался. Конечно, отцовский хлеб казался горьким, но грязные сплетни, мещанские пересуды и насмешки были куда горше. Снова отчаяние охватило его, радостный день померк, жить стало тошно.

Этой ночью в «Песне бедняка» он написал такие строки:

Из души ль, порой,
Радость вырвется, —
Злой насмешкою
Вмиг отравится...
И бел-ясен день
Затуманится;
Грустью черною
Мир оденется.
И сидишь глядишь,
Улыбаючись;
А в душе клянешь
Долю горькую...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И мне ее, погибшую, все жаль...
А. Кольцов

1

В конце лета в Воронеже появилось новое лицо. Это был богатый помещик со странной фамилией Бойдык. Он приехал из Харькова, чтобы вступить во владение несколькими воронежскими поместьями, перешедшими к нему по наследству от двоюродного дядюшки. Поместья эти были очень велики и находились в двух или трех, далеко расположенных друг от друга, уездах. Формальности ввода во владение требовали частого пребывания Бойдыка в воронежских присутствиях, поэтому он прочно обосновался в гостинице Шванвича, ненадолго уезжая в свои деревни и снова возвращаясь в Воронеж.

Бойдык сразу же, с первых дней появления в городе, привлек всеобщее внимание своей одеждой (он носил широчайшие синие шаровары с широким красным кушаком), своими великолепными, серыми в яблоках, лошадьми, а главное — своими безобразными, шумными кутежами.

Два цыганских хора, приехавшие в Воронеж к открытию воздвиженской ярмарки, сопровождали Бойдыка не только в его шумных загулах в городских и загородных трактирах, но и в поездках по тем деревням, которыми, к несчастью крестьян, Бойдык теперь владел.

О его развращенности и жестокости ходили самые невероятные рассказы, и, судя по тому, как он жил в Воронеже, рассказы эти были похожи на правду.

Вскоре после появления в Воронеже он сошелся с Башкирцевым, хотя знакомство их началось с дикой драки бойдыковских цыган и башкирцевских песельников.

Драка эта произошла на реке возле старого петровского цейхауза и, начавшись с пустяков, окончилась настоящим морским боем, в котором были раненые и даже один потонувший цыган-гитарист.

Несмотря на это, после окончания баталии, когда побитые и растерзанные цыгане и песельники выбрались на берег и были выловлены плавающие в реке гитары, бубны, шапки и балалайки, оба «адмирала», командовавшие «сражением», встретились, расцеловались и, объединив свои силы, поскакали на дачу к Башкирцеву.

2

Кольцов вторую неделю лежал дома. К концу лета у него снова стала побаливать грудь и появился сухой, трудный кашель.

Сначала он не обращал внимания на болезнь и старался не думать о ней. Все его жизненные интересы сосредоточивались на Вареньке, на его любви к ней и на отъезде в Питер. Он решил принять предложение Краевского заведовать журнальной конторой «Отечественных записок». Варенька согласилась уехать с ним в Питер, и дело сводилось к тому, чтобы достать нужные для этого деньги. Он поговорил с Башкирцевым, и тот охотно согласился дать те несколько тысяч рублей, которые были необходимы Кольцову для переезда в Петербург и обзаведения там, на первых порах, самым необходимым.

Кольцова радовала и пугала эта поездка: он и верил в успех своего дела и сомневался в нем. Он писал восторженные письма Белинскому, рассказывая в них о своем счастье, о Вареньке, которая согласна ехать с ним хоть на край света.

«Вот бы хорошо, — писал Кольцов, — двое нас и хорошая женщина третья — зажили б на славу! А я знаю наперед, что она бы вам понравилась...»

И вместе с этой восторженностью в душе Кольцова жило сомнение: выдержит ли он столичную жизнь с ее туманами, слякотью, чиновничьим равнодушием да и со своими новыми, тоже чиновничьими, обязанностями.

И сейчас, когда он снова почувствовал нездоровье и лежал с ноющей болью в груди в тишине своего мезонина, не навещаемый никем, сомнение особенно часто угнетало его. Десятый день пошел, как он не видел Вареньку, не слышал ее голоса, не держал в своих руках ее прохладные маленькие руки...

По ночам тишина была как в могиле и только редкий стук сторожевой колотушки да хриплый лай собак напоминали о жизни. Черные, как ночь, мысли обступали его, и в такие минуты Кольцову казалось, что начинающаяся болезнь уже не отступится, что Петербург для него будет смертелен, а Варенька никогда не любила, да и не любит его.

Наступал день, и становилось немного легче. Кольцов придвигал к окну старое дубовое, домашней работы, кресло, садился в него и глядел на сонную Дворянскую улицу.

На улице было пусто. Иногда с оглушительным грохотом по крупным булыжникам скверной мостовой прокатывалась помещичья бричка, скрывалась за серой пылью, но долго еще слышалось громыханье ведра, привязанного к задку неуклюжей колымаги.

На Дворянской части били часы. Сонный инвалид стоял с алебардой возле полосатой будки. Не спеша проходили мещане, торговка шла с корзиной, кричала: «Луку! Луку! Вот кому зеленого лучку!»

Из ворот соседнего дома с визгом выбегала свинья, за нею гналась баба с подоткнутым подолом и все хотела завернуть свинью во двор, а та не

шла и, как шальная, металась по улице. Тогда на балкон выходил в засаленном халате аптекарь Гоббе и кричал:

— Глюпий баба! Она нитшего не умейт!

Все было скучно, все повторялось до мелочей. Ночью назойливые мысли одолевали и не спалось, а днем серая скука нагоняла сон, и Кольцов, пригретый ласковым сентябрьским солнышком, сидя в кресле, засыпал.

Однажды, когда он этак дремал, раздался стук копыт, звон бубенцов, во дворе залаяли собаки, послышались чьи-то голоса, а потом шаги. По лестнице поднимались люди.

— Да он все сонный какой-то, — говорила мать. — Закоржавел вовсе...

— А вот мы его расшевелим, — сказал кто-то басом. — Мы ему спать не дадим, эка соня!

Кольцов узнал голос Башкирцева.

— Ну-ка, брат, вставай, — громко заговорил Башкирцев, входя в комнату. — Вставай, вставай! Тут, брат, дама!

Шурша шелковым кринолином и распространяя запах знакомых духов, вслед за Башкирцевым вошла Варенька.

— Что ж это ты, — она положила руки на плечи Кольцова, — болеть вздумал? А мы к Ивану Сергеичу собираемся на Дон, народу сколько, весело как будет!..

— Тут такие дела заворачиваются, — рассмеялся Башкирцев, — что и не приведи бог! Слыхал небось про баталию нашу водяную? Нет? Ах ты, святой отшельник, Алексей — божий человек!

От Башкирцева пахло вином, видно было, что гульба шла не первый день. Перебивая друг друга, они с Варенькой стали рассказывать Кольцову о драке на реке, о бойдыковских кутежах, и оба хвалили Бойдыка и восхищались его молодечеством.

Кольцов принужденно улыбался, слушая и не слыша их веселый, беспорядочный рассказ. Он все глядел на Вареньку и никак не мог объяснить себе ту перемену, которая в ней произошла. Перемена эта чувствовалась во всем: и в ее какой-то новой манере говорить и смеяться, и в том, как она то и дело обращалась к Башкирцеву, точно призывая его в свидетели, а главное, в той отчужденности и виноватости, которые сквозили в каждом ее слове и движении.

— Так, значит, Алеша, ты нам не компания! — сказал Башкирцев. — А жаль, право, жаль, хорошо гульнули бы, да ты и с Бойдыком, наверное, подружился бы: он, говорят, тоже стихи сочиняет, верно, Варвара Григорьевна?

Варенька почему-то смутилась:

— Вот еще! Почем я знаю?.. Так ты поправляйся, Алеша! — обратилась она к Кольцову.

— Спасибо на добром слове, Варвара Григорьевна, — прямо глядя в глаза Вареньке, сказал Кольцов.

Варенька покраснела и отвела взгляд в сторону. И снова в этом мимолетном взгляде Кольцову почудилась виноватость и отчужденность.

3

Дня через два маменька позвала Кольцова вниз.

— Сестры пришли, — сказала она. — Ты бы, Алеша, сошел к ним, посидел бы. Чай, давно не видался с сестрами-то.

Кольцов оделся и пошел вниз.

За самоваром собралась вся кольцовская семья. Тут были и всегда робкая и молчаливая Прасковья Ивановна, и сестры Анна и Александра — обе преждевременно расползшиеся и обленившиеся, — и, наконец, Анисья, с каким-то новым для нее, настороженным и жестким выражением лица. Не было только Василия Петровича: он утром еще поехал на Дон, в Ново-Животинное, где у него были какие-то дела по земельной аренде.

Кольцов поздоровался с сестрами и молча сел за стол.

— Что ж это, Алеша, — после некоторого молчания, дуя на блюдечко, сказала Анна, — пришла проведать, почитай, с прошлого года не видались, а ты с сестрой и слова не молвишь?

— Значит, им с нами теперь неинтересно! — закатывая глаза, вздохнула Александра. — По столицам натерся, к родным уважение потерял, семейство свое не чувствует...

— Они сейчас небось о небесных картошках мечтают! — фыркнула Анисья.

Кольцов поднял глаза на сестер и горько усмехнулся:

— Для чего вы все это говорите мне? Ну, вот хоть ты, Анюта! Ведь знаешь, что никогда я особенно балагуром не был, а разговор не вдруг приходит... Встретились — ну о чем мы с тобой толковать будем? Как ты живешь, я знаю. Как я живу, тебе в доме у нас, да и в городе, поди, давно все порассказали... А про то, что на душе у меня, — не за чашкой чаю говорится... И нисколько это неинтересно тебе, да и непонятно, пожалуй...

— Да уж где уж!.. — насмешливо вздохнула Анисья. — Где уж нам, необразованным, понимать!..

— Ты, Саша, — не обращая внимания на ее выходку, продолжал Кольцов, повернувшись к Александре, — ты говоришь: уваженье к родным потерял... Да вы-то, — Кольцов обвел глазами сестер, — вы-то сами хоть чуток меня уважаете? Так чего ж зря и болтать про это? А что семейство свое будто я не чувствую, — неправда! Ох, как чувствую!.. Кажнодневно и слишком, и даже не под силу!

— Это как же так понимать, не под силу? — всплеснула руками Александра. — Да что же, мы на шее, что ли, у тебя сидим?

— Ах, да не в том смысле!.. — поморщился Кольцов.

Анисья передернула плечами и поправила заколку на груди.

— Это, Сашенька, в том смысле, — ехидно сказала Анисья, — что Алексею Васильичу нынче наша компания стала не ко двору. Где уж! — вызывающе глядя на брата, воскликнула она. — Где уж нам! Серость! Мужичество! А у него теперь друзья все ученые, образованные! Один книжки сочиняет, другой... — она запнулась, — другой в тюрьме сидит! Третий — в тюрьму просится!

Кольцов вскочил, крикнул: «Да как ты?..» — но схватился за грудь и, тяжело закашлявшись, опять опустился на стул.

— Да, — спокойно сказала Анна, вытирая вспотевший лоб, — Станкевич помер, Кареева в Сибирь угнали... Да и тебе, Алеша, ты хоть не обижайся, вижу — не сдобровать. И кто этих людей держится, тот препустой человек. Главное — был бы хлеб, а для хлеба и подлость не в подлость. Люди побранятся да перестанут, а мы наживемся...

— Да как ты, дрянь, смеешь?! — откашлявшись, крикнул Кольцов Анисье. — Как смеешь так говорить о друзьях моих?

— Это я дрянь? — побледнела Анисья. — «Не смей говорить!» — передразнила она Кольцова. — Да я и говорить-то с тобой не хочу! Иди к своей Варьке, да и шепчитесь, сколько вам влезет, раз уж ты при ней в горекуртизанах состоишь.

— Анисья!.. — простонала Прасковья Ивановна.

— Ну чего — «Анисья»? Не правду, что ли, говорю? Весь город про то судачит, одни вы, маменька, все за Алешеньку своего!..

— Так ведь я не заступлюсь, кто ж заступится-то?! Детище он мое ай нет?

— Вот погодите!.. — прошипела Анисья. — Вы его, маменька, нисколько не знаете, он еще вам нос-то скусит!

— Да уж ты больно знаешь! — замахала руками Прасковья Ивановна. — Сорока, право, сорока!

— Дрянь! — опрокидывая стул, в бешенстве вскочил Кольцов. — Дрянь! Так говорить о женщине, которая чище вас всех...

— Чище! — захохотала Анисья. — Чище! Ох, начудил! Да эта не чистая ли твоя в шванвичевых номерах с приезжим хохлом которую ночь кутит? Не твоей ли чистой-то вчерась ночью ворота дегтем вымазали? Ну, дурак! Такого поискать по Воронежу, да и не найдешь!

С минуту Кольцов стоял, словно окаменев, потом схватился за голову и выбежал из дому.

4

Почти бегом шел Кольцов по улице. Он не замечал, что все прохожие оборачивались ему вслед, что небо затянулось тучами и стал накрапывать спорый осенний дождь, а он был без картуза.

— Ах, негодяи! — бормотал Кольцов, сжимая кулаки. — Дегтем ворота... сволочи! Но кто? Кто?!.

— Э, малый, лишку хватил! — крикнул ему вдогонку кучер, стоявший у ворот гостиницы Шванвича.

Кольцов машинально обернулся на крик. Кучер держал в поводу тройку отличных серых лошадей и смеялся. Двое лакеев выскочили из дверей гостиницы и тоже смеялись, кривляясь и указывая на Кольцова.

«Кто?..» — шептал Кольцов, задыхаясь от быстрой ходьбы.

Еще издали он увидел ворота Варенькиного дома. На старых, сереньких, обмытых дождями досках чернело громадное уродливое пятно. Деготь расплылся и черной растрепанной бахромой потек вниз.



Кольцов внезапно остановился. Перед ним в калитке своего аккуратного, чистенького домика стоял Дацков. Он был в халате и ермолке, приятно улыбался Кольцову и, разводя руками и всем видом своим выражая сожаление, кивал головой в сторону испачканных дегтем ворот.

— Ты! — хрипло крикнул Кольцов, кидаясь к Дацкову и хватая его за отвороты халата. — Ты! Гадина!

Не помня себя, он тряс перепуганного Дацкова. Бисерная ермолка свалилась с прилизанных височков латиниста, рука его искала скобу калитки, рот судорожно открывался и закрывался.

— За что-о? — вырываясь из рук Кольцова, вдруг взвизгнул Дацков. — Вы еще ответите! Хам!

Кольцов схватил полу его халата и поднес к носу Дацкова: канареечного цвета пола была обрызгана черными капельками еще не высохшего дегтя.

— Падаль! — тихо сказал Кольцов. — Задушить бы тебя как собаку!..

И, оттолкнув онемевшего латиниста, Кольцов пошел к Варенькиному дому.

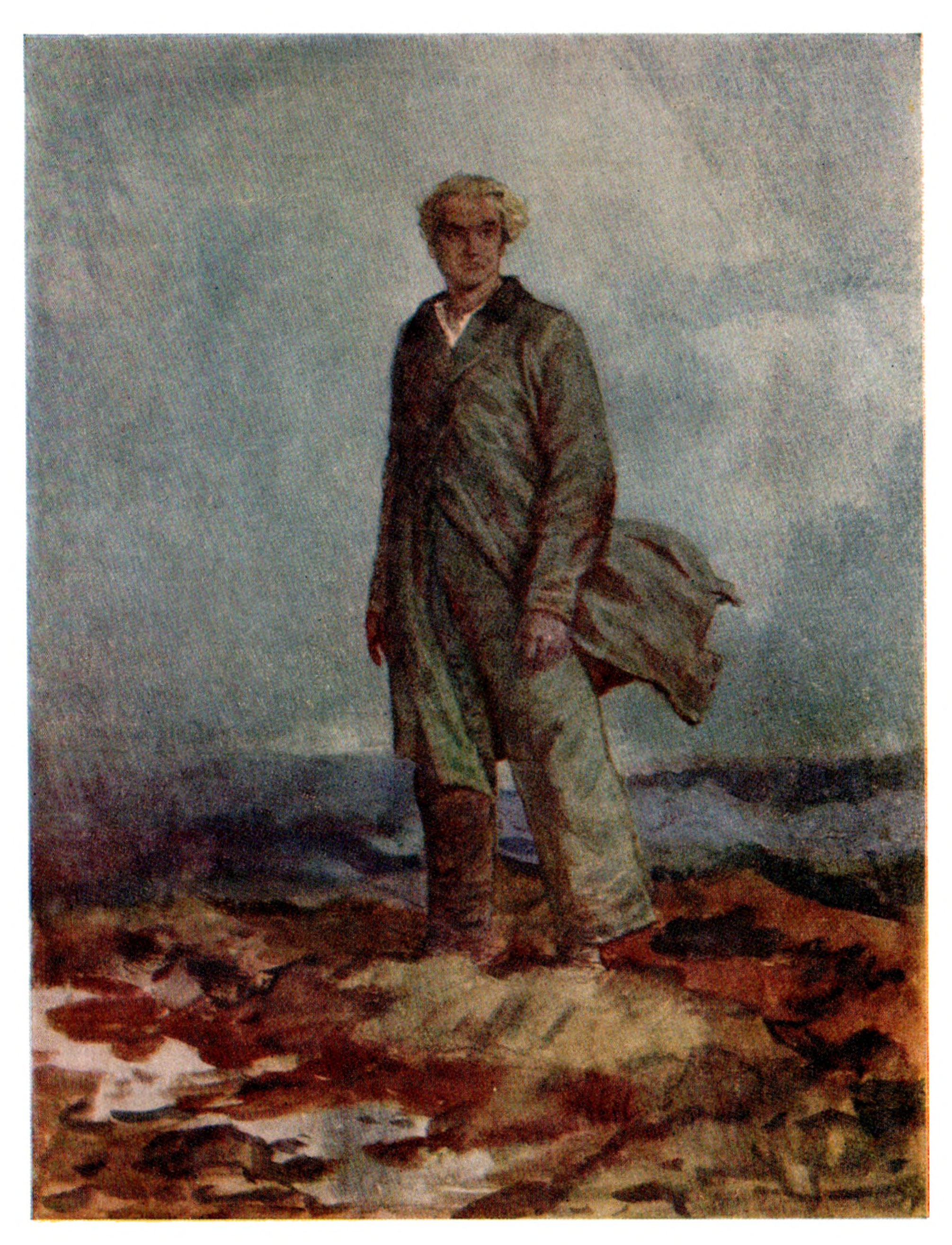
5

В низеньком, темном зальце были разбросаны вещи: платья, шляпы, коробки, флакончики. Сидя на полу, Варенька торопливо бросала их в дорожный сундук.

Увидев Кольцова, она жалобно поглядела на него и, не подымаясь с пола, заплакала.

— Варюша! — наклоняясь к ней и гладя ее по голове, сказал Кольцов. — Я все знаю, Варюша... Ты не плачь, родная... Маленькая моя!.. Ведь это не люди — звери. Они все могут... У них сердце овчинное.

— Господи! — вздрагивая от рыданий, сказала Варенька. — Ну что



К стр. 282

я кому сделала? Да я еще никогда ни разу в жизни не была такой хорошей, как это время с тобой... Ты не верь, Алеша! Не верь! — поднимая заплаканное лицо, зашептала Варя. — Ведь я знаю: сейчас по городу вздор болтают, будто бы я... с этим... Бойдыком... Это все ложь, все сплетня! Я...

Кольцов опустился на колени возле Вареньки и обнял ее.

— Ты не плачь... — прошептал он, целуя Варенькины руки. — Нам тут не жить, Варюша, милая! Собирайся, завтра же в Питер поедем! Мне Иван Сергеич денег даст, а там что будет, то будет. Не помрем!

— Нет, Алеша, — вытирая глаза, вздохнула Варенька. — Какой Питер! Ну, что мы там делать будем? У меня грош, да у тебя алтын. Пропадем мы в Питере...

— Да нет, что ты! — горячо воскликнул Кольцов. — Как это можно! Поедем! Поедем, да и все тут! Ты ж сама говорила, что поедешь!

Варенька поднялась с пола, села на сундук и пристально поглядела на Кольцова.

— Алеша, — сказала она, — я все решила... Слушай, только не перебивай... Я всю правду тебе скажу! Ты ведь знаешь, — медленно начала Варенька, — как про меня говорят? «Пропащая баба», — говорят. А я и в самом деле пропащая. Нынче с купцом, завтра с офицером... Упала я, Алешенька, в грязь, и мне из нее теперь веки-вечные не вылезти! Полюбила тебя, думала грязь свою любовью этой смыть... Да не привел бог! — ломая руки, снова заплакала Варенька. — Видно, грязи этой на мне много占налипло, что каждый пальцем тычет... Вон, ворота вымазали... Тетка со двора гонит... Ушла с утра, говорит: «Не приду, пока не съедешь. Срам какой из-за тебя!» Видишь, Алеша, какая я!

Варенька закрыла лицо руками.

— Тетка... и та отвернулась! Говорить со мной не хочет. А соседи? Как глухая стена. Ведь ты один! Да только нам-то с тобой эту стену головой не пробить! Вот я и решилась, Алеша. Уеду! Тут помещик какой-то намедни звал меня в гувернантки... к девочке. Я было отказалась, а нынче пошла к нему, говорю: «Согласна!» Там деревня, глушь... Да, может, это и к лучшему. Вон сейчас лошадей подадут, и... прощай, Алеша! Люблю тебя и не грешна, не виновата перед тобой... И не хочу, чтоб виноватой была. Прощай! Прощай!..

Кольцов, обняв Варины колени, спрятал лицо в складках ее платья. Варенька нагнулась к нему и, обхватив руками его голову, что-то бормоча и плача, стала целовать его мокрые от дождя светлые волосы.

— Я все понял, — не поднимаясь с колен, глухо сказал Кольцов.—Все... Все!.. Только не уезжай отсюда... Останься, Варюша! — прошептал он, целуя ее руки. — Останешься? Ну скажи, Варюша, милая... Скажи: да?

— Нет! — вскрикнула Варенька. — Никогда!

Медленно, точно во сне, спускался Кольцов по скрипучим, ветхим ступенькам галерейки.

Возле ворот, запряженная в дорожный тарантас, погромыхивая бубенцами, стояла серая в яблоках тройка. Ямщик слезал с козел.

— Эй, друг! — крикнул он Кольцову. — Ты тутошний, что ли? Скажи-кась, милый, Варваре Григорьевне, чтоб собиралась.

Кольцов молча прошел мимо.

«Да ведь это, похоже, тот оглашенный, что давеча по улице без картуза чесал», — удивился ямщик и, привязав лошадей, вошел во двор.

6

Застава давно осталась позади, а Кольцов все шагал по широкой Московской дороге. Его светлый сюртук промок насквозь и стал черным. Холодный дождь хлестал по непокрытой голове, водяные струйки стекали за воротник. Однако Кольцов не чувствовал ни дождя, ни холодного, порывами налетавшего ветра. Он шел посреди дороги. Встречная ямская тележка промчалась мимо, обрызгав его с ног до головы. Наконец, споткнувшись о камень, Кольцов остановился и огляделся кругом. Наступали сумерки. Серая трава, серое небо, серый город вдали — все было скучно и безрадостно. Сбоку дороги росли рябиновые кусты. Яркими огоньками горели алые кисти, ветер гнул ветки, срывал листву. Кольцов сошел с дороги и стал под рябиной.

«Вот сейчас она тут поедет... Я еще, может, увижу ее... Да нет, где увидишь! Темно...»

Он прислушался. Сквозь ровный шелест дождя откуда-то издалека донесся нежный звон бубенчиков.

Вскоре в неясной сумеречной мгле показалась тройка. Кольцов раздвинул ветки рябины. «Варя!» — прошептал он, напряженно вглядываясь в приближающийся тарантас. Лошади резво бежали по грязной дороге. Под кожаным верхом тарантаса мелькнуло и скрылось что-то белое: рука или лицо — он не рассмотрел.

— Ва́ренька! — крепко стиснув рябиновую ветку, крикнул Кольцов. — Варенька!.. Останься!.. Не уезжай!..

Сетка дождя сомкнулась и закрыла тарантас и лошадей, — их точно и не было на дороге, только ласковые звуки бубенчиков, безжалостно удаляясь, звенели все тише, тише и, наконец, замолкли совсем...

Кольцов отпустил ветку и вышел на дорогу.

— Уехала!

Он медленно пошел назад, к заставе.

Сломанная рябиновая ветка — тоненькая, с красной шапочкой ягод — закачалась под ветром, да так и осталась висеть на одном лычке.

7

Дед Пантюшка по ветхости лет бросил гуртовать и определился у Кольцовых ночным сторожем. Это, конечно, было нестоящее занятие. «Да ведь куда ж денешься-то? — говорил старик. — За та̀к не накормят!»

Долгую ночь ходил Пантелей, стуча в колотушку, трогал замки на конюшне, натравливал на невидимых злодеев собак.

Сентябрьские ночи стояли черные, хоть глаз коли. Звенели дождевые ручейки, стекавшие с крыш, глухо шумели деревья в саду, иногда где-то далеко за садом кричали «караул».



Губернатор фон дер Ховен распорядился поставить на Дворянской улице фонари. Фонари поставили, да в одну ночь озорники выбили в них стекла. Больше их не зажигали.

В кольцовском доме ложились рано. Давно погасли огни, настала тишина.

Дед Пантюшка пошел в караулку и задремал. Сон его был легкий, стариковский, — он то приходил, то исчезал, и трудно было понять, где кончалась дрема и где начинался сон.

Старик ясно увидел себя молодым. Он скакал вдоль овечьей отары к тому месту, где два старых злых барана сцепились в драке. Баранов окружили заливающиеся лаем псы. Пантелей открыл глаза. Возле ворот лаяли собаки. Старый косматый пес Мартынко с хриплым ревом кинулся к калитке и затих.

Дед взял фонарь и пошел к воротам. Прислонясь к мокрой вереe, стоял человек и корчился в мучительном кашле. Собаки обнюхали человека и ушли.

— Кто такой? — строго спросил Пантелей.

Человек не отвечал, а только охал. Старик поднял фонарь и осветил мертвенно-бледное лицо.

— Батюшка! — ахнул Пантелей. — Лексей Васильич! Да иде ж ты налезался-то? Да не то те зубы повыбивали злодеи? Кровища-то хлещет, царица небесная!

— Нет... — отнимая ото рта окровавленный платок, с трудом прошептал Кольцов. — Заболел я, дед... Мочи моей нету...

— Ах ты, головка горькая! Ну, пойдем, что ли. Ай уж ты и иттить не можешь?

— Дай... отдохну вот... — едва переводя дыхание, ответил Кольцов. — Ничего... Сейчас легче... Я пойду... Только ты, дед, помоги мне...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

«Страдалец был этот человек, я теперь только понял его».

(Из письма Белинского к Боткину.)

1

Василий Петрович ходил чернее ночи. Дела опять подпирали со всех сторон, а без Алексея он был, как без рук. Теперь, играя с сыном в молчанку, неловко было послать его по какому-нибудь делу и до всего приходилось доходить самому.

«Эх, зря полаялся с Алексеем! — сокрушенно вздыхал Василий Петрович. — Все дела, прах их возьми, чисто кобели со всех сторон за портки хватают!»

Дела в самом деле шли неважно. Новый, недавно нанятый приказчик попался вор, унес выручку; работники все норовили как бы покурить.

— Ох-хо-хо, господи! — качал Василий Петрович косматой седой головой. — Уж на что сам старый воробей — и то обмишулился: купил сотню быков, а у них ящур: опять убыток немалый. Дом, что Алешка выстроил, в два этажа, с мезонином, считал, по семь тысяч доходу даст, а на поверку оказалось, и трех не дает. А дети, дети!.. Про Алешку, ладно, говорить не приходится, он дому не держава: все глядит, как бы за прясла сигануть. Однако Аниска про него, кажись, наплела. Так только, вертихвостка, сердце мое растравила. Да и я, скажем, хорош, сдуру-то принял. Нет, он, Алешка, малый простецкий, ну да что же, от песен-то, к слову, — на них и копейки не возьмешь!.. Господа его там, в Питере, жалуют, ведь он им все равно что игрушка, — поиграли, да и бросили, а пить-есть опять отец подавай. Теперича эта Аниска: замуж хочу! А за кого, сударыня? Что у него, у твоего женишка-то? А ничего-с! Домишка дрянной, бездоходный, да усы тараканьи, прости, господи, мое согрешение! Да и как тут не согрешишь? Он ведь, Семенов-то, голую тебя не возьмет, ему за тобой тысяч пять отвалить потребуется. А что? И отвалишь, не сидеть же у отца на шее в девках-то. И так уж года не маленькие...

Вот этак, ворча себе под нос, ходил Василий Петрович по горнице, слонялся по двору, бранил работников, раскланивался с прохожими, — от-

влекался немножко, — но потом опять в голове роились нехорошие мысли, а руки не знали, за что взяться и с чего начать.

Когда Алексей слег, отец и ухом не повел. Однако сказал Прасковье Ивановне:

— Чтой-то захолодало. Перевела бы Алешку с верхотурья сюда, в теплую горницу-то...

Дня через три он зашел в комнату, где лежал Алексей, принюхался и сказал:

— Фу, дух какой чижолый!

— Это, батюшка, от лекарства... — робко пояснила Прасковья Ивановна, подымаясь со стула. — Иван Андреич прислал...

Отец потрогал печку и проворчал:

— Жарко топите: дрова не бережете...

— Да все зябнет Алеша-то... — жалобно протянула Прасковья Ивановна.

Василий Петрович хмыкнул: «Зябнет!» — и, так и не взглянув на сына, вышел из комнаты.

2

Каждый день заходил доктор Малышев. Он приносил лекарства, выслушивая, стучал холодным пальцем по костлявой груди Алексея и, хмурясь, загадочно качал головой.

Иван Андреич Малышев сам прошел суровую житейскую школу. Сын сельского дьячка, он, вопреки отцовскому желанию, пешком добрался до Москвы и поступил в Медико-хирургическую академию. Отец проклял его, но Малышев, перебиваясь грошовыми уроками, кончил академию. Отец молчал, молчал и сын. Перед смертью старик пожелал повидаться с сыном. Весть об этом из Рязанской губернии, где служил отец, пришла в Воронеж поздно. Когда Малышев, загоняя ямские тройки, прискакал в родное село, отца уже похоронили. Сын пошел на кладбище, постоял над свежей могилой и, не уронив ни слезинки, поехал обратно: мешкать было некогда — в Воронеже лютовала холера.

Он подолгу просиживал у постели Кольцова и много рассказывал ему то о днях своей молодости, то об интересных случаях из своей богатой практики, и делал это так, что всякий раз после его посещения Кольцову становилось радостно, мир светлел, хотелось жить.

Однажды Кольцов приподнялся на локте и спросил:

— Иван Андреич, скажите по совести, по всей правде: встану я или вот так мне и скрипеть, как немазаному? Ведь страшно подумать: бездельником лежу второй месяц, как мощи...

— Встанешь, милый друг, встанешь! — весело сказал Малышев. — Еще и сколько томов напишешь, еще и «Голубонько доню» споем!

— А я как подумаю, что этак вот буду... Нет! — со стоном опустился Кольцов на подушку. — Нет! Дай, господи, умереть, а не так. Или жить для жизни, — горячо воскликнул Кольцов, — или... на покой!

— Это ты уж, батюшка, брось! — строго сказал Малышев. — Такие

мысли — в шею. Вот я завтра пришлю тебе микстурки — ах, хороша, канальья! — попьешь дён с десяток — и другое запоешь!

У Кольцова задрожал подбородок:

— Спасибо вам, милый Иван Андреич! Вовек не забуду... Вот стыдно только... ничем отплатить не могу. Ну, да коли встану...

— Еще раз про деньги скажешь — осерчаю! — нахмурил брови Малышев. — Почем фунт лиха я и сам очень хорошо знаю!..

3

Весь октябрь лили дожди. Сырость проникала сквозь рамы окон, она была в испарениях мокрой одежды, она белыми облаками пара врывалась из кухни, где шла бесконечная стирка и в русской печи подогревались пудовые чугуны с водой.

Часто приходили гости: то из семеновской родни, то Анисьины подружки, то так, знакомые из мещанства и купечества — посудачить, попить чайку, пожаловаться на дела.

Комната, отведенная Кольцову, была неудобной — проходной. То и дело через нее бегали поломойки, Анисьины портнихи, кухарки. Из кухни синей волной наплывал удушливый чад. Но всего страшней были благовонные ароматные свечки, которые расставлялись на подоконниках. Их сладковатый дымок забирался в горло, в легкие, голова тяжелела, и страшный кашель душил Кольцова.

Этими свечками распоряжалась Анисья. И сколько бы Кольцов ни просил сестру не ставить их в комнате, она все равно с тупым и злобным постоянством ставила проклятые свечи с утра, и когда они догорали, меняла их.

Кольцов лежал и глядел на окна. Мутные струйки дождя плыли по запотевшим стеклам; сквозь дрожащую мглу виднелась голая ветка клена с одинокими красноватыми листиками. Иногда налетал ветер, и капли дождя тревожно стучали в стекла. Синий дым благовонных свечек плавал по комнате.

Кольцов посмотрел на свои руки. Бледные, с выпяченными широкими костями, они беспомощно лежали на ситцевом одеяле. Все время одолевала испарина. Ко лбу, неприятно щекоча, прилипали волосы.

Через комнату взад и вперед бегали какие-то девки с ворохами Анисьиных платьев, с утюгами, с гладильными досками. Пришла кухарка, потащила ведерный начищенный самовар. Кольцов вздохнул и отвернулся к стенке.

В соседней комнате за большим столом сидели белошвейки. Они шили Анисьино приданое и целый день пели одну и ту же глупую песню. Кольцова мучила ее тягучая мелодия, раздражали нелепые, неизвестно кем сочиненные слова про какую-то девицу, про розы и любовь.

Кольцов закрыл глаза. Перед ним возникла сетка дождя, низкие тяжелые тучи, море, дымящий с длинной узкой трубой пароходик... Пароход шел из Петербурга в Любек. На нем Катков вместе со своим другом уезжал за границу. Белинский, Панаев и Кольцов провожали их до Кронштадта. В Кронштадте обедали, пили шампанское. Катков клял книгопродавца,

в самый последний момент надувшего его с деньгами. Белинский смеялся и говорил, что вернейший признак честного человека — это когда его обманывает другой, нечестный.

— Благодарю покорно! — раздраженно поклонился Катков. — Лучше уж я без признака...

Это было ровно год тому назад. Немного, кажется, а сколько перемен!.. Когда возвращались из Кронштадта, много говорили о переезде Кольцова в Питер. Панаев, как всегда, горячился и доказывал, что Питер принесет Кольцову золотые горы. Потом зазвал к себе, где Авдотья Яковлевна — молодая жена Панаева — поила всех чаем. Было уютно, самовар пел нескончаемую песню, и сама Авдотья Яковлевна, умница и красавица, так хорошо и просто говорила с Кольцовым, что он разошелся: читал стихи, смешно рассказывал, как его Михейка зарезать хотел, и даже спел какую-то воронежскую песню. А потом, уже у Белинского, когда Кольцов лег спать, к нему неожиданно подошел работавший за своей конторкой Белинский и, ероша волосы, сказал:

— А, знаете, я, кажется, никогда не женюсь... Но если б женился, то моей женой была бы только такая женщина, как Панаева. Ну, не́чего! не́чего! — строго прибавил он, видя, что Кольцов улыбнулся. — Спите, вам спать пора!

— А вы что ж? — спросил Кольцов.

— Я! — воскликнул Белинский. — А кто ж господину Краевскому дома-то наживать будет!

4

Хлопнула входная дверь. Кольцов вздрогнул и открыл глаза. Перед ним стоял Малышев и протирал запотевшие очки.

— Погодка! — крякнул Малышев. — Потоп всемирный! На Поповом рынке мужик с телегой так завяз — насилу вытянули! Что это? — понюхав, строго спросил доктор. — Опять свечки? С ума сошла!

Он подошел к окну, сердито распахнул его и выбросил тлеющие ароматные угольки.

Ветер ворвался в комнату и заиграл занавесками. Кольцов жадно вдохнул свежий влажный воздух.

— Ну что? — спросил Малышев, садясь на край постели.

— Плохо! — прошептал Кольцов. — Цепляюсь за жизнь... да все никак не зацеплюсь! И жить тошно, и помирать не хочется... — Он отвернулся. — Жалко, что так и не успел сделать, что думал... Мало научился, мало написал... А что и сделал, так худо...

— Постой, постой! — перебил его Малышев. — Ты вот что скажи: жить хочешь?

— Ах, как хочу!..

— Ну, тогда ты эти разговоры брось! Коли жить хочешь, значит будешь жить. На-ка порошки, да вот декокт, что я говорил. Экося выдумал!.. — сердито прикрикнул Малышев. — Помирать собрался!.. Анисья Васильевна! — позвал он.



Вошла Анисья.

— Вот, матушка ты моя,— недовольно обратился к ней Малышев. — Чтоб не смела тут чадить свечками. Поняла?.. Чтоб и духу их тут не было!

Когда ушел доктор, Анисья бурей влетела в комнату.

— Наплакался? — закричала она злобно. — Наголосился? У, мертвяк поганый! Наказанье мое! Хоть бы ты сдох скорее, что ли!.. Сам не живешь, и другим житья от тебя нету! На ж тебе! На, на!

И Анисья, яростно стуча по подоконнику, поставила, но уже не две, как прежде, а целых четыре благовонные свечки, и снова сладкий синий дым поплыл по комнате.

— Эх, да и страшна ж ты, Аниска! — с трудом проговорил Кольцов, задохнулся от дыма и стал мучительно кашлять.

Вдруг наступило облегченье, голова сделалась легкой. Кольцов попробовал поднять руку. Нет, рука не поднималась, будто чугуном налитая. «А чего мне ее поднимать? — лениво подумал Кольцов. — Вот запах какой-то знакомый, точно цветы...».

В самом деле, в комнате запахло цветами — рододендронами, розами, гвоздикой. В синем тумане проплыли какие-то люди с лотками на головах. На лотках стояло множество плошек с белыми, розовыми и алыми цветами. Голосом Белинского кто-то сказал: «Сюда, сюда ставьте... Так... Вот хорошо!..»

— А обедать-то и не на что! — засмеялся Кольцов. — Ну, ничего, идемте в трактир. Я — богатый!

Вошла маменька. Услышала, что Алексей бормочет про обед, и пригорюнилась. Ему бы надо что-то другое сготовить, куренка, что ли, а отец не велит, и приходится Алеше есть, что и всем: щи, кашу, а не то и саламату... «Ведь срам-то, господи твоя воля! Два раза от Ивана Андреича куриный супчик приносили, точно уж мы сами не в достатке!»

Маменька постояла, прислушалась. Кольцов лежал лицом к стене и смеялся:

— Обедать-то не на что!

— Алеша, милушка! — сказала Прасковья Ивановна. — Ты молчи, я нонче тебе курятинки сготовлю...

— А? Что? — обернулся Кольцов. — Да нет, маменька. Мне ничего не надо... Просто так... привиделось.

Прасковья Ивановна покачала головой, перекрестила сына и тихонько вышла из комнаты.

— Да уж хоть голосили бы потише! — прикрикнула она в соседней комнате на поющих швеек. — Тут больной человек лежит, а они...

— Ладно! Слыхали! — сердито сказала Анисья.

5

В комнате пахло не цветами, а все тем же сладким дымом от Анисьиных свечек. В потные окна попрежнему хлестал ровный холодный дождь. Кольцову стало жалко, что маменька перебила сон. Он закрыл глаза и постарался представить себе всю эту смешную историю с цветами.

Когда Кольцов последний раз приехал в Петербург, ямщик у заставы спросил, куда везти. Кольцов сказал адрес Белинского. Виссарион Григорьевич еще раньше в письме велел Кольцову нигде в гостиницах не останавливаться, а ехать прямо к нему.

Он жил тогда на Петербургской стороне по Большому проспекту. Белинского не оказалось дома, однако хозяйка была предупреждена и проводила Кольцова в те две комнаты, которые занимал Белинский. Одна была кабинетом, другая — спальней.

Не успел Кольцов разобрать свои вещи, как в передней послышался шум, голос Белинского: «Приехал? Вот славно!» — и в комнату влетел он сам, обнял и расцеловал Кольцова, потом обернулся к двери и крикнул:

— Сюда, братцы, сюда!

Гремя сапогами, в комнату вошли четыре молодца с лотками на головах. В лотках были плошки с цветами.

Белинский суетился, устанавливая цветы, и все спрашивал Кольцова: хорошо ли? Затем он расплатился с носильщиками и, когда те ушли, снова бросился обнимать Кольцова.

— Ах, как хорошо, что приехал! — восклицал он. — Живая душа, — я отойду теперь, ведь эти черти, питерцы, хоть кого заморозят! А что? — он снова подбегал к цветочным плошкам. — Ведь правда, прелесть?

— Ну, как вас в Петербурге приняли? — спросил Кольцов. — Я чай, не все были рады вашему приезду!

— Какое рады! Как зверя встретили заморского! Булгарин, так тот так и брякнул Панаеву: вон бульдога из Москвы выписали нас травить! Бульдога! Не как-нибудь! Ведь тут у них что: все мелкая лесть, мелкая хитрость. Из литературы-то, батюшка, департамент сделали, доходное место. Вон Пушкин-то, — вскочил Белинский, — он в нищете жил, да и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины всей литературой заправляют! Да еще с помощью доносов и живут припеваючи! Ну, да чорт с ними! — оборвал Белинский. — Сейчас пойдем обедать. Я вас нынче, голубчик, царским обедом угощу, а какой трактирище! Музыка! Машина играет. Чудо!

Белинский вдруг остановился, точно вспоминая что-то, и вышел в другую комнату. Через минуту он вышел оттуда, сел на диван и сказал:

— Голубчик, рубите мне голову! Я, скотина, забыл совсем про обед... Денежки-то, какие были, я на цветочки ухнул!

— А обедать-то и не на что! — засмеялся Кольцов. — Ну, ничего, зато я нынче богатый! Ну-ка, что это за хваленый трактир? Посмотрим!

Вечером пришел к Кольцову тот маленький черноволосый офицер Темников, который когда-то сообщил о печальной судьбе Кареева.

— Виноват! — сказал он, входя в комнату. — Я знаю, что вы нездоровы, и я не посмел бы беспокоить вас...

— Ничего! Ничего! Садитесь! — приподнялся на локте Кольцов.

— Вы меня, наверное, уже не помните?

— Нет, как же, очень помню. Вы Темников?

— Да, вот именно... Извините меня, что я этак к вам.

Он оглянулся по сторонам, закрыл дверь в ту комнату, где работали Анисьины портнихи, и достал из внутреннего сюртучного кармана конверт.

— Вот... — Он подал письмо Кольцову. — Это от Саши...

— От Саши? — воскликнул Кольцов. — Вот радость!

Дрожащими руками он вскрыл конверт.

«Милый навеки друг, — писал Кареев, — уголок, в который закинула меня злодейка-судьба и суровая воля его императорского величества, этот уголок так далек от тебя, что и подумать страшно».

Кольцов ожидал жалоб на трудную жизнь, на лишения, на оскорбительность положения ссыльного арестанта, но ничего этого не было. Письмо поразило Кольцова своей жизнерадостностью и светлой верой в лучшие времена. Кареев расспрашивал о воронежцах: о Кашкине, о Сребрянском, об Анисье.

«Посмотрел бы ты на нее теперь!» — усмехнулся Кольцов.

«Гляди смелей, нос не вешай, — читал он, — а я верил в тебя и верю. что с честью несешь ты великое титло поэта русского. Помни всегда и не забывай, что ты — в сердце народном. Живи, под бурей не гнись, и хоть и тяжко — не падай».

— Спасибо! — со слезами умиления протягивая руку Темникову, сказал Кольцов. — Вы меня этим письмом, как солнышком, согрели!

6

Утром пошел снег, в комнате стало светлее, а главное — прекратился однообразный, назойливый стук дождевых капель, от которого голова становилась тяжелой и обволакивало дремотой.

Няня Мироновна принесла таз с водой и помогла Кольцову умыться. Ему стало легче, и он попробовал встать. В ногах была слабость, но он подошел к окну и, ослепленный необычайной белизной, прикрыл рукой

глаза. Все: крыши сараев, штабеля дров, деревья сада — все это было покрыто толстым, пушистым слоем снега.

Перед обедом пришла маменька и позвала Кольцова к столу.

— Ничего, милушка, — сказала она. — Разомнись, оно, может, и к лучшему, а то все лежишь да лежишь... Да и с Василий Григорьичем-то, с женихом-то нашим, поздоровкайся, сказывал вчерась, что к обеду будет.

«Что ж, — подумал Кольцов, — может, и правда размяться-то к лучшему. Саша вон пишет: «Нос не вешай... гнись, да не падай!»

Кольцов надел свой питерский — серый, с черными бархатными отворотами — сюртук, манишку с рубиновыми камешками, причесался и вышел в столовую.

Василий Григорьич Семенов был здоровенный детина с румяным наглым лицом и развязными гостинодворскими манерами. Видно, что он очень следил за своей внешностью: черные волосы были завиты мелкими волнами, а усы напомажены и закручены в ниточку, и, хотя это и было против правил мещанского круга, он носил фрак и малиновый галстук, приколотый щегольской, с поддельным бриллиантом, булавкой.

— Очень приятно-с, — осклабился он, здороваясь с Кольцовым. — Много о вас наслышаны и, можно сказать, за честь считаем породниться.

«Вот рожа! — подумал Кольцов. — Эк его выламывает!»

— Я и сам, — усаживаясь возле Кольцова, бубнил Семенов неприятным хриплым басом, — я и сам очень даже обожаю литераторов-с и даже «Пчелку» выписываю. Замечательное чтение! Разлюли-малина-с!

Кольцов поискал глазами Анисью. Она стояла поодаль, с напряженным вниманием наблюдая их встречу.

За обедом Семенов и Кольцов сидели рядом. Разговор был скучный: все о коммерческих делах. Семенов, чтобы угодить Василию Петровичу, пустился в рассуждения о говяжьем сале и посевах, хотя сам он не сеял и не торговал.

Алексей не принимал участия в этих пустых разглагольствованиях, но Семенов, желая показать себя человеком воспитанным и понимающим приличное обхождение, иногда обращался к Кольцову с каким-нибудь пустяковым, но, как ему казалось, умным вопросом. Так, он спросил у Кольцова, бывает ли он в театре. Кольцов сказал, что бывает, да редко.

— А вот я вам докладывал о «Пчелке». Вы, наверное, тоже выписываете «Пчелку»?

— Нет, не выписываю, — сухо ответил Кольцов.

«Ах, боже мой! — думал Кольцов. — Ну что она нашла в этом болване? Нешто усы... Но ведь любит, любви свою волю не навяжешь...»

Ему очень захотелось тепло, по-дружески поговорить с Анисьей, объяснить ей, что он вовсе не хочет ей зла.

Обед и то общее напряжение, которое было за столом, очень утомили Кольцова. Обессиленный, он лег в своей комнате и хотел заснуть, да Анисьины швейки опять затянули песню про девицу.

С охапкой каких-то кружев в комнату вошла Анисья и стала что-то искать в сундуке.

— Не серчай, сестренка! — тихо сказал Кольцов. — Ты пойми: люблю я тебя, оттого, может, и все... Я бы жизни не вынес, коли бы ты в замужестве несчастлива оказалась. Ведь из чего я бьюсь?

— А я не знаю, из чего вы бьетесь! — насмешливо поджала губы Анисья.

— Да я просто бесчестным бы человеком был, — не обращая внимания на Анисьину насмешку, продолжал Кольцов, — коли не сказал бы тебе всего. Ты ведь девочка еще, многое не видно тебе, а вглядишься, ан будет поздно!

— Да что вы, право, пристали ко мне? — злобно воскликнула Анисья. — Что вам мой жених не понравился? Вижу! Так ведь не всем же быть такими умными да образованными, как вы! В советах ваших я не нуждаюсь, и, прошу вас, отстаньте от меня, сделайте милость!

Анисья резко повернулась и ушла.

7

Гуляй, гуляй, моя милáя,
И не влюбляйся ни в кого.
В твоих летах любить опасно,
И ты завянешь оттого...

Девицы начали петь с утра. За столом, заваленным полотном и кружевами, сидели четыре девушки и Анисья. Они шили и негромкими тоскливыми голосами тянули эту нескончаемую песню.

Когда девица молодая,
Ей всяк старается любить... —

запевала маленькая курносенькая, которую все называли Валеткой.

Когда ж девица постареет,
Ей всяк старается забыть... —

подхватывали остальные.

Когда же розы расцветают,
То всяк старается сорвать,
Когда же розы увядают,
То всяк старается стоптать...

— О, господи! — потягиваясь всем телом, зевнула Анисья. — Тоска-то какая! Хоть бы пришел кто!

— А вот намедни к Алексей Васильичу офицерик хорошенький приходил, — засмеялась Валетка. — Ах, прелесть какой, чернявенький!

— Я брюнетов не обожаю, — лениво сказала другая. — Русый волос завлекательней.

— Да ну их! — с досадой отмахнулась Анисья. — Все они, Алешкины, порченые какие-то... блаженненькие! Ох, и ненавижу! — с какой-то страстью прошептала она. — Ведь он, братец-то, больной-больной, а как маменьке моего Васю-то лаял. Ему ведь ножом по сердцу, что батенька за мной десять тысяч дает, а ему не дал. Он бы, конечно, с моим почтеньицем эти десять тысяч Варьке своей под подол швырнул бы, да батенька не дурак — сразу раскусил!..

Страшный, захлебывающийся кашель прервал Анисьин шопот. Все замолчали и переглянулись. В полуоткрытую дверь было видно, что в комнате у Кольцова сине от дыма.

— Анисья Васильевна, — сказала Валетка, — может, убрать свечи-то: дюже чадят...

— Обойдется! Пусть, как чорт, от ладана корчится. О, господи, да что ж это тоска такая? Валетка, — бросая шитье, вскочила Анисья, — ложись на стол! Ох, девушки, что я придумала! Вот посмеетесь-то! Ну, что ж ты? — нетерпеливо обратилась она к девушке. — Тебе говорят: ложись, значит, ложись!

Валетка, еще не понимая, зачем это понадобилось Анисье, но обрадованная тем, что можно бросить работу и поиграть, легла на стол.

— Закрой глаза! — приказала Анисья Валетке и сложила ей на груди руки. — Сейчас Алешку отпевать станем! — накрывая Валетку куском полотна, шепнула она девушкам. — Вот потеха-то будет!

«Со святыми упокой, —

запела она, —

Христе, душу раба твоего...»

Девушки замялись.

— Да подтягивайте же! — топнула ногой Анисья.

«Идеже несть, —

жалобными голосами подхватили девушки, —

Болезнь и печаль, ни воздыхание,
Но жизнь бесконечная...»

— А Валетка-то, Валетка и вправду чисто мертвая лежит! — всплеснула руками одна из девушек.

Валетке стало смешно, и она фыркнула. Все расхохотались.

Вдруг скрипнула дверь. Девушки обернулись и замолчали.

В дверях, схватившись обеими руками за горло, точно разрывая невидимую петлю, стоял Кольцов.

8

То, что он увидел, потрясло его. Он хотел закричать, что этак стыдно, грех, да в горле вдруг перехватило, страшная слабость подкосила ноги, и он едва не упал.

Валетка ахнула, соскочила со стола и выбежала из комнаты. Остальные девушки, опустив глаза, стояли молча, не шевелясь. Анисья поняла, что шутка зашла далеко, однако не отвела взгляда и, чуть улыбаясь, вызывающе глядела на брата.

Кольцов медленно закрыл дверь, неверной походкой слепого добрел до кровати и в изнеможении опустился на нее.

В доме была тишина. Во дворе громко и беспокойно кричали вороны. «К морозу, — равнодушно подумал Кольцов. — Что ж, пора!»



— Пора! — сказал он вслух и вздохнул. — Ах, да, пора все это кончить. Так дальше жить нельзя... В мезонине нетоплено, правда, но уж лучше самый лютый холод, чем тут.

Он поднялся с кровати, надел потертый тулупчик, старенькие, стоптанные, подшитые валенки, шапку, хотел поднять окованный железом сундучок, да не смог,—сундучок был невелик, но тяжел, не под силу: в нем хранились книги, тетради. Кольцов взялся за железную скобу и волоком потащил сундук к двери.

Витая, узенькая, ведущая в мезонин лестница казалась бесконечной. Сундучок громыхал по ступенькам, сердце билось отчаянно, со лба лил пот и застилал глаза.

Наконец последняя ступенька была преодолена, и Кольцов, толкнув ногой тугую, набухшую дверь, вошел в мезонин. «Ну, вот и все!» — сказал он. На него пахнуло холодом и сыростью нетопленных пустых комнат. В дальней, самой большой комнате, где он жил летом, стоял топчан, накрытый пестрой дерюгой. Кольцов лег на него и сразу же почувствовал холод.

«Нет, так нельзя, — подумал он. — Этак застынешь».

В самом деле, после жарко натопленных комнат в мезонине можно было простудиться.

«Живи, под бурей не гнись...» — вспомнилось кареевское письмо.

— Погоди же! — сказал Кольцов. — Рано меня еще отпевать, еще помужествуем! Я тебе, курносая, этак даром не дамся!

Он встал с топчана и принялся согреваться, как это делают извозчики, хлопая руками то по груди, то по спине. Скоро он устал и закашлялся, однако почувствовал тепло, лоб запотел.

— Ладно, — пробормотал Кольцов. — Будем устраиваться на новом месте.

Он открыл сундучок и вынул оттуда небольшую гравюру. Это был тот портрет Пушкина в гробу, который ему прислал Смирдин. Кольцов подошел к окну и долго вглядывался в дорогие черты спокойно и равнодушно лежащего поэта.

— Солнце! — сказал Кольцов. — Ничего с тобой не боюсь!

Послышались шаги. В мезонин вошла маменька, стала у порога и заплакала.

— Ну что вы, маменька! — обнимая мать, нежно сказал Кольцов. — Не плачьте, все хорошо...

— Милая ты моя детка! Да что это они все на тебя навалились, господи! Да уж ты потерпел бы... Ведь, гляди, холодина-то какой! Тебе бы сейчас в тепле быть, а ты вон куда! Алешенька! — Прасковья Ивановна поднялась на цыпочки, погладила сына по голове. — Алешенька, детка, ну пойдем вниз, сынок, не губи себя, родимый!

Кольцов вздрогнул.

— Нет, маменька, — сказал он. — Душно мне внизу у вас, мочи нет... Мне там смерть! А вы за меня не тревожьтесь, я ведь двужильный, вы ж сами знаете, — засмеялся Кольцов. — Мне, как я сюда перебрался, даже полегчало.

— А уж отец-то, — зашептала Прасковья Ивановна, — отец-то на твое самовольство осерчал — страсть! Дров тебе не велел давать... А я вот, — она порылась в карманах кацавейки, — я вот тебе свечку принесла, как же впотьмах-то!.. А дровец-то, вот как стемнеет, спустись во двор да крадучись, крадучись охапочку-то и схвати! Ничего, бог даст, — там нынче Пантюшка караулит, ничего, возьми... А я побегу, — спохватилась маменька. — Христос с тобой, неравно хватится отец-то... Он ведь мне и ходить-то сюда к тебе не велел. Ох, господи, царица небесная!

И часто-часто закрестив сына мелкими крестиками, Прасковья Ивановна ушла.

Когда стемнело, Кольцов вышел во двор. Снег валил крупными мокрыми хлопьями. В дальнем конце двора, где чернел сад, были сложены поленницы дров, виднелась фигура сторожа в тулупе с высоко поднятым воротником.

«Подумать только — на воровство иду!» — усмехнулся Кольцов.

— Стой, что за человек! — крикнул сторож.

— Дед, — тихо сказал Кольцов, — это я, не кричи! Отец дрова мне давать не велел, так не замерзать же...

— Васильич? — удивился старик. — Да бери, милый, бери, сколько хошь! Бери, ничего... Снежок-то и след твой заметет, все, значит, аккуратно будет. Дай-ксь я тебе тут березовеньких-то, какие посуше, отберу.

9

Дрова быстро разгорелись, и в комнате сразу стало уютно.

Кольцов пододвинул сундучок к печке, сел и загляделся на веселое пламя. Вот так год тому назад, потушив свечу, сидели они с Белинским возле печки, и Белинский горячо доказывал все выгоды книжной лавки, которую можно открыть в Питере.

— Боюсь я этой проклятой торговли! — сказал тогда Кольцов. — Слов нету: книги — не быки, да все коммерция. И не хочешь, да сплутуешь, ведь это такое дело...

— Ну нет, — возразил Белинский. — Что ж, это, по-вашему, выходит, что раз торговля, то и плутовство?

— Обязательно! — кивнул Кольцов.

— Ну, это уж вы, батюшка, слишком! — Белинский прошелся из угла в угол. — Да я вам тысячу примеров приведу и докажу, что вы не правы. Боткин, например?

— Эк хватили: Боткин! — засмеялся Кольцов. — Да в большом деле зачем плутовать? Какая нужда Боткину обманывать, когда у него оборот мало что не в полмиллиона? А вот ежели все будет вокруг пяти-шести тысячонок вертеться, то виноват: ангелом будь, и то согрешишь!

— Может быть, вы и правы, — помолчав, сказал Белинский. — Одно знаю: из Воронежа вам бежать надобно. И как можно скорее. Нелепо получается: человек полон огня, таланта, да вот нужда, руки связаны. А другой кидает на развлеченья тысячи, — армия мужиков на него работает, кровавым потом обливается. И это все считается разумно, в порядке вещей. Ай да разум!

Кольцов лукаво поглядел на Белинского.

— Что ж так вы разум-то корите? — спросил он. — Помните, как мне в запрошлом году в Москве бакунинскую статейку давали?

— Не напоминайте, милый друг. Каюсь, был грех... Все этим проклятым разумом оправдывал!

Вечер кончился смешно. Приехал Панаев и стал раздраженно ругать своего лакея.

— Грубиян! Скотина! — возмущался Иван Иваныч. — Все, что ни скажешь, все норовит, каналья, по-своему, все старается как бы обмануть да обсчитать!

— Да чему ж вы удивляетесь? — пожал плечами Белинский. — Прислуга ваша — это совершенно естественные и исконные ваши враги. Ну вы, Иван Иваныч, сами посудите: почему он должен прислуживать вам

и делать для вас всякую грязную работу? Почему не вы ему обязаны прислуживать?

— Так ведь я ж ему жалованье за это плачу! — воскликнул Панаев.

— Вот хорошо! — засмеялся Белинский. — А почему б не ему вам платить жалованье и командовать вами?

Панаев с минуту изумленно глядел на Белинского, потом хлопнул ладонями по коленям и с хохотом повалился в кресло.

10

В комнате стало темно. Дрова прогорели и превратились в груду золотого крупного жара. Спать не хотелось, однако болела спина и ноги: надо было лечь. Кольцов прилег на топчан и, укутавшись тулупчиком, прислушался. В доме было тихо, только где-то на дворе дед Пантюшка кричал на собак и натравливал их на кого-то. «Вот человек! — подумал Кольцов. — Какой век прожил, к ста годам подбирается, а здоров, как чорт! И жизнь-то у него вся ровная, как дорога: на гору потяжелей, с горы полегче, яма встретится — обойдет, родничок — напьется...»

— Мартынко! Мартынко! — кричал под окнами дед Пантюшка. — Куси его, куси!

Мартынко хрипло лаял и кидался на кого-то.

«Я вон сколько бился, — продолжал раздумывать Кольцов, — все эту чортову истину за хвост хотел схватить. Друзья толкуют: субъект, объект, абсолютная истина — жизнь... Субъект — одолел, объект — понимаю, а как они соединяются в общем бесконечном игрании жизни — хоть убей! — и сейчас не постигаю. Да, может, все это и не надо? Дюже высоко воспарили мы, так высоко, что одни облака— и земли-то уж не видно...»

Кольцову вспомнилось, как он в прошлом году зашел к князю Вяземскому. Князь Петр Андреевич принял его в своем богатом, заваленном книгами и увешанном картинами кабинете. Было утро. Князь в китайском халате сидел за письменным столом и что-то писал. Стол был красный, блестящий, как зеркало, с какими-то медными украшениями. Так вот, что это он вспомнил про Вяземского?.. Ах, да! Все началось с кольцовского дела, по которому хлопотал князь. «Ну, как живете, Алексей Васильич? Все в дрязгах, все в заботах?» — «Да как же, ваше сиятельство, — такая моя стезя...» — «Поэту, мой друг, такая стезя — смерть!» — «А куда ж денешься-то? Пить-есть надо». — «Оно так, да хорошо бы отрешиться». — «Не могу-с! Пятками к земле прирос!» — «А я слыхал, мой друг, вы в философские дебри ударились?» — «Да что, князь, добрые люди приохотили меня к познанию, да голова дурная, все не могу умом обнять!» — «Так плюньте ж, дорогой Алексей Васильич, на философию! Немцы — дураки, и уж ежели хотите знать, то жизнь — это и есть философия!» — «Так как же, князь, вы говорите, чтоб отрешиться?» — «Да нет, я не в том смысле. Жизнь — хороша и умна. Я про то вам хотел сказать, чтоб от грязной коммерции отрешиться». — «Ну, тогда опять вопрос: а кушать что буду?»

Кольцову очень живо вспомнился этот разговор, и он ясно представил

себе Вяземского, с его толстым лицом, очками и каким-то важным добродушием.

На дворе все затихло. Поднялся ветер. Он жалобно посвистывал в ночной трубе.

«А трубу-то я не закрыл, — поморщился Кольцов. — К утру все тепло выдует».

Он встал и закрыл печную задвижку. Спать не хотелось. Кольцов ощупью нашел на столике огарок, что дала маменька, высек огня и зажег свечу. Веселый яркий огонек задрожал, как путеводная звезда.

— Вон как все просто! — усмехнулся Кольцов. — Было темно, высек огонь — стал свет... А мы умничаем, в какие дебри забираемся, плутаем в потемках отвлеченностей. Правильно, князь Петр Андреич! Не время ль нам оставить небеса-то? Не время ль нам оставить... Не время ль нам...

Кольцов взял огрызок карандаша и на чисто выструганной доске стола написал:

Не время ль нам оставить
Про небеса мечтать?

Это были стихи. «Что ж, вон в сундучке тетрадь, сейчас достанем, запишем...»

— Не время ль нам оставить? —

пробормотал Кольцов. — Да нет, тетрадь-то еще найти надо, а доска чистая, хорошая.

Не время ль нам оставить
Про...

«Небеса ли? — мелькнуло в голове. — Может, высоты? Этак еще отвлеченней!»

Про высоты мечтать, —

записал Кольцов и, не останавливаясь, ловя счастливую мысль, продолжил:

Земную жизнь бесславить,
Что есть, или нет — желать?
Легко, конечно, строить
Воздушные миры...

Кольцов вспомнил, как Белинский однажды шутя сказал про Бакунина:

— Ему дай зубочистку, он тебе с ней в такие абстрактные высоты заберется, что никакому Гегелю не допрыгнуть! — и добавил серьезно: — А в конце концов все сведет к самому себе, к своему всемирному, вселенскому «Я» — с большой, трехэтажной буквы.

Легко, конечно, строить
Воздушные миры...

— И уверять, и спорить, — правильно, этак ладно, — глядя на вздрагивающий огонек, прошептал Кольцов.

И уверять, и спорить:
Как в них-то важны мы!

Все вздор, все выдумки. Боже мой, человеку дан величайший дар — жизнь, а он, как неразумное дитя, отбрасывает ее! А ведь на этом распутье

две дороги: жизнь и смерть. Так, отбрасывая жизнь с ее радостью, солнцем, всем миром, — неужели ж мечтать о смерти?

Всему конец — могила;
За далью — мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш гробовой.

Нет, какой же вопль гробовой? Это, брат, не то слово, в гробу не закричишь! Роковой!

На вопль наш роковой, —

поправил Кольцов и поглядел на свечу. Она догорала.

«Успеть бы!» — тревожно подумал он, и вдруг ему представился солнечный день, Лысая гора, река, необъятный простор лугов и полей и они с Варей, карабкающиеся по песчаной круче. Вот счастье! Вот она жизнь-то! Кольцов легко вздохнул и без помарок дописал:

А тут — дары земные,
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотые,
Разгульный шум лесов,
И сердца жизнь живая,
И чувства огнь святой;
И дева молодая
Блистает красотой!

Свеча догорела, вспыхнула и погасла. Кольцов подошел к топчану, лег на спину и, поглядев в темноту, улыбнулся.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Тише! О жизни покончен вопрос...
Больше не нужно ни песен, ни слез.

И. Никитин

1

Наконец в доме закончились все приготовления, и Анисьина свадьба была назначена перед масленицей — на пестрой неделе.

В день свадьбы Кольцов сидел у себя в мезонине и прислушивался к веселому шуму, который происходил внизу. Даже во дворе была суматоха: работники выводили из конюшни лошадей, чистили их, расчесывали гривы и вплетали в них алые ленты.

Среди дня стали одевать невесту. Румяные хохочущие девицы бегали с утюгами и платьями. Работник поймал в конюшне голубя, вынес его и отрубил на колоде голову.

«Все по обряду, — покачал головой Кольцов. — Сейчас, значит, обувать будут... В один чулок деньги положат, в другой — маку, а голубиное сердечко под левую пятку, чтобы дети были кроткие, голубиного характера...»

Вскоре заголосила мать. Кольцов догадался, что приехали за невестой. Он поглядел в окно. Возле ворот стояла разубранная лентами и бумажными цветами женихова тройка. Поезжане под руки вывели одетую под венец Анисью. За нею шла мать. Кольцов увидел, как Анисья, благодаря за родительскую хлеб-соль, поклонилась ей в ноги. Мать снова заголосила. Анисья, крестясь, села в сани. Поезжане вскочили за ней, кучер гикнул, и тройка помчалась по улице.

Какое-то время была тишина.

«Ну, Анисья, — беззлобно подумал Кольцов, — шаг сделан. Какова-то будет у тебя жизнь?»

Часа через два, когда уже стало смеркаться, послышался звон бубенцов и веселые крики возвратившегося из церкви свадебного поезда. Дом наполнился топотом, смехом, восклицаниями. Внизу зашумел пир. Кольцов лежал, с тоской прислушиваясь к пьяным крикам и звону посуды. Девушки запели песни.

На лугу ль, на зеленом лужку,
Там ли быстрая реченька...

Кольцов вспомнил лесникову избу, вспомнил, как Наташа пела эту песню ему с Варенькой.

Там лежала досточка дубовая,
Перекладина сосновая... —

доносилось снизу.

За шумом Кольцов не слышал, как открылась дверь и в мезонин вошли сестры Анюта и Саша.

— Здравствуй, Алеша! — сказала Александра. — Все болеешь?

— Да вот, как видишь, — вставая с постели, слабо улыбнулся Кольцов.

— Что ж, так и не сойдешь молодых-то поздравить? — спросила Анна.

— Нет, не пойду, — сказал Кольцов.

Сестры побыли с минуту и ушли. Пришла маменька и принесла на тарелке пирога, гусиное крылышко, рюмку мадеры.

— Покушай, детка! — Мать поставила тарелку на стол.

— Спасибо, не хочу, — равнодушно отозвался Кольцов.

Внизу что-то закричали, зазвенели разбитые стаканы, послышался дробный перестук подкованных каблуков. Гости пошли в пляс.

«Хоть бы скорей кончали! — устало вздохнул Кольцов. — Больно уж шумят...»

Он пошел к двери, чтобы плотнее ее закрыть. Вдруг дверь открылась во всю ширь. На пороге показался отец. Он был пьян, и видно было, что перед тем, как подняться к Алексею, он еще выпил и сейчас стоял, пережевывая закуску.

Кольцов молча глядел на отца.

— Сидишь, сыч? — ухмыльнулся Василий Петрович.

Кольцов промолчал. Отец захлопнул дверь и, что-то бормоча себе в бороду, неверными шагами начал спускаться по лестнице.

2

Наконец все песни были перепеты, посуда побита, вино выпито. Анисью повезли домой, к Семенову. В наступившей тишине было слышно, как внизу кто-то тыкал пальцем в одну и ту же клавишу фортепиано. Это было очень неприятно, хотелось крикнуть, чтобы перестали, однако все тело охватила такая слабость, что и пошевелиться, казалось, невозможно. Постепенно Кольцов забылся, все посторонние шумы исчезли, и вдруг откуда-то полилась торжественная, суровая и вместе нежная музыка.

«Что это? — подумал Кольцов. — Ах, да это Лангер играет... Ну еще, еще!.. Только бы не прерывалась эта музыка!..»

В прошлом году Кольцов встречал Новый год у Боткина. Огромная столовая с черным резным дубовым потолком была полна криков, смеха, веселых тостов. Читали стихи, пели, несколько раз поднимали бокал за здоровье Белинского. Вдруг кто-то вспомнил Станкевича.

— Да, — сказал Красов, — вот кого мы больше не увидим — милого нашего Николашу...

За столом стало тихо.

— Друзья! — поднялся худощавый бледный человек в скромном черном сюртуке. Это был недавно приехавший из-за границы профессор Грановский. Перед ужином его представили Кольцову, и они много говорили, вспоминая Станкевича, с которым Грановский некоторое время жил за границей. Молодой профессор очень понравился Кольцову. В нем было что-то напоминающее Николая Владимировича. — Друзья! — сказал Грановский. — Я предлагаю прервать на несколько минут нашу беседу. Эти минуты молчания мы посвятим памяти нашего милого друга...

Все встали. Щепкин вынул платок и прижал его к глазам. Красов закрыл руками лицо. Кольцов стоял с низко опущенной головой.

И вдруг откуда-то полилась эта ни с чем несравнимая музыка. Кольцов вздрогнул и оглянулся. В ярко освещенной соседней комнате — в белом зале — за роялем сидел Лангер, тот самый Лангер, что однажды уж, в прошлый приезд, на музыкальном вечере потряс Кольцова своей игрой. И снова Кольцову стало страшно, когда он взглянул на этого сухонького человечка, извлекающего из рояля такие мощные, величественные звуки. Казалось, это гигантский поток — и нет на земле преграды, которая остановила бы его могучее стремление.

Лангер кончил играть и встал. Так, постояв некоторое время перед открытым роялем, он медленно опустил крышку и подошел к столу.

— Что вы играли? — спросил Кольцов.

— Бетховена, — ответил Лангер. — Николай Владимирович очень любил Бетховена, — добавил он, помолчав.

А потом снова наступило веселье. Хлопнули пробки от шампанского, стало жарко.

Боткин велел раскрыть балконную дверь. Кольцов вышел на балкон — и замер: деревья сада, густо облепленные инеем, были как сказочные дворцы; далеко в черном небе среди серебряных веток сверкали яркие звезды.

— Что ж вы, голубчик? Этак простудиться можно! — Кто-то взял его за плечо. Кольцов обернулся. Перед ним стоял улыбающийся Клюшников. — Идемте, идемте, — говорил он.

В зале был невообразимый шум. Пришли балалаечники — из боткинских приказчиков и работников, — ударили «Камаринскую». Михайло Семеныч Щепкин, упершись руками в бока, топнул ногой и пустился в круг, за ним — Кетчер, с бутылкой шампанского в одной и стаканом в другой руке, сам Васенька Боткин, мелко семеня ногами, пошел в пляс. Гости обступили плясунов и хлопали в ладоши.

— Знаете что? — шепнул Клюшников Кольцову. — Вы никогда не были в маскараде? Хотите, поедем, у меня есть билеты?

Никем не замеченные, они уехали.

Маскарад в Дворянском собрании был в разгаре. По широкой лестнице — вниз и вверх — лился бесконечный поток рыцарей, арлекинов, паяцев, чертей, монахов, боярышень, пилигримов—весь тот пестрый и веселый сброд маскарада, где люди перестают узнавать голоса знакомых и даже, увидев себя в зеркале, не сразу догадываются, кто это.

Невидимая музыка играла непрерывно. Торжественный, медленный менуэт сменялся прыгающей, вертлявой кадрилью; точно легкое дуновение ветерка, проносился задумчивый вальс. Люди и яркие люстры, отражаясь в огромных зеркалах, создавали впечатление бесконечного движения и пространства. Мимо Кольцова в красной одежде прошел важный, толстый кардинал. Вереница гримасничающих и кривляющихся чертей и паяцев преследовала «святого отца».

— Ну вот, — сказал Клюшников, — вы хотели поглядеть на маскарад — глядите. Блеск, шум, а скука смертная.

— Ах, нет! — воскликнул Кольцов. — Я впервой вижу это... Красота какая, господи! Голова кругом идет.

— Глядите, не закружитесь, — засмеялся Клюшников. — Стой! Стой! — крикнул он кому-то. — Погодите, я сейчас, — шепнул он Кольцову и кинулся догонять какого-то звездочета.

— А ведь ты от меня никуда не уйдешь, — раздался за плечами Кольцова лукавый женский голос.

Он вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стояла высокая стройная женщина в сером домино. Лица ее не было видно, одни глаза поблескивали в узких щелочках черной полумаски. Она взяла за руку Кольцова и повела за собой, а он, не спрашивая и не сопротивляясь, пошел за нею.

Так прошли они через ряд шумных зал, пока, наконец, не очутились в маленькой комнатке, где было пусто и стоял полумрак, а музыка доносилась откуда-то издалека.

— Ты меня не ждал, — сказала маска, — а я пришла... Меня никто не ждет, я всегда сама прихожу... Сейчас я выбрала тебя... Хорошо?

— Зачем вы это говорите мне? — сказал Кольцов. — Ведь я все равно не знаю вас, да и никогда не узнаю...

— Это тебе так кажется, — засмеялась маска. — Потому что ты меня не видишь, а я всегда возле тебя.

— Кто вы? — спросил Кольцов.

— Кольцов! — закричал Клюшников, вбегая в комнату. — Я сбился с ног, ищу вас... А, вон что! Прелестная незнакомка, я должен похитить вашего собеседника.

Женщина засмеялась и приподняла полумаску.

— Варенька! — изумленно прошептал Кольцов. — Да как же?..

В комнату с криком ворвалась целая вереница танцующих масок, хоровод закружил Кольцова, с трудом он вырвался из него и огляделся: Вареньки в комнате не было.

3

Утром няня Мироновна принесла чай и долго, молча поджимая губы, вздыхала. Кольцов понял, что она чем-то недовольна и что-то хотела сказать.

— Ты что? — спросил ее Кольцов.

Нянька махнула рукой и отвернулась.

— Нет, все-таки? — не унимался Кольцов.



— Вот тебе и «все-таки»! — сердито плюнула старуха.—Страм, батюшка, вот что.

И она рассказала, как Семенов, приехав вчера с Анисьей домой, безобразно напился и чуть не побил молодую жену.

— Он ей еще коготки-то покажет!.. — сказала Мироновна.

Кольцов встал, напился чаю, поглядел в окно. Утро было яркое, погожее, снег сверкал, как сахарные глыбы.

— Сейчас бы Франта заседлать да проехаться куда ни то... — вздохнул Кольцов.

— Глянь-кось! — удивилась Мироновна. — Да ты и впрямь отживел. Франта! Ты, милый, хоть прогуляться бы на улицу вышел, а то Франта!

— А ведь я, нянька, не помру!

— Да господь с тобой! — в ужасе попятилась старуха. — Чего-чего не наплетет. Кто же тебя хоронил-то?

— А то не знаешь? — печально улыбнулся Кольцов.

Он попросил Мироновну принести ему гвоздей, молоток, и когда она принесла, достал из сундучка картину Венецианова и повесил ее над столом.

— Красота-то какая! — сказала нянька. — Умудрит же господь этак написать — чисто живой малой-то! — указала она на косаря, оттачивающего косу.

Другой подарок — синюю чашку князя Одоевского — Кольцов поставил на столик. Он никогда не пил из нее и всегда держал в сундучке, иногда только доставая ее, разглядывая и снова пряча в сундук.

— Вот на! — сказала Мироновна. — Ты, чисто, гостей ожидаешь! Ну, раз стал по хозяйству хлопотать — сто лет тебе здравствовать!

4

Мироновна и в самом деле накликала гостей. Только она ушла, на лестнице послышались тяжелые шаги, пыхтенье, и в комнату с каким-то свертком подмышкой ввалился Грабовский.

— Высоконько живете! А я к вам.

— Садитесь, Николай Лукьяныч! — Кольцов подвинул гостю табуретку. — Очень рад, что зашли.

— Ну, рад не рад, а зашел, да и неспроста, а с просьбой... Я слышал, все хвораете?

— Что ж делать! — улыбнулся Кольцов.

— Ну, ничего! — вытираясь платком, пропыхтел Грабовский. — Вчерашний день читал ваши стихи в сборнике.

— Благодарю! — поклонился Кольцов.

— Вы, что ж, на белые стихи себя посвятили?

— Да, большей частью.

— А я думаю, рифмованные как-то лучше.

— Да и я тоже так думаю.

Грабовский втянул голову в воротник, помигал, пошевелил губами.

— Вот нет у нас обычая в «Ведомостях» стихи печатать,—сказал он.— Я б ваши, ей-богу, напечатал!

— Покорно благодарю, — снова поклонился Кольцов. — Вы мне, Николай Лукьяныч, просто льстите.

— А нисколько-с! Только я советовал бы вам рифмованные писать... Впрочем, — сказал Грабовский, — ваши стихи и без рифм очень хороши.

«Куда он гнет? — с любопытством подумал Кольцов. — Не хвалить же, в самом деле, он меня пришел!»

— А вы не изволили читать мою книгу-с, перевод мой, «Историческую картину религии»?

«Ах, вот оно что! — сообразил Кольцов. — Книжку мне будет свою всучивать. Ну, нет, голубчик!»

— Нет, еще не читал.

— Что ж так? Вы прозы не любите?

— Не только не люблю, сроду не читаю!

— Напрасно-с вы этак делаете! — Грабовский похлопал рукой по свертку. — Особливо ежели трактуется вопрос религии... Ведь вы человек верующий?

— Что за вопрос!

— Нет, что ж, сейчас много безбожников развелось, и даже в столичных журналах этакое встречается направление, Белинские там разные...

— Так чем могу служить? — перебил Кольцов.

— Да вот хочу вам предложить свой труд — не купите ли? Доход не подумайте, что мне, нет-с, с благотворительной целью, на сироток...

— Не могу, Николай Лукьяныч. Денег нету, — сказал Кольцов. — И рад бы, да обстоятельства...

— Так не купите? — вставая, спросил Грабовский.

— Я же вам доложил: обстоятельства...

— Ну, что ж, прошу прощенья, — надевая шапку, пробурчал Грабовский. — Конечно, — прищурился он, — обстоятельства... А как великим постом с дамами верхом-с кадрели разделывать, то это уже и не обстоятельства-с!

Кольцов побледнел и встал.

— Пошел вон! — негромко, но отчетливо сказал он.

— Прекрасно-с! Прекрасно-с! — пятясь к двери, прошипел Грабовский. — Скажите на милость, чижик какой! Мы вам это припомним-с!

5

К весне Кольцов совсем поправился и каждый день стал выходить на прогулку. Бледный, худой и очень слабый, в ветхом своем тулупчике, он шел по Дворянской улице к бульвару, где вечерами было гулянье и играл военный оркестр.

Иногда к нему присоединялся кто-нибудь из знакомых и некоторое время шел с ним, стараясь завязать разговор, но Кольцов больше отмалчивался.

На бульваре он выбирал себе самое укромное и тихое место и так, один, молча, сидел, прислушиваясь к музыке, к отдаленному шуму гулянья.

Дома с отцом у него теперь были довольно ровные отношения. Василий Петрович даже позволил маменьке готовить для Алексея отдельно, что полакомее. Впрочем, такая доброта старика объяснялась просто: однажды возмущенный доктор Малышев пошел к Василию Петровичу и прямо выложил ему все, что он думал об его отношении к сыну.

— Я, почтеннейший, — сказал Иван Андреевич, — попрошу вас, наконец, понять, что весь позор за ваше тиранство падет на вашу же голову! И, ежели хотите знать, так и я, со своей стороны, постараюсь так вас расславить по городу, что вы все кредиты свои растеряете!

После столь решительного разговора Василий Петрович сдался и хотя попрежнему не жаловал сына, однако сказал Прасковье Ивановне, чтобы она готовила Алексею, что ему понадобится.

— Разные там фрикадельки, — насмешливо буркнул он, — какие господа кушают...

Целый месяц Кольцов пробыл на даче у Башкирцева. Иван Сергеич теперь жил тихо, ему было не до гульбы. Он взял миллионный подряд на постройку кадетского Михайловского корпуса и то ездил в столицы, то целыми днями пропадал на постройке, то скакал на кирпичные заводы, торопя с доставкой кирпича.

Кольцов купался на утренних зорях, ловил серебристых голавлей и даже раза два ездил с конюхами в ночное. Больше всего он любил лежать в траве на берегу Дона. Он ложился на спину, глядел, как высоко над ним величественно и спокойно проплывают белые, пухлые облака, и слушал, как кругом него в густой пахучей траве кипит шумная жизнь.

Рано наступили холода, или, как говорили в Воронеже, «заосеняло». В августе купаться стало холодно, и Кольцов вернулся домой.

Неожиданно к нему заглянул проезжавший через Воронеж Аскоченский. Вспомнили старину, Сребрянского, семинарские пирушки. Аскоченский жил в Киеве и много рассказывал Кольцову о красоте этого древнего города.

— Ей-богу, вот как совсем поправлюсь, поеду в Киев! — с восторгом говорил Кольцов. — Коли бы знали, Виктор Ипатьич, как мне Воронеж очертенел! Ведь тут все в меня пальцем тычут... Все хотят видеть во мне мещанина, а я прошу, чтоб на меня как на человека посмотрели...

Губы Кольцова задрожали, и он отвернулся, чтобы смахнуть слезу.

6

Ветер гнал по городу желтые листья. Бабье лето кончалось. Приближались дожди. Небо хмурилось, солнце все чаще скрывалось за серыми низкими облаками, а если и появлялось, то было холодное и равнодушное, точно ему смертельно надоело смотреть на всю ту мелкую человеческую дрянь, что бегает и ползает по улицам города.

Было 3 октября, день рождения Кольцова. Всегда в этот день он ходил в Митрофановский собор и простаивал там обедню. Ему нравилась будничная тишина собора, косые лучи скупого солнца, пробивавшиеся через решетки верхних окон, гулкое эхо под сводами.

Правда, еще ночью он почувствовал озноб, утром, когда одевался, появилась тошнота и снова кашель, но он подумал, что, может быть, пойти и размяться будет все-таки лучше, чем лежать, — и пошел.

Он через силу отстоял обедню и, выйдя из церкви, медленно побрел домой.

Возле торговых Круглых рядов его обогнала коляска с поднятым верхом. Подъехав к крайней лавке с красным товаром, кучер осадил лошадей, и из коляски вышла женщина. Изящным движением она подобрала шелковую тальму и быстрыми мелкими шагами, ни на кого не глядя, прошла в магазин.

«Варенька? — остановился Кольцов. — Да ведь это она!»

Через несколько минут Варенька вышла из лавки.

— Варя! — хрипло позвал Кольцов. — Варвара Григорьевна!

Варенька обернулась.

— Ты?.. — прошептала она.

— Я!.. — тихо сказал Кольцов. — Я все так же люблю тебя, Варя...

— Поезжай, — сказала она кучеру, — я пешком приду. — Она взяла за руку Кольцова и увела под темный каменный навес в дальнем углу торговых рядов.

— Родной мой! — заплакала она. — Нету больше твоей Вареньки! Что он, подлец, сделал со мной!

Она подняла лицо и поглядела на Кольцова. Это и в самом деле была не та Варенька, которую он знал и которую так любил. Худая, бледная, с глубоко ввалившимися глазами, с какими-то незнакомыми скорбными морщинками возле рта, она беспомощно стояла перед Кольцовым.

Слезы текли у нее из глаз и оставляли темные дорожки на белых напудренных щеках.

— Варюша! — Кольцов взял ее худенькие, с просвечивающимися жилками руки. — Варюша, родная, вернись!..

— Ах, милый ты мой! — простонала Варя. — И рада б, да уж теперь нельзя... Коли раньше на мне грязи было много, так теперь уж и слов нет, сколько!.. Да я самой подлой дрянью была бы, если б сейчас пришла к тебе. Прощай, Алеша! Спасибо тебе, голубчик, за любовь твою! Всю жизнь она для меня чистым огоньком будет светить. Прощай! Нет, нет! — крикнула она, видя, что Кольцов хочет итти за ней. — Нет, не ходи! Не надо!

И, быстро стуча по каменным плитам каблучками, убежала.

7

Кольцов лежал молча, ничего не прося и ни на что не жалуясь. Когда Иван Андреевич, как обычно, затеял разговор про ненаписанные тома и про «голубонько доню», Кольцов слабо махнул рукой. Чуть заметная усмешка мелькнула на его губах.

— Нет уж, — с трудом сказал он. — Теперь все!.. Сам знаю...

29 октября утром приехали Анюта и Саша. Кольцов был очень слаб, но принял их и даже улыбнулся. Улыбка была так нежна, кротка и безмятежна, что сестры заплакали.

— Ну, что вы...— сказал Кольцов. — Порадовали...

Неожиданно в комнату вбежала Анисья. Кольцов не видел ее с тех пор, как она его шутя хоронила.

Она кинулась на колени перед постелью брата и, прижавшись губами к его большой костлявой руке, зарыдала. Анисья хотела сказать «прости», но тело ее содрогалось от плача, и она никак не могла выговорить это важное и нужное слово.

Кольцов понял. Он выпростал из-под одеяла другую руку и нежно погладил сестру по голове.

— Люблю... И всегда любил... Идите! — тяжело вздохнул он.

Когда плачущие сестры вышли из комнаты, он позвал Мироновну.

— Дай... чаю! Холодного...

Нянька принесла ему чаю в синей княжеской чашке.

Кольцов сделал досадливое движение рукой.

— Вот глупая... — невнятно сказал он. — Надо было... в стакан... разобью...

Он взял чашку и с трудом поднес ее к губам. Вдруг пальцы разжались, чашка выскользнула, рука беспомощно упала на одеяло, а голова запрокинулась далеко назад. Раздался легкий хрип.

— Матушка! — отчаянно, не своим голосом вскрикнула Мироновна и, топча ногами синие осколки разбитой чашки, побежала к дверям. — Матушка! — крикнула она уже на лестнице и, упав головой на ступеньки, заголосила.

В Воронеже довольно равнодушно встретили известие о смерти Кольцова.

Молодой Придорогин, так и не доучившийся в университете, написал статейку о смерти поэта и принес ее в «Ведомости».

Грабовский прочитал написанную высоким штилем придорогинскую статью и молча вернул ее обратно.

— Царство небесное! — сказал он перекрестясь. — Очень задирист был покойник, много воображал... И, между прочим, весь погряз в темноте неверия. Печатать не будем-с! — заключил он. — Невелика птица... Чижик-с! — усмехнулся он.

1 ноября из ворот кольцовского дома работники вынесли гроб.

Дождь лил второй день. Гладко причесанные волосы Кольцова, обрызганные дождем, из русых сделались темными. Беложелтое лицо было глубоко вдавлено в жесткую, набитую сеном подушку.

Плачущую маменьку вели под руки сестры. Василий Петрович шагал, сердито хмуря брови и ни на кого не глядя.

— Отмучился, головка горькая! — перекрестясь широким крестом, сказал Пантелей, закрывая ворота.

За гробом шли двое офицеров, Малышев, Башкирцев и человек десять семинаристов. Среди них был студент философского класса Иван Никитин.



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Дорогие читатели!

Присылайте ваши отзывы о содержании романа, о художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания автору и художникам.

Укажите ваш адрес, профессию и возраст.

Пишите по адресу: Москва, А-55, Сущевская улица, 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Кораблинов Владимир Александрович

ЖИЗНЬ КОЛЬЦОВА

Редактор *Э. Морина*
Худож. редактор *В. Бродский*
Техн. редактор *М. Терюшин*

*

А00412 Подп. к печати 11/I 1956 г.
Бумага $70 \times 92^{1}/_{16}$ = 9,75 бум. л. =
22,8 печ. л. + 9 вклеек. Уч.-изд. л. 22,7
Тираж 90 000 экз. Заказ 1811
Цена 10 р. 15 к.

*

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.

10 р. 15 к.